



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

1 (29)' 2019

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:

Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Александр Карпенко (Москва), Андрей Костинский (Харьков),
Татьяна Лингута (Одесса), Марина Матвеева (Симферополь),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2019

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Людмила Шарга. До третьего неба. Из цикла стихотворений	4
Одесса: Ирина Дубровская. Пока ещё слово даётся... Стихотворения	10
Одесса: Татьяна Орбатова. Голубка луны незаметна на том берегу. Стихотворения	15
Одесса: Ольга Ильницкая. С чувством бездны на весу. Стихотворения	19

ПРОЗА

Лод: Борис Берлин. Моя собственная вечность. Повесть	24
---	----

ПОЭЗИЯ

Домодедово: Дмитрий Артис. Мимо дома с куполами. Стихотворения	39
Монреаль: Лада Миллер. Это всё ещё Рим. Стихотворения	45
Киев: Елена Лазарева. То ли было, то ли небыло. Стихотворения	51
Феодосия: Ника Батхен. Чистое и нечистое. Стихотворения	57

ПРОЗА

Одесса: Василий Кисиль. Камя и женщины: сновидческое представление. <i>Фрагмент из философского романа-эссе «Паломничество в Дурмарен, или Каникулы Сизифа»</i>	62
---	----

ПОЭЗИЯ

Курск – Москва: Александр В. Бубнов. Перекрёстки и перекрестия...	80
--	----

ПРОЗА

Одесса – Иерусалим: Евгений Кузьмин. Полёт на Венеру. Рассказ	87
Одесса: Игорь Середенко. Пробуждение. Рассказы	90

«ДРАМАТУРГИЯ»

Москва: Емельян Марков. Сосновый дождь. Пьеса-буфф в четырёх действиях	104
---	-----

ПРОЗА

Москва: Елена Вадюхина. Открой окно. Сказка	121
Одесса: Галина Соколова. Одолень-трава. Рассказ	125
Одесса: Евгений Деменок. Прянь. Прянь	132

«ПЕРЕВОДЫ»

Современная польская поэзия в переводах Владимира Штокмана <i>(Андрей Грабовский, Юзеф Баран, Андрей Кишицкоф Торбус, Дариус Тамаш Лебеда)</i>	135
---	-----

«ПУШКИНСКАЯ ГОРКА»

Кишинёв: Олеся Рудягина. Сокровища «Пушкинской Горки». Вступительная статья	142
Москва: Виктор Кирюшин. Полупрозрачная завеса. Стихотворения	146
Москва: Светлана Василенко. Тайный «Гамбринус». Рассказы	150
Москва: Владимир Фёдоров. Песня трёх бездомных домовых. Стихотворения	155
Москва: Игорь Михайлов. Правила воспригубливания вина в Молдове. Рассказ	159

Кишинёв: Татьяна Некрасова. Мака бабочка порхает. <i>Стихотворения</i>	161
Кишинёв: Татьяна Волошина-Орлова. Из цикла «Времена бжод». <i>Рассказы</i>	166
Рыбница: Марина Сычёва. Всё удержать в секрете. <i>Стихотворения</i>	172
Кишинёв: Наталья Родина. Слеза Луны. <i>Рассказ</i>	177
Кишинёв: Павел Полищук. Кадык Нью-Йорка. <i>Стихотворения</i>	181

«ОКОЕМ»

Стихотворения финалистов Открытого конкурса авторской песни, поэзии и исполнительского мастерства «Витебский листопад – 2018» в номинации «Поэзия» (<i>Саша Морозов, Саша Прбе, Светлана Носова, Галина Андрейченко, Марго Волкова, Диана Рыжакова</i>)	186
---	-----

«ФОНОГРАФ»

Одесса: Эрлен Бейлис. У каждого своя стезя	198
---	-----

«СЕТЧАТКА»

Севастополь: Елена Коро. Квантовая лингвистика Вилли Мельникова	204
Москва: Евгений Чигрин. Собеседник Пушкина	206

«ЛИТМУЗЕЙ»

Одесса – Филадельфия: Вера Зубарева. «Пиковая дама»: ловкость рук и никакой мистики	208
Одесса: Ольга Куценко. Бесценный дар музею А.С. Пушкина	212

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

Правозащитник языка. <i>О книге Александра Кабанова «На языке врага»</i>	216
Песнь песней Бориса Берлина. <i>О книге «Цимес»</i>	218
«Я сама себе – апокриф». <i>О книге Ольги Андреевой «На птичьих правах»</i>	221
Из жизни осколков. <i>О книге Ефима Бершина «Маски духа»</i>	223
Жажда разнообразия и разнообразие жажды. <i>О книге Андрея Коровина «Кымбер бымбер»</i>	225
Рекущая река Геннадия Калашникова. <i>О книге «В центре циклона»</i>	227

ЛЮДМИЛА ШАРГА

ДО ТРЕТЬЕГО НЕБА

Из цикла стихотворений

День безмятежен и весел,
можно свободно парить,
старая мойра Лахесис
видно забыла про нить.
Путь и далёк и не к спеху,
только судьбу не избыть –
в птичьем гнезде под застрехой
дедовской старой избы
девять голов желторотых,
девять горластых птенцов...
Кто-то откроет ворота,
отодвигая засов.
Лишь веревя проскрипела
на перекрёстных ветрах,
девя привидится тело,
лёгкий послышится шаг.
Встретишься с пряхой седою
и позабудешь про мойр,
Доля, а может, Недоля
скажет: пора и домой.
То суета – то морока,
тяжко усталой душе,
что ж ты, как птица-сорока
падка на всякую мшель.
Глянет сурово: не жалко
беглых шутов да шутих,
приостановится прялка
лишь на мгновенье – на миг.
И невзирая, что нежить
где-то в подпечье скулит,
взглядом одним перережет
ставшую тоненькой нить.

*

Сны мои снятся кому-то чужому,
мне ж – суетливая явь – без стихов.
Белый налив да зелёный крыжовник,
всё, что осталось в краю глухом.



Новых стихов не прошу – не надо,
буду молчать, коль велел: молчи.
Здесь, за оградой старого сада,
голос Твой близок и различим.
Память изодрана, латка – на латке:
что не изжито – о том поём,
но поутру паутиной заткан,
снхтью заросший, дверной проём.
Вздох осторожный иль шаг осторожный,
что-то волнует осоку-траву,
напоминает лишь подорожник –
всё ещё есть,
всё ещё – живу.
Здесь, где ветла над рекой нависла,
и до заката спит козодой,
мечется Синее коромысло,
словно душа моя – над водой,
рвётся к чужим берегам далёким,
к белым пескам и седым морям,
будто на привязи – тенью лёгкой –
здесь, где в полнеба горит заря,
где в камышах да в сухой осоке
новые гнёзда вьёт тоска...
Берег пологий – берег высокий,
меж берегами река Ока
тихо несёт имена и числа,
всем обещающая свет и покой.
Дремлет душа моя коромыслом
Синим – на привязи – над Окой.

*

Из детства повеяло запахом хлеба
и запахом дыма и сладким и горьким,
становится былью вся давняя небыль,
и мчатся салазки по катанке-горке
туда, где над речкою вьюга-позёмка
зменится, клубится, как будто живая,
и первый ледок осторожный и тонкий
собой укрывает.
Салазки с разбегу уходят под воду,
и я пробуждаюсь от маминной песни,
где каждое слово родного извода:
кресало, Креслава, кресать и воскреснуть...
...от запаха дыма, от запаха хлеба...
Дорожкой знакомой – по катанке-горке
на старых салазках из тёмной каморки
туда, где вся быль превращается в небыль –
до третьего неба.

*

Чай с молоком – заморская забава.
А бабушка заваривала травы,
забеливала каплей молока
и добавляла старого медка.



Он растекался в травяном настое,
и беды отступали прочь – пустое,
и хворь любая исцелялась вмиг;
Шалфей, чабрец, пяток сосновых игл,
цветы красавки – редкая отрава...
Чай с молоком – заморская забава.
В моём ни чая нет – ни молока.
Трава полынь – летуча и горька,
кошачьей мяты листья да коренья,
И одолень-трава –
цветок забвенья,
что прорастает в старицах речных,
где жители избышек лубяных
живут по-ра,
по-ра и помирают,
и красный угол в избах прорубают,
как пращурь их делали допрежь.

Но не заполнить чаем эту брешь.
И берег левый, он же – берег правый
от куполов пылает златоглавых:
а я меж ними – в серединном рву
ищу свою русалочью траву,
утерянную водную лилею,
и верю, что сыщу и уцелею;
... по-ра живу...

*

Библейская трава горька и незабвенна.
Лепит полынный дух и сушит кровь и вены
тому, кто раз вкусил от горечи её.
Снега не заметут,
и ливень не зальёт.
Библейская трава, откуда память эта?
В соцветиях седых, в сплетенье дымных веток
не то успенья свет,
не то забвенья лёд
тревожит и зовёт,
тревожит и зовёт.
Библейская трава горька и бесприютна,
но источает жар, который за минуту
сожжёт меня дотла, до дна испепелив;
на миг припомню дом в густой тени олив,
и смуглое плечо,
и взгляд тревожной лани...
Властитель обречён, снедаемый желаньем,
и – как надсмотрщик – зол,
как евнух – пьян и скуп:
ему бы только раз испить от тёмных губ,
от диковатых скул, от щиколоток тонких,
от девственной груди...
И старцу, как ребёнку,



согревшемуся меж телами *ависаг*,
приснится листопад в неведомых лесах,
прирезится полёт опавшего листка,
познавшего, что смерть прекрасна и легка.
Душа рванётся прочь из немощного тела
в рябиновую ночь с листвою облетелой,
очнётся, чуть дыша,
в заброшенном дворе...
Там, где трава емпан
дымится на заре.

*

Загляни в моё зеркало
и листай
отражения, как страницы,
и увидишь, как отстают от стай
перелётные сирин-птицы.
Как покорно складывают с утра,
опалённые болью крылья,
забывая язык воды и трав,
и ковылья и чернобылья.
Как вдали от яблоневых долин,
от дремучих глухих урочищ,
чертят пёрышком лебединый клин
и дорогу себе пророчат
в светозарный зарев – от зимних стуж,
где медов полна восковая сушь,
где у чистой белой криницы
перелётные сёстры-птицы,
окунувши крылья в живой родник,
обращаются в дев печальных,
на берёзу вяжут льняной рушник,
примечая своё начало.
А когда истлеет рушник – летят
в светлый Ирий,
в дивный небесный сад.
Загляни в моё зеркало, коли смел:
вместо сада – тьма непроросших стрел.
И от брани земля дымится,
и от крови темна криница.

*

Околоточек мой, околица,
девять яблонек – на версту,
девять лучников – вражья конница,
стрел у каждого полон тул.
А под старшим конь в расписном седле,
старший лучник собой пригож.
На роду написано: тленом тлеть,
пропадай, душа, ни за грош.



Он зелёному змию молится
и зелёным змием повит...
Околоточек мой, околица,
сонных пажитей аксамит.
Сбросит вершника в землю зяблую,
перекусит конь удила,
по весне молодою яблоней
прорастёт ворожья стрела.
Сушит тёмную кровь верховица,
бел да зелен от яблок дол.
Околоточек мой, околица,
всё из яблонек частокол.

*

Окончилось время странствий,
на убыль пошла луна,
что знает о постоянстве
туманная пелена?
В ней солнце поспешно прячет
последний осенний день,
в ней кто-то тихонько плачет
и мечется чья-то тень,
что раньше легко умела
прощаться и всем прощать,
но крест из омелы белой
давно сменила праща.
Становятся дни веками,
взбивает волна шугу,
а тень собирает камни-боглазы
на берегу.
А ей бы – да восвояси
уйти, отрясая прах...
От слухов и разногласий
спасенье найти в стихах
и, верно, отчасти – в прозе,
где рифмы меж строк скользят;
а воздух над морем розов,
как тысячу лет назад.
Скандальные попрошайки
из рук вырывают снедь –
безжалостны птицы чайки,
да стоит ли тень жалеть...
И осенью и зимою
молчит она об одном:
о синем бескрайнем море,
забывшемся зимним сном.
А где-то – за облаками –
рождается новый день,
в нём будут праща и камень
и крест, и чужая тень.



*

Помирать – так тихо и без паники,
воспарить над болью бытия,
где кнуты и их обратка – пряники
мальчиков находят для битья.
Где давно чужому богу молятся,
позабыв о том, что свой – внутри...
Вспоминая буквицы глаголицы,
на восходе утренней зари,
всё принять, и кару и возмездие,
и когда душа оставит плоть,
пальцы сами лягут в двоеперстие –
в тёмную крамольную щепоть.

*

Окажутся детским лепетом
стихи мои...
боже правый,
в сравнении с тем, что лебеди
зимуют у переправы.
Изящные шеи длинные
доверчиво к людям тянут,
и кажется, что былинные
вот-вот времена настанут.
Заходится сердце в трепете,
ледок неверия тает,
когда на закате лебеди
плывут золотою стаей
по водам, как будто – посуху –
в урочище древних стариц,
где в рубище ветхом, с посохом
навстречу выходит старец...
Все злобные камни нелюди
рассыпаются в складках пазух,
несут меня гуси-лебеди
на крыльях любимых сказок.
И слышится речь родимая,
и близится третье небо.
Дорогою лебединою
за стаей пора и мне бы.
Забывать о зубовном скрежете,
о тенях луны кровавой,
и помнить лишь то, что лебеди
зимуют у переправы.

ИРИНА ДУБРОВСКАЯ

ПОКА ЕЩЁ СЛОВО ДАЁТСЯ...

Что остаётся?
Пару друзей старинных,
воспоминанья, небо над головой,
времени поступь вдоль коридоров длинных,
город у моря, вроде ещё живой.

Скорости, страсти,
музы визит неожиданный,
поиски слова, утро, вид из окна.
И ощущение жизни, тревожной, странной,
что, как морская бездна, всегда темна.

Жизнь равнодушьем казнила
В часы жестоких неудач.
– Мне больно! – Вот чем удивила!
– Мне плохо! – Посиди, поплачь...

И мимо, мимо проходила,
Не оглянувшись на меня.
И победила, победила!
И научила от огня

Своих больших костров нетленных
Мой малый пламень зажигать.
И горечь слёз – пустых, мгновенных,
Отдав бумаге – забывать.

Пока ещё тянется нить
И жизни не кончился бег,
Те дни, когда хочется жить,
Стараюсь запомнить навек.



На них золотая печать,
В них радостный трепет огня.
Как праздник хочу отмечать
Начало подобного дня.

А те, когда выключен свет
И душу окутала тьма,
Забывать, будто вовсе их нет,
Из сердца изъять и ума.

А впрочем, пускай и они
На дальних задворках живут.
Себе говорю: не кляни
Ни злых, ни унылых минут.

Пусть помнится всё и всегда,
Пусть две будут чаши полны.
Так с мёртвой живая вода
Соседей обречены.

СИЗИФ

Вся жизнь – сизифов труд.
Но, даже зная это,
всё катишь камень свой, не можешь не катить.
Усилия твои – как чувство без ответа,
но если ты Сизиф, тебя не изменить.

Идёшь своим путём,
впустую, без надежды,
туда, куда ведёт тебя твой певчий слух.
И одиноко так, так больно, будто между
двух рёбер вставлен нож и вон выходит дух.

День следует за днём,
и мысль одна и та же
одним лишь веселит усталые черты:
что лучше всех иных привычная поклажа,
что если камня нет, то кто без камня ты?

ПРО СТРАСТНЫЕ ПОРЫВЫ

Жизнь – точно платье будничного кроя,
Какие торжества в ней нынче, бросьте!
Стихи уже не льются, но порою
Ещё приходят, как ночные гости.

Стоят в дверях, робея поначалу,
И думают: туда ли мы попали?
Я прежде их иначе привечала,
Меня они по блеску узнавали



Горящих глаз – распахнутых, несытых.
 Ломился стол и пир гудел на славу.
 Из звонких кубков, лозами увитых,
 Вино лилось, как вспененная лава.

И зажигало сердце молодое,
 И разжигало в нём такие страсти,
 Что приходилось мятною водою
 Отпаивать беднягу от напасти,

Как от разгула огненной стихии...
 Теперь стоят и мнутя на пороге.
 Однако ж и они уже другие:
 Как погорельцы, всё твердят о Боге,

С которым неминуемо свиданье...
 Теперь они мудры, неторопливы
 И держатся слегка на расстоянье,
 Всё рассказав про страстные порывы.

НАСТАВЛЕНИЕ

– Смех твой, как в детстве, звонок,
 Вспыхиваешь, краснеешь...
 Всё ещё как ребёнок,
 А ведь уже стареешь.

Так и не научилась
Взрослему лицемерью.
 Ну и зачем открылась?
 Ведь пообщипают перья.

Мир этот груб и жёсток,
 Видишь, как бьёт по нервам.
 Нежных пород отросток
 Будет задушен первым.

Горло зажмут тисками
 Тем, кто смеялся звонче.
 Если живёшь с волками,
 Надо и быть по-волчьи.

Так что давай, не мешкай,
 Кончилось бабье лето.
 Этакой Белоснежкой
 Быть меж волков нелепо.

Меньше глазами хлопай!
 Разве ещё не ясно?
 Этакой недотёпой
 Быть меж волков опасно.



Вырви язык свой прежний –
Вырастет новый, волчий,
И без ножа зарежет
Тех, кто смеялся звонче.

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

Это не игрушки вам!
Грудью всей дыша,
День рожденья Пушкина
Празднует душа.

Время сыплет кознями,
К худшему клоня.
Но важней, серьёзнее
И счастливей дня

До сих пор не значится
На календаре.
Вот он – жив, дурачится,
Словно на одре

Не лежал, измученный,
С пулей в животе.
В детстве стих заученный
Душу в чистоте

Держит до скончания
Зим её и лет,
Точно заклинание
От дурных примет.

В негромком кафе, за столиком у окна,
В какой-нибудь день, призрачный, но возможный,
Увидишь меня: я буду сидеть одна –
Пить чай и слушать времени гул тревожный.

Сколько уж лет – не стану и вспоминать –
Я никого не жду и не жажду встречи.
Но если только есть тебе что сказать,
То не молчи! Живой, осмысленной речи

Мне не хватает. Редко её поток
Рядом шумит взволнованно и открыто.
Так говори же, чтоб в долгожданный срок
То мне напомнить, что уж давно забыто.



Нет, нет, ничего не вернётся.
Но ты не грусти, не грусти.
Пока ещё слово даётся,
Как манна из Божьей горсти.

За то, что не предан в разлуке,
Но сердцем храним идеал,
Нет-нет и находятся звуки,
Вот именно те, что искал.

Не часто они раздаются,
Но часты ли сладкие сны?
А то, что те дни не вернуться,
Что были надежды полны,

Так это уж ладно, чего там.
Гони безнадежность и лень,
Пока ещё за поворотом
Виднеется завтрашний день.

А на людях всё ж попробуй быть веселей.
И тех, кто тебя несчастнее, пожалей.
А тем, кто тебя счастливее, улыбнись.
Как дальше пойдёт, известно – то вниз, то ввысь.

Ты знаешь уже – и здесь нелегко, и там.
Но всё как и должно, и все по своим местам.
И день устаёт, и ночь знает свой предел.
Одним улыбнулся ты, других пожалел.

Теперь поспеши. Коль ещё силы, лезь.
А если поймёшь однажды, что вышел весь,
То тщетны будут советы учителей.
Но на людях всё ж попробуй быть веселей.

ТАТЬЯНА ОРБАТОВА

ГОЛУБКА ЛУНЫ НЕЗАМЕТНА НА ТОМ БЕРЕГУ

ЕЩЁ

Строка не задалась с утра.
Гонец предзимний иль сатрап –
холодный ветер бился в окна.
Катился осени кувшин
по кромке дня, и беззаботно
пинал его воздушный джин.
Но паутины сонной нить
ещё держала бабье лето,
ещё душа была согрета,
ещё хотелось осенить
крестом – восходы и закаты,
и каждого, чей мир распят,
спешащих вырасти ребят
и пламень слова языкатый...

МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ СМЕЯЛСЯ

Ночью на Землю сыпался пепел крестов,
мир утопал в нём – до памяти первого хлеба.
Сны говорили:
«снег чудотворен – Христов»,
и... оставались в границах святого вертепа.
Далее – тьма – выпивала густое вино,
или глотала жемчужины – горькие слёзы.
Неба бутылка не пустела, на тёмное дно
дни уходили, и дым недописанной прозы
молча стелился, побуквенно – в зоне кладбищ,
рядом с гвоздиками, вечность свою сочиняя...
Ветер крещенский был светел и праведно нищ,
словно ему открывалась страница иная.
Утром на зеркале моря виднелись следы –
чаячий крик или зябкое зимнее слово.
Маленький ангел смеялся:
«так много воды!»,
маленький ангел смеялся и видел большого...



ФАНТАЗИЯ

Все спят ещё –
 все стены, крыши, окна.
 Баюкает бессонницу мою
 безмолвный призрак – время.
 Снов полотна –
 фантазия рисует и жнивью
 молитвенную формулу рассвета
 без плена зёрен дарит, а в горсти –
 их мыслей отзвук
 «...жизнью прорасти»...
 И пчёлка воли
 в день летит – январский,
 медовым светом – утренним – полна.
 К ней тянет руку время,
 и по-царски
 уходит вслед за нею тишина...

НЕ СМОТРЮ

Не смотрю я ни вдаль, ни вокруг,
 ни на звёзды, ни в зеркало.
 Осень – самый бессонный мой друг,
 говорю: до утра не померкла бы.
 Говорю...
 Отлаголило яркое лето,
 вновь – не поздняя осень –
 зимним ветром пока не отпета,
 золотится, ещё плодоносит.
 Только ночью простынная степь
 холодна, но земляца – невинна.
 Ей – не выть-сиротеть,
 ей – не жилы тянуть,
 к ней – не грех – в сердцевину.

ДОЖДЬ

Был долгий дождь.
 Водой земного дня
 стекали буквы в книгу о печали.
 В ней колыбель без отдыха качали
 пустые сны,
 в ней красная луна
 светила в окна.
 Пели половицы,
 глядели тени чёрные на спицы –
 на крепкой нити сонная душа
 стихи читала –
 холодно, безвольно.



Ночь растянулась на мехах собольих,
в мечты играя,
клятва – на века
быть верной дню –
её каприз и выбор.
Но день её
родился, жил и вы́был...

Стекали змейки водные в пробел,
шёл дождь весенний,
словно по канату,
и многоточием по циферблату
день воскресал,
но сонная душа –
из вязанного временем колодца
стихи читала о канатоходцах.

ЛУННИЦА

Плывут птичьи гнёзда
в обитель отживших птенцов,
тускнеет огонь изумрудный
в высоких причёсках деревьев,
и шарик воздушный
с почти человеческим лицом
из августа в Лету стремится
дорожкой из облачных перьев.
Голубка луны незаметна
на том берегу,
голубка луны и креста –
ищет звёздные гвозди на крыше...
А в мире живых
летний бриз чьи-то грёзы колышет,
и девушка ищет
упавшую в море серьгу...

МНЕ СЛЫШАЛОСЬ

...Наутро выпал снег. Зима, январь.
Но в памяти –
заоблачный тропарь.
Песчинки света падали на руки –
так радостно, светло и без затей.
И не было дано иных путей –
лишь в тёплые ладони...
Вились звуки,
как хлопья невесомые
почти...
Зима, январь.
Мне слышалось: прочти...
И я читала – снег или следы.
Деревья обнажённые белели
от холода,
но в светлой акварели
их души просыпались иль мечты.



Слова слетались –
 в памяти – на звук
 из тёмной ночи или книги смерти.
 Сугробы множились,
 но слышалось мне: верьте...
 и строки замыкали новый круг.
 Мела метель.
 Кто мыкался – с Судьбой
 играл в снежки,
 кто вы́был – тот забылся.

...В ладонях тёплых – вечер серебрился,
 и сын дышал под снежной скорлупой.

И НАДО БЫЛО...

И надо было от всего устать –
 быть преданной, терять, спешить куда-то.
 Крутым был спуск, по-бабьи языкатым –
 словесный звон, не вписанный в тетрадь.
 Мечты ходили строем, с ними – жизнь –
 то в небе увязала, то в асфальте.
 Мне встречи назначали и пенальти,
 мне верили, просили: побойсь.

И надо было солнечным дождём
 дышать бездумно – родинкам во славу,
 найти слова медузам и купавам,
 шептать вослед закату: всё путём.
 Ушедший день болел исподтишка,
 сроднясь в моей душе с небесной твердью,
 и чьё-то детство, спиленное смертью,
 во мне росло подобьем двойника.

Спешили тени в сумерки зеркал,
 в чернёный воздух старой амальгамы,
 а девочка разучивала гаммы,
 и белый цвет с акаций облетал.
 Но сколько их – фантомов на крови –
 в меня вросло из дней-тысячелетий...
 Какие боги за их сны в ответе
 и чей глагол зовёт: осуществи..?

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

С ЧУВСТВОМ БЕЗДНЫ НА ВЕСУ

Опять стихи идут, как эшелон
из прошлого – военного, скупого.
Вновь мама ждёт отца с реки, улова
к обеду ждёт. И варится рассол
для огурцов с небритыми щеками.
Сижу-гляжу и думаю о маме,
И слёзы, как горох, стучат об стол.
Моя весна еще так далеко:
Мне девять лет, смешлива, угловата.
Мой папа принесёт в ведре улов!
Он радуго прибьёт гвоздём над хатой!
И скажет бабушка, прикрыв глаза рукой:
«Спасибо, сын! Какой улов богатый».

С ЧУВСТВОМ БЕЗДНЫ

Буки. Буковки. Картинка: и смущенье, и вина
перед белым океаном, где ни берега, ни дна.
Образ образ нагоняет, волны красны и вольны
захлестнуть и откатиться к чувству бездны и войны.
Птицерыба ходит чинно, горизонтами шурша,
и пробоины латает удивлённая душа.
Голубая чудо-рыба, птице-фениксу родня,
не коси крыла курсивом, словно глазом, на меня.
Не моги, не приближайся к перевозанному листу
сумасшедшего паренья с чувством бездны на весу.

ЗАБЫТЬ СЕБЯ

1

В том доме, где отсутствует хозяин,
В том самом доме, где давно не спят,
В том свете лампы, где кружат ночами
Созвучия, и бабочки летят



(куда? – не закудыкивай дорогу!
 Куда летят? – на круг и дальше, в свет...),
 В том месте, где нас не было и нет, –
 Он пищет. Он талантливый безбожно.
 Он сам как Бог. Он цвет с ладони Божьей.
 Он путаник и вечный второгодник,
 Мальчишка, что на жердочке сидит
 И помнит всё, что только предстоит.

2

Уже который год вся жизнь наоборот –
 за январем июль и ночь после рассвета.
 А там, где первым вдохом будило птицу лето,
 ни травы не встают, ни рыба не плывёт.

Уже который год у русского поэта
 сначала жизнь пройдёт, потом стихи про это.
 Лишь после жизни – том, о жизни и о том,
 как больно жить поэтом и бодро петь при этом.

3

Колдует листва за спиною у лета,
 пожаром горчит голубой листвоюй.
 По птичьим дорогам уводит поэтов
 куда-то спешащий пернатый конвой.

Я жду бестолкового лепета вьюг,
 чтоб молча ступать по разбухшим паркетам
 дубрав, приютивших бездомных поэтов...
 А стаи летят через вьюги на юг.

У гордой пичути хрустальный язык,
 малиновый звук над подлеском грачиным.
 Никто не запомнит усталой причины
 подмены запева на хрипы и крик.

У холода свой серебристый язык.
 У певчих свои временные законы.
 И всякий по-своему плакать привык,
 сличая вокзалов сквозные прогоны.

Ущербная тяжесть пути. А куда?
 Туда суетливо уносятся стаи,
 туда эшелоны заслонами ставят,
 и тихою сапой плывут города.

Неверная участь залётных гостей.
 Навязчивый след красноглинных обманов.
 У чёрной реки. У ясной поляны.
 Среди оскудевших до срока полей.



4

Забыть себя.
Других бы не забыть.
Но вот отшибло память, память, память...
Как пауки из брюшка тянут нить,
по затемнённым шепчутся углам,
так женщины, что жизнь оберегают,
всё смотрят ниоткуда, всё глядят,
как голубеют щеки у ребят
и бреются подростские мужчины.
Как крылья режутся у голубят.
Как голубятни, строясь в долгий ряд,
внезапно превращаются в руины.

5

Ещё я рассказать тебе хочу,
как оторопь по звёздным пляжам рыщет,
как ветер свищет вслед холодному лучу,
а месяц половинку серпа ищет.

Ревун кричит. Медведица рычит.
По Млечному Пути сбегают в море
созвездия, и молится Господь.
Он докторской иглой врачует Запад,
неизлечимый северный озноб
переливая в южную нирвану.
Он лечит горе, одинок и древен,
как европейцами не познанный Восток.
Ни друга нет, ни женщины, ни равных.

...Античности разверзнутые раны
являют мрамора и патину, и блеск.
Спит Атлантида. Зевс младенцев ест.
Нет, ест детей Сатурн. А Зевс плывёт.
Он – Бык. Морской бурун вспорол рогами.
Вообразил Европу неотрогой
с девичьими и робкими ногами.
Плывёт, косит на нас влюблённый глаз.

Пусть жемчугами обовьют рога
Быку Стрелец, и Водолей, и Дева,
пусть радуются силе, красоте...
Но – мы другие. Но – века не те.
На что нам Бык с жемчужными рогами?

Земля лукава, и смертей не счесть.
Зачем нам нужен миф, коль Бог не спас!
Рога Быка – штурвал, достойный нас.
Живём, плывём... Куда плывём – не помним.



Круглеет месяц, как живот любимой,
скрывающий до времени угрозу.
Какое счастье – ночью дети спят.
И умирая, спят. Плывут и спят.
Всё множатся созвездия. Их свет,
не согревая, освещает путь.
О, как они прекрасны, красны, красны
и солонь! А рядом кто-то рыщет
с обломком острым и кого-то ищет.

И мир летит по чёрному лучу.
И красный ветер над снегами свищет.

ПОПЕРЁК ЛИСТОПАДА

Поперёк листопада ложится мой путь,
Вдоль гусиного, мелкого ломкого шага.
Если был кто со мною – отстал отдохнуть,
Если шёл параллельно – то так ему надо:
Обомлеть, столбenea от истин сквозных,
Обладеть от роскошного лисьего взгляда.
Подойду и скажу: параллельность прямых
Листопадом нарушена – значит, так надо.

Значит, ты потрудись обнаружить во мне
Глубину зачинанья строки непреложной.
И меня оттолкни, отпусти, отомсти
Теплотой за обманчивость ясности сложной.
Будем живы – и вновь разбежимся поврозь
Листопад разгребать, шелестя и рифмуя
Небо с морем и в небе с волною колдуя,
Ощутим глубину. И, волнуясь, глотнём
Эту истину – живую, горькую, злую.

ВСПОМИНАНИЕ

1.

Слова не властны – дом уже замёрз,
Душа тверда. И в доме стынут дети.
Нет повести печальнее на свете.
Но есть весна. Весна растопит лёд.
И вновь услышишь, что душа поёт.
Сначала глухо, горько, но – теплеет
и слово, словно ветка, зеленеет.
И раскрываешь сердце – так кулак
Вдруг превращается в ладонь.
Итак – слова даны мне снова, снова, снова.
А значит Бог всегда всеисильней Слова.
Он молчалив, но лучший собеседник.
С ним ты горюшь и немо говоришь
и словно лист, оторванный от дома,
Летишь. Летишь...



Как зелен он и беззащитен как!
И вновь ладонь сжимается в кулак.
Душа полна печали и любви.
О Господи, к любви не приведи.

2.

Поэзию молчанием продлить?
Я и без слов сумею говорить.
О тишина, она тобой полна –
мой свет из притворённого окна,
мой тёплый дом за тысячью небес,
мой лист единственный, вобравший целый лес,
мой ходунок, младенец, мой мужчина –
в лице дитяти старика личина.
Фальшивка, проступившая, как смысл.
Держу в руке платана ржавый лист!
Уже ноябрь. Уже мертва природа,
И ждёт тепла. А до него полгода.
Вот так и сын – я жду, а он растёт.
Потом уйдёт. И тем меня спасёт.
Молчи, о мать, умеющая знать
как слово за молчанье принимать.

3.

Когда слова стремительно круты,
как под рукой бильярдные шары,
Я отступаю. Игру прерву на вдохе.
Я стану холоднее недотроги.
Слова, Слова, словами лишь жива.
Молчаньем завоёваны слова.
За ними жизнь, в которой леденеть.
И закипать. И травкой зеленеть.

О, лучше камнем лечь себе на грудь
и начертать на этом тёплом камне
единственное слово: «Позабудь».

НА ЗАКАТЕ

... Тогда тишина опускает на нас
своих голубизн покрывала,
когда ты один на кровати лежишь,
и руки поверх одеяла.

Соседка со скрипом придвинула стул,
и чайник свистит бестолково.
И ты понимаешь: сейчас прозвучит
последнее главное слово.

БОРИС БЕРЛИН

МОЯ СОБСТВЕННАЯ ВЕЧНОСТЬ

повесть

РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ

– Ну, давай попробуем ещё раз. Скажи, что ты знаешь о райских яблочках?

– Я точно не знаю. Но мне кажется, у них обязательно ямочки на щеках.

– Хм... А – грех? Что тебе известно о грехе?

Она поворачивает ко мне свою солнечную головку, и я забываю, о чём спрашивал. Поразительно. Оказывается, есть что-то, способное меня поразить. Хотя, конечно – безделица, прихоть...

– Грех, это когда – щекотно.

– Щекотно... Господи, это почему же?

– Не знаю. Я мало что знаю точно. Но, мне кажется, если грех – то обязательно щекотно.

– Ты, наверное, спутала грех и смех?

– Может быть. Я всё ещё плутаю и путаю. Тогда скажи ты – что такое грех?

Я задумываюсь. Я не знаю, как объяснить ей – светлой, что такое – грех.

– Понимаешь... Ты чуть-чуть права. Может быть и щекотно и смешно – вначале. Но потом... Если слишком долго щекотать, да и смеяться тоже – обязательно придут слёзы. Грех – это слёзы после... Вот как.

– Ага. Но я так люблю щекотаться, что потом могу и поплакать.

И она отворачивается от меня – ей уже неинтересно. Отворачивается и засыпает. А я сижу рядом – хмурый и скучный Бог, не умеющий объяснить, что же такое – грех. Она любит щекотаться... Надо же, она – любит. Завтра непременно спрошу, что такое – любовь, уж тут-то я...

Она спит, а я смотрю на неё. Я смотрю на неё так... Хотя, конечно, я же говорю – безделица, пустяк, прихоть. Впрочем, ведь именно для этого она и была задумана. И я – улыбаюсь. Потому, что завтра будет новый день и новые слова. И я уж постараюсь объяснить ей, что такое – любовь. Или – она мне. Такое тоже возможно, да...

ХОРОШО ПОТОМ

Я спрашиваю себя до сих пор – зачем я её придумал – тогда – в первый раз? И все ответы мне подходят. Но самый любимый ответ – игрушка. Она просто моя игрушка. Страсть к игрушкам – самая сильная страсть, единственная страсть, доступная и ребёнку и Богу. В ту секунду, когда ребёнок забрасывает свои любимые игрушки – первые игрушки – под пыльный шкаф, он перестаёт быть Богом. Он найдёт другие – бесспорно. Но потеряет божественное в себе – необратимо. Моя единственная страсть всегда у меня под рукой. Но как удержать её и остаться – Богом?

– Скажи, а здесь есть ещё такие, как я?

– Таких, как ты – нет. Просто нет. По определению.

– Уф-ф-ф... Какой ты... Бубукалка.

– Кто? Я – кто?

– Бубукалка.

– Что-то я не припомню такого слова.

– А я сама его придумала. Только что.

– Нет, ты не можешь ничего придумывать. Ты можешь только повторять то, что я в тебя вложил. И вкладываю. И буду вкладывать ещё очень-очень долго.



– Но я... Когда я тебя слушаю... Когда ты со мной говоришь... Когда мы учим слова и смыслы... Одновременно я слышу, как бормочет ветер. Как тренькают птицы. Как шелестят бабочки. Всё это проникает в меня против моей воли. И я становлюсь, ну-у-у... разноцветней, что ли, чем ты меня видишь. Мне кажется даже, что я могла бы тебя – удивить...

– Это – невозможно. Бога невозможно удивить. Аксиома.

– Аксиом не существует.

– Вот как? А вечность? Может быть, ты и в вечность не веришь?

– Вечность – она внутри. Это единственное, что существует на самом деле. Всё остальное – раскраски.

– Какие ещё раскраски?

– Неважно, потом объясню.

– Ты – мне. Объяснишь...

– Ну, да. Сначала ты, а потом – я. Просто, мне иногда не хватает слов. А цвикает у меня внутри гораздо сильнее, чем у тебя. Вот про это я и объясню. Но потом.

– Цвикает?

– Ну, да. Или ёкает. Я не знаю, как правильно сказать то, что иногда возникает у меня внутри – когда я вижу цветок или бабочку, или твою улыбку, например. Представь себе – во мне, где-то очень глубоко, делается сначала ярко-ярко, потом звонко-переливчато, а потом так хорошо – что глаза щиплет. Но одного-единственного слова для всего этого я найти не могу. И ещё, я знаю абсолютно точно, что ты такого никогда не испытывал. Но это ничего, это не страшно, я тебя научу.

– Зачем?

– Так ведь хорошо потом! Только не спорь, пожалуйста – я очень хочу тебя научить.

– Научить меня ёкать?

– Ага. Или цвикать. Но это потом, потом. А теперь, давай заниматься. О чём мы сегодня будем разговаривать? И, кстати, ты для всего вокруг и для всего внутри придумал названия. А я? Как называюсь я?

– Сегодня мы будем говорить о любви. А имя... имя ты можешь придумать себе сама.

– Прямо сейчас?

– Да.

– Тогда... Тогда... Называй меня – Ева.

– Почему Ева?

– Не знаю, так мне захотелось.

– Но ты же знаешь – у всего сущего есть смысл. Слова, которыми мы называем разные ветви сущего – они неслучайны, более того, они – священны, ибо несут в себе самую суть вещей. Сочетания гласных и согласных, если они правильно подобраны, будят внутри тебя музыку. И ты...

– И я... танцую... Ой, прости, – и она закусывает пухлую губку, и лицо у неё почти виноватое.

Я строго смотрю на неё. Так строго, как только могу. Только вот в чём дело – я совсем не могу на неё строго смотреть.

– Ой, прости. Ну, правда, прости. Я больше не буду тебя перебивать. Я знаю, что нельзя. И потом, я понятия не имею, что это такое – танцевать.

– Так вот... – повторяю я после паузы – чтобы наказать. – Это будит в тебе музыку, и ты понимаешь – сначала себя, а потом уже и мир вокруг. А имя, которое ты себе придумала – Ева, оно мне нравится... Но какой в нём смысл, суть, музыка?

– Ну, неужели ты не слышишь? Повторяй за мной. – Она подходит почти вплотную и кладёт руки мне на плечи. И смотрит в глаза.

Я каменею.

Её лицо близко, так близко, что я вижу смешинки в её зелёных глазах. Мне смутно и ненадёжно, прежде всего, оттого, что я понимаю – нечто неуловимое проходит мимо меня. Или сквозь. Что-то, чему я ещё не придумал названия. И не хочу придумывать. Может быть, она мне объяснит – Ева. Потом.

Наверное, поэтому – я улыбаюсь.

– Повторяй за мной: Е-е-е-е, – поёт она, улыбаясь. Губы сначала разрезжаются, а потом вишнево округляются и, раскрываясь, выталкивают глубокое грудное, – ввв-а-а-а...

– Теперь ты понял?

Она торжествует, подпрыгивает и вдруг прижимается ко мне – на секунду. Мне-то – ничего, совсем ничего – в самом деле, а её щеки сначала розовеют, а потом начинают полыхать маками.

И я рад. Пусть только за неё, но – рад. Надо же, какая она у меня получилась. Радостная – да. Ева.

Пусть будет – Ева. И она – моя.



ТАК ЧТО ТАМ – ПРО ЛЮБОВЬ

Потом она говорит мне будничным голосом:

– Ну и что там – про любовь?

Я говорю – долго.

Я умею быть убедительным.

Я знаю силу своего голоса.

И в ответ на это на всё, Ева – никуда не денешься, буду звать её так – Ева, пожимает плечами и заявляет:

– Всё то, что ты сказал, в точности похоже на моё цвиканье-ёканье. И зачем так долго объяснять, когда вот – смотри...

Снова она слишком близко подходит ко мне, так близко, что видна крохотная родинка под левой грудью. Почему-то, именно вид этой родинки, меня особенно умиляет. Я вспоминаю, как только Ева появилась на свет, мне тут же стало понятно, что я создал – совершенство. Это было – вдохновение, потому-то она и получилась живой, не такой, как всё, что я создал до неё – раньше.

Но совершенство так хрупко... И я сказал себе – пусть будет крохотная пометка на белом листе бумаги, так, на всякий случай – и тут же появилась эта самая родинка. Но... Вот, странное дело – с ней Ева стала ещё прекрасней. Н-да... Это была её первая победа надо мной – через секунду после рождения.

А потом – она заговорила.

Не сама, конечно, не сама, это я вкладывал в неё слова – те, которые начал слышать с недавнего времени. С недавнего времени – глядя на неё.

Так закончилось безмолвие, и пришла – музыка.

И ещё эта фраза, звучащая всегда по-разному: «Вначале было слово».

Через Еву зазвучала вечность. И я знаю, что это лишь начало.

Вот и сейчас, она подошла слишком близко ко мне, чтобы объяснить, что такое – любовь.

Когда её губы коснулись моих, я – удивился и всё. Хотя...

– Ну, теперь ты понял?

Она отодвигается, отстраняется на мгновение от моих губ, смотрит на меня сначала радостно, а потом грустно.

– Неужели ты ничего не почувствовал? Вот здесь...

Ева кладёт правую руку себе на живот – в самом низу её живота перламутровая лодочка-ладошка.

– И вот здесь, – она проводит пальчиком вокруг соска. – И ещё... Что со мной? У меня в голове... Я слышу так много... Всё поет. И слова и ветер, и бабочки. Неужели только от одного поцелуя? А если – повторить?

Я беру её за руку и усаживаю рядом с собой.

– Ева, успокойся, девочка...

Она кивает – послушная.

Мы сидим рядом – прекрасные, голые, счастливые. Я слышу, как бьётся её сердце на расстоянии ладони. Гляжу в изумрудно-зелёные глаза.

И понимаю, что, наконец-то, создал свою собственную вечность, которая пробует создавать – меня...

ПРО СЕДЬМОЕ ЧУВСТВО

– Давай поговорим о чём-нибудь странном. О необычном. Я так люблю необычное. Расскажи мне что-нибудь, а?

– Спрашивай.

– Ну вот, например... Расскажи мне про моё тело.

– А что тут рассказывать? Единственная действительно важная его часть – это мозг. Недаром я создал его в форме ореха. Орехи, между прочим, обладают удивительными свойствами.

– Нет, про мозг я не хочу. И про орехи – тоже.

– Так... А про что ты хочешь?

– У меня – и внутри, и снаружи, есть много всего такого, что мне ужасно нравится и доставляет огромное удовольствие – она даже зажмуривается – и спасибо тебе, что ты создал меня именно такой.

– Хм...

– Ну, да. Только одно странно. Вернее – два. Два глаза. Иногда мне кажется, что это просто отверстия,



направленные вовнутрь. Чтобы ты смотрел и знал, что происходит в моём ореховом мозгу. А иногда я думаю, что в глазах уже уместилось – всё. То есть, абсолютно всё. И я видела это – раньше. Надо только набраться терпения и рассмотреть. Или вспомнить.

– Про глаза – это легко. Есть шесть органов чувств. Вернее – пять, но самих чувств – шесть...

И я рассказываю про органы чувств, надеюсь, не слишком занудно, потому что Ева серьёзна, сидит, подперев кулачком румяную щёку, когда же речь доходит до шестого чувства – до тайного знания – слушает, открыв рот.

И вдруг заявляет:

– Но ты забыл про седьмое чувство.

– Я не забыл. Его просто нет...

– Есть. Ещё как есть.

– И что же это такое:

– Сейчас покажу – смотри.

Она подбирает с земли прут, обламывает его и изо всей силы вонзает обломанный конец в свою розовую ладонь.

Я бросаюсь к ней, выдёргиваю чёртов прут, вытираю кровь, а она всё течет и течет, я прижимаю к ранке губами и сосу солоноватую влагу.

...Кровь, наконец, остановлена. Ева, притихшая, сидит у меня на коленях, прижимает к ране лист подорожника и испуганно молчит.

Я говорю:

– Ты как-то спрашивала, что такое – грех? Вот тебе пример: это грех – причинять себе боль. Грех – портить красоту. Это грех вдвойне, ещё и оттого, что не ты эту красоту создала.

Она поднимает лицо и смотрит кротко-кротко.

– Прости, я только хотела показать тебе седьмое чувство.

– Да? Тогда – объясни, я ничего такого не заметил...

– Ага, – она усаживается поудобнее, уже меня не боится. Да она никогда меня не боялась – это последняя промелькнувшая здравая мысль, а после – её сбивчивый рассказ, её смешки, её всхлипы. И её тяжесть на моих коленях. И мне показалось...

– Ты так на меня смотришь, будто и вправду согласен со всем, что я тебе тут наговорила. – И она хохочет, откидывая голову назад и снова перед моими глазами её грудь, и крохотная родинка... с чего же всё это началось? Когда она спросила про глаза? Раньше?

А Ева теребит меня и требует возражений.

Ну что же...

– Хорошо. Только слезь с колен и сядь рядом.

– Но – почему? Мне так хорошо.

Она видит что-то в моих глазах, что-то, в чём я сам не отдаю себе отчёта. Она запоминает это и довольно улыбается, про себя, тихо-тихо, прежде чем усесться, как и приказано, рядом.

– Итак – седьмое чувство. Ты утверждаешь...

Дальше я молчу, потому, что ничего не помню.

Ева вздыхает.

– Значит, я была права, когда мне показалось, что ты не слушаешь. Ну, как же так? Ладно, повторяю в последний раз:

– Седьмое чувство – это самое главное чувство, как талант. Это умение чувствовать за другого, вместо него – понимаешь? И чем больше другой тебе принадлежит, чем он дороже тебе, тем сильнее и ярче твои ощущения. Когда эта бестолковая деревяшка проткнула мне руку, я не почувствовала ничего. Потому, что в тот момент сильно думала о тебе. Я поняла, что тебе, в самом деле, больно, оттого, **что** ты видишь и это ощущение заслонило мою собственную боль.

Когда ты выдернул острый конец из моей плоти, я тоже ничего не чувствовала, кроме того, что ты готов выпить мою боль – вот, как выпил сочащуюся кровь. И мне стало необыкновенно хорошо. Ты смог испытать что-то моё. Ты взял мою боль – себе. Ты обладаешь способностью к седьмому чувству. Именно поэтому мне с тобой так...

– Как?

– ...Защищённо.

– Выдумщица. Я не знаю боли. Я не знаю страха. И сейчас очень жалею, что наделал тебя способ-



ностью чувствовать всё это. Все эти импульсы, синапсы, нервные окончания... Хотел, как интересней, как лучше. Впрочем, никогда не поздно изменить...

– Нет, миленький, нет, пожалуйста – нет.

– Как странно ты меня называешь. Как странно – всё...

АДАМ

А потом мне пришлось создать Адама.

Я почувствовал, что моя любимая игрушка – заскучала. А мне очень хотелось её побаловать.

– Хочешь, поговорим?

– Нет.

– А что ты хочешь?

– Ничего. У меня всё есть.

Она сидит у моих ног – в цветах – и смотрит на меня снизу вверх.

– Но ты ни разу не засмеялась сегодня.

– И правда. Но я не знаю – почему.

– Тебе скучно. Иди, прогуляйся.

– Я не хочу. Я хочу только с тобой.

– Но я занят.

– Пусть. Я буду здесь, рядом, вдруг – понадобится. Тогда тебе надо будет только протянуть руку и взять.

– Взять...

– Ну, я имею в виду, что мне просто хорошо рядом с тобой и всё.

– А если я... раздвоюсь?

– Что значит «раздвоюсь»?

– Представь, вот если бы у тебя всё время был ещё один – я? Свободный и занятый. Пока другой – занятой и скучный – думает и ворчит...

– Но так не бывает.

– Бывает – всё. Надо только...

Так появился Адам.

В то утро мы пришли к Еве вдвоём – он и я. Она кинулась сначала ко мне, потом – к нему, снова ко мне. Растерялась. Погасла.

А мы с ним улыбались одинаковыми улыбками и молчали. Я – потому что хотел понаблюдать, Адам – ему пока просто нечего было сказать...

Ева заплакала.

– Послушай, он – это я, – объясняю я. – Абсолютное, полное внешнее сходство. Спящий, пока что, ореховый мозг. Плюс – чувствительные нервные окончания. Конечно, не такие чувствительные, как у тебя, но... Ты сможешь научить его цвикать и ёкать. Научить мудрости и боли, нежности и отваге.

Его зовут Адам. Вслушайся в его имя. Он открыт, доверчив и нуждается в тебе. Ты сделаешь из него свою вторую половину.

Я уйду, оставляя их вдвоём. И вдруг, неожиданно для самого себя, оборачиваюсь и:

– Но обещаю не покидать меня, слышишь?

...Было весьма поучительно наблюдать за превращением адама – в Адама. За тем, что может сделать с мужчиной один благосклонный женский взгляд. А женский голос... Ну и все остальные органы чувств...

Ещё интересней были превращения Евы. Ну да, я подглядывал. Я узнавал Еву – другой. В конце концов, она всего лишь – моя игрушка. Моя любимая игрушка...

Мы встречались каждый вечер, как обычная семья. Адам сначала молчал, потом стал потихоньку втягиваться в разговор, но с ним было неинтересно. Главное – он смотрел на Еву с обожанием, а её глаза сияли от счастья.

Наверное, я был за неё рад.



А ПОТОМ – СВЕТ

Всё, что было потом – известная всем история. История, перевернувшая мир.

И, конечно, райские яблоки здесь ни при чём.

Просто, один раз Ева пришла ко мне и сказала:

– Я придумала новое слово.

– Здравствуй, птенчик. Какое слово – расскажи мне.

– Не будь так ласков со мной – мне больно.

– Прости.

– А слово простое – «уста»

– И что такое – уста?

– Уста – это губы, рот, то, что можно целовать.

– Как же ты его придумала?

– Очень просто, гляди. Есть слово «устал» – так? Когда ты устал, из тебя будто вся жизнь вышла.

Ты падаешь в траву, смотришь на звёзды и просишь – дайте мне радости.

– Радости? Может быть, правильнее – силы?

– Нет, именно радости, ведь это от неё появляется сила, а не наоборот. Это всё равно, что от Евы появился Адам, понимаешь?

– Понимаю, так. Ну, а дальше?

– Ну вот... И тогда... Просто, вместо того, чтобы валяться в траве и просить радости, я придумала – другое.

– И что же это за другое?

– Это... Это... сначала надо найти, подойти к тому, кого ты любишь... или... надеешься, чтолюбишь. Подойти близко, очень-очень близко. Найти его губы и прижаться к ним своими губами, чтобы пожаловаться друг другу – я так УСТАЛ без тебя.

Передать свою тоску – из уст в уста – чтобы получился долгий-долгий поцелуй.

И тогда...

Тогда радость начнет заполнять тебя – медленно и всё время, пока не переполнит и не перельётся через край, из устья – в устье. А потом... Потом – свет.

– А потом – свет... – повторяю я. И понимаю, что потерял её...

ДРУГОЕ ВОЛШЕБСТВО

Я попытался объяснить ей, что есть и другое волшебство.

Что уста, устья и свет, они – везде, если есть то, чему так трудно придумать название.

– Помнишь, ты спросила, что это такое – «танцевать»?

– Да. Это слово... Мы никогда о нём не говорили.

– Потому, что про танец невозможно говорить. Его нужно...

– Что?

– Его нужно – жить. Иди сюда.

... – Представь себе – жарко. Жар у тебя в крови. Вокруг бёдер у тебя – розовые лепестки, а во рту – обжигающий кусочек льда... А теперь скажи – ты слышишь? Ты слышишь – это?

– Я... слышу. Странная музыка, неровная. Нервная. Зовёт и отталкивает – одновременно. Что это?

– Это – танец. Назовём его... Назовём его – танго. Вслушайся в это слово: Та-а-а-н-го-о-о.

– Когда ты его произносишь, то будто скручиваешь меня в жгут, туго-туго. Прижимаешь к себе так сильно, что я перестаю дышать. А потом – отталкиваешь...

– Правильно, так и есть. Так и будет. Всегда.

Я беру её руку в свою. Другая опускается ей на талию. Чуть-чуть, самую капельку – ниже.

Остальное делает музыка. Мы лишь двигаемся ей в такт. Она льётся отовсюду, она накрывает нас волной – из уст в уста, из устья в устье. А – потом...

Ева сидит у меня на коленях, и дыхание её делается спокойней и тише. Она успокаивается, кладёт голову мне на плечо.

– Какое блаженство. Почему раньше ты никогда..? Я должна сейчас же научить Адама!

– Ева, ты... Тебе хорошо с ним?

– Конечно. Я же его люблю.

И – убегает.

А ЧТО ТАКОЕ – НАДЕЖДА

Я не хочу о том, как она ушла.

Хочу о том, как она – есть.

Потому что... Вот, представьте себе – живёт у вас птица. Долго живёт. Тренькает себе. Иногда, целые музыкальные фразы выводит, головку свою набок склоняет. Глазом круглым – любопытничает. А вы ей каждое утро в кормушку – зерна, воды в блюдце. И так вам хорошо вавоём... Что когда настает пора открыть клетку, внутри будто что-то взрывается и вы никогда уже – не прежний.

Я открыл клетку.

Ева ушла и увела за собой Адама.

И наступило – потом.

Логос, выращенный мной, давал семена, и вскоре сыновей и дочерей Евы было трудно сосчитать.

Фатум и есть фатум, но и я... словом, кое-что могу. Защищал – её и детей. И каждый раз, судьба её была прекрасной. Пусть иногда трагичной, но прекрасной – всегда.

Она жила и умирала, и рождалась вновь. Я же всегда был рядом, конечно, а как же иначе?

Ведь она не просто – была.

Она и сейчас есть – горюет и хохочет. И всегда помнит обо мне.

Рассказывает своим детям о Боге, пытается сделать этот мир лучше.

А когда становится совсем немого – смотрит на небо и...

Вы так часто произносите это слово – надежда. Я-то не знаю, что это такое. Но если вам интересно – спросите у неё – у Евы. Она – сумеет объяснить.

Потому что...

ПОБЕЖДАЮТ СЧАСТЛИВЫЕ

О том, что у Адама появилась другая женщина, Эва узнала раньше него самого. Звериное чутьё. То, которым одна женщина может почуять другую. Через мужчину. Не видя, не зная, безо всяких, в общем-то, оснований.

А вот... Чуть более мягкий взгляд. Туфли, начищенные до невероятного блеска. Зарядка – не пять минут размахивания вялыми руками, а минут сорок – до остервенения.

В то утро, когда Эва увидела, что живот Адама стал таким же безукоризненно рельефным, как и в день их свадьбы, пятнадцать лет назад, она поняла, что пора действовать. И – совершенно нетрадиционными методами.

Неожиданности она обожала всегда. Преодолевая их, она становилась поразительной и неотразимой – какой любила себя больше всего. Ещё Эва любила получать удовольствие, даже тогда, когда любая другая хватается за голову и начинает делать одну глупость за другой.

– С добрым утром, милый...

– Привет, дорогая. Как спала? (В глаза не смотрит, голос прохладный).

– М-м-м... Прекрасно. – Эва подходит и обнимает мужа сзади. Она красива. Ещё чуть расслаблена.

Ещё пахнет – постелью... Но ведь и таким изменяют тоже – ничего не поделаешь.

Впрочем – ничего не поделаешь – это не про неё – не про Эву...

– Мне снился такой сон...

– Вот как...

– Мне снился сон – про тебя...

– Да? И что? Что там было?

– Ты был такой... Такой...

– Какой?

Ложечка в чашке замедляет движение. Мужчина любит, когда про него – так...

– Ты просто сводил меня с ума. И ещё... Ты был... с женщиной.

Наверное, кофе попал не в то горло.

– Кх-м... С какой ещё женщиной?

Это уже почти признание. И Эва отдаётся своей интуиции, уже не раздумывая.

– Я её очень хорошо запомнила... Она – хороша. Молодая. Тонкая. Короткие тёмные волосы, глаза



в пол-лица. Не невинна, но многого не умела. И я её... учила. Кто ещё знает, как надо, чтобы ты – улетел...

– Так ты была там... Хм... С нами... Вот как... Ну и сны у тебя, знаешь ли... – он задумывается, пару секунд хмурится и, наконец, улыбается – уже ей!

Потом целует её – её – с чувством, первая победа – вот она! И уходит на работу.

...Если не предаваться отчаянию, можно сэкономить чертовски много времени – это она поняла уже давно, но на работу сегодня придётся опоздать. Между прочим, работа – любимая и очень даже важная часть её жизни. Она, вообще, ужасная собственница и за всем своим – семьёй, работой и небольшим, но таким уютным и надёжным домом, смотрит, как волчица за потомством. Подойдешь – загрызёт.

Но сегодня – придётся опоздать...

Нет, она не отправится в салон красоты или по магазинам – это ни к чему. Эва и без того ухожена и стильно одета. Стильно – значит, в своём, выбранном ею и присущем ей стиле. Она замечательно это умеет, ведь стиль – это главное всегда и сегодня тоже. А кроме того, надо просто сломать обычный ход вещей, выйти за пределы повседневности, заново почувствовать вкус жизни, её ток. Ощутить – счастье.

Ведь, если хочешь победить, у тебя должны быть необыкновенно счастливые глаза...

Утро ещё не кончилось. Эва заказывает чашечку кофе в знакомом кафе на набережной, вдыхает влажный, пахнувший скорой осенью, ветер, сидит, глядя по сторонам и ни на чём не останавливая взгляд. Она чуть улыбается – вовнутрь – сама себе и ждёт. Предчувствия не обманывали её ни разу. Она знает, что всё предопределено – это живёт в ней с детства, а может, ещё с прошлой жизни, даже не одной – сколько их там было...

Ветер забирается к ней в рукав, и это возвращает её к реальности. И – ничего, ничего, ничего. Не может быть, ведь зачем-то она сюда пришла. Эва пожимает плечами, и в этот момент из медленно проезжающего мимо автомобиля до неё доносятся звуки милонги. Почему-то именно это слово, почти незнакомое, было первым, пришедшим ей в голову – милонга. Она не успела даже удивиться. На заднем стекле надпись: «Латиноамериканские танцы – танго, милонга» и номер телефона. Что же, для того и существуют салфетки, чтобы записывать номера телефонов, не так ли? А ручка у неё всегда с собой. Ну, или тубик губной помады...

Через несколько минут она набирает номер, и как-то слишком легко назначается время, да и адрес – здесь, поблизости, почти рядом. Сегодня, во второй половине дня – в четыре часа.

Танго – милонга...

МУЗЫКА

Это оказалось довольно большим светлым залом с паркетным полом и зеркальной стеной. Ещё там была небольшая гардеробная и крохотный буфет – чай, кофе, улыбки...

Под самым потолком, по периметру – большие фотографии танцующих пар, совершенно ей незнакомых. На паркете несколько пар в круг, в центре – мужчина и худенькая женщина с сильными ногами.

Эва вошла и все повернули к ней головы.

– Вы – Эва? – спросила женщина.

– Да. Я звонила. Я хотела бы здесь... учиться.

– Учиться? И чему бы вы хотели научиться? – мужчина делает несколько шагов и подходит близко, совсем близко.

– Всему. Танцевать...

Он совсем, ну совсем не в её вкусе, но, боже мой, как он на неё смотрит... Как он смеет так на неё смотреть. Так... по-хозяйски...

Потом её левая рука оказывается на его шее, правая, уже замирает в ожидании его руки, а его лицо вот оно – рядом. И она почему-то не в силах поднять глаза... Наконец – ну, сколько же можно ждать – он обнимает её за талию, нет, чуть-чуть, самую капельку ниже, отпускает и тут же обнимает снова. И медленно делает первый шаг... Она покоряется – так – впервые в жизни, сама того не желая, да её и не спрашивают, её – ведут, и какая разница – куда. Потому, что она чувствует – всем бутоном своего тела – его желание, его власть, его силу. Музыка наполняет её. Тан-го...



...Танец кончился. Когда она сумела поднять глаза и взглянуть ему в лицо... Музыки – не было. Она не затихла, нет, её просто не было. Они танцевали – в тишине. Женщина в центре смотрела на неё и улыбалась.

– Главное вы уже умеете – говорит он уже издали. – То, чему не научишь. То, чему нельзя научиться.

– Вы имеете в виду?..

– Конечно – любить. Но не только. Это не главное.

– Тогда – что же?

– Уметь быть любимой. Уметь – принадлежать. И, зная цену всему на свете, не думать о ней. Слышать музыку, которая – внутри. Вы – любимы, Эва. Более того, вы были любимы очень много раз. Всегда. Вы должны помнить.

– Да, я помню. – шепчет она едва слышно. – Я помню...

– И любили – тоже.

Она кивает.

Если бы ещё знать, что это слово обозначает, если бы уметь, как он...

Она слышит его голос. Она слышит его отовсюду. Кажется, он был и раньше, он был всегда, всегда, всегда – вечно.

И музыка не затихла, нет. Она звучит, ведь она вечна – тоже.

Тан-го...

ПОЗДНИЕ ВСТРЕЧИ

Когда дом даёт трещину – объяснения не нужны. Не до них. Надо быстро подставить плечо, чтобы не рухнула крыша и не погребла под собой то, что ещё, может быть, можно спасти – если можно. А объяснения... С ними можно и подождать.

Плечи у Эвы красивые – круглые, гладкие, чуть смуглые. До сих пор всё держалось на них. Но сегодня... Сегодня она опоздала к ужину. Опоздала первый раз за всю их совместную жизнь. Обычно ведь она его ждёт. Стол накрыт, она сидит, свернувшись в кресле, читает, иногда слушает музыку или просто смотрит в окно и напевает. Но вот – сегодня...

Эва ещё не успела вытащить ключи, дверь распахнулась.

– Где ты была? Почему так долго? Я жду, не знаю уже, что думать...

А что, собственно, волноваться? Ну задержалась, опоздала его когда-то любимая жена, так ведь и он – почти каждый вечер... Нет, спит он со своей... со своей девочкой раз, ну два в неделю, не чаще, но ведь и просто посидеть полчаса в кафе или погулять после работы в парке, у пруда. Она так любит смотреть на лебедей... Потом, правда, эти путаные объяснения, которые, в сущности, никому и не...

– Прости, я забыла предупредить. Слишком увлеклась...

– Чем? Чем увлеклась? Я же волнуюсь... Ну, где ты была?

– Танцевала. Я была на уроке.

– Каком уроке? Не понимаю...

– Я записалась в школу танцев. Здесь, недалеко. Танго и милонга. Сегодня был первый раз.

– Ты серьёзно? Но с какой стати? Я не помню, чтобы...

– Милый мой, вот именно! Я тоже не помнила, а потом – поняла, что всё это уже было, понимаешь?

И не просто было, а – со мной...

– Но ведь можно было позвонить...

– Наверное. Наверное, да, можно. Но я – не позвонила... Прости, а?

– Хм... Как будто у меня есть выбор.

– Ты мой хороший. Выбор есть всегда, кроме тех случаев, когда его – нет. Пойдём в дом...

– ...И чему тебя там научили?

– Слышать музыку...

– Ты имеешь в виду ритм, шаги, да?

– Нет, не совсем... Вернее, совсем нет. Её – не было. Музыки не было, понимаешь? Но я её слышала – внутри. И – танцевала под неё. В полной тишине...

– Любопытно... А ещё?



– Ещё? – она смотрит на него потемневшими вдруг глазами и подходит вплотную, почти касаясь. Ещё видеть, не поднимая глаз... – Эва опускает глаза и левой рукой обнимает Адама за шею – точно, как...

– Ещё...

– Ещё мне сказали, что я умею главное. То, чему нельзя научить.

– И это?..

– Принадлежать. Я умею – принадлежать. Принадлежать... и не думать о цене... – её слова делаются подвижными и перетекают в танец, в движение, начинают звучать её живот и бедра, ладони, выбившийся, упавший на лоб, локон. – Слышишь, слышишь?

Сам того не замечая, он уже ведёт её и какая разница – куда?

Ведь на расстоянии опущенных ресниц уже непонятно – о ком мечтают глаза...

... – Ты был особенный, не такой, как всегда. Как будто – не со мной.

– Что за ерунда... Какой – не такой?

– Жёсткий, даже грубый. Но мне... понравилось, – усмехнувшись, она легко целует Адама в губы, накидывает свою шёлковую блузку и босиком отправляется в кухню.

– Салат и курица-гриль – подойдёт?

– Ещё как! Ужасно хочу есть. И чего-нибудь выпить, ладно? По-моему, в холодильнике есть бутылка белого вина, да?

– Ну, не к мясу же... Давай лучше потом, с сыром?

– На десерт?

– Нет, милый – она оглядывается на него, улыбаясь. – На десерт у тебя снова – я...

Эва продолжает улыбаться своим мыслям – не ему. В первый раз – не ему.

И у неё – необыкновенно счастливые глаза...

ТРУДНО РАССКАЗЫВАТЬ ПРО СЧАСТЬЕ

Уроки танцев два раза в неделю. И два раза в неделю я с ней танцую, я держу её в руках...

О счастье рассказывать трудно. Но когда я подошёл к Еве впервые, там, в танцевальном зале и – повёл...

Мне показалось – ей нужна защита.

Или я сам себя в этом убедил, потому что...

Кто знает?

Кроме меня – никто.

И причём тут время, если я помню её всю. А больше всего – ту маленькую родинку под левой грудью...

Только вот, что с этим делать? И надо ли?

Я ловлю себя на том, что всё больше и больше становлюсь похожим на людей. Иногда мне кажется, что когда-то раньше – я был одним из них.

Выходит, и на самом деле – по образу и подобию. Точно...

Ведь, если бы не это, разве я смог бы приблизиться к ней настолько?

Сейчас...

– Здравствуй, Ева.

– Ну вот. А разве, мы уже перешли на «ты»?

– Давно. Так давно, что тебе и не снилось. На самом деле, мы были на «ты» всегда, с самого начала.

Попробуй вспомнить.

– Не знаю... Может быть... Может быть, ты мне как раз снился? И поэтому твоё лицо кажется мне таким знакомым?

– Вот видишь. Я же говорю – с самого начала...

– Да, может быть... Да.

– Ну что, начнём?

Почему она всегда краснеет от этого «начнём»?

Я кладу руку ей на талию, чуть ниже. Ева обнимает меня и опускает глаза. Она дышит мне в шею, она дышит так, словно долго бежала и запыхалась. Жарко...

– Успокойся, Ева, успокойся. Мы ведь ещё даже не начали.



– Вот и я думаю, а что же будет, когда начнём?

Я убираю руку и тут же обнимаю её снова. Ева – моя капелька, мой ребёнок, моя душа.

Душа одного отдельно взятого Бога...

Я – веду её...

Танго – странный танец... Кто-то считает, что он родился в Испании, кто-то, что в Африке, под бой там-тамов.

Чушь...

Это было просто – последнее средство.

Удержать её – мою девочку, мою любимую и единственную игрушку, которую так и не удалось забросить под шкаф...

Удержать – не удалось тоже.

Но сейчас я веду её. И какая разница – куда...

– Я боюсь...

– Чего?

– Не чего, а кого.

– Ну... И что же во мне такого... страшного?

– В тебе – ничего. Но рядом с тобой я начинаю бояться себя.

– Это не страх. Ты просто вспоминаешь...

– Что?

– Всё, что было тогда, в самом начале. Гирлянду из розовых лепестков вокруг твоих бёдер, родинку...

– Какую родинку?

– Совсем-совсем крохотную. Под левой грудью.

– Боже мой... Откуда ты знаешь?

– Просто потому, что я знаю всё. Ведь ты танцуешь со мной, а в танце нет секретов.

– А я думала – секреты есть всегда...

– Во всём – кроме. В танго один секрет на двоих.

– Тогда – расскажи...

– Разве ты ещё не поняла? Я был уверен...

– Пожалуйста, я прошу. Я хочу – услышать.

– Да, я понимаю... Но это очень просто. Мужчина говорит: «Я люблю тебя. Ты была, есть и будешь – моей. Я хочу тебя – всегда. Ты принадлежишь мне. Ты – моя женщина.

– Ну, а женщина? Я?

– У неё может быть только один ответ – на всё: «Да, да, да. Я – твоя женщина. Я принадлежу тебе – до конца. Владей...».

– Теперь я знаю. Я поняла.

– Ты поняла – что?

– Почему мне страшно. Оказывается, страх – это всего лишь изнанка страсти.

– Ты всегда путала слова. Путала, путалась и путала меня.

– Путала – тебя? Так, значит, мы...

– Не спрашивай. Ты принадлежишь мне. Ты – моя женщина. Просто моя женщина...

– Да, да, да...

БОГОТВОРИТЬ – ЭТО ПРОСТО

Родил – любви, иначе – зачем?

Мало счастье создать, надо всё время, всегда творить его – после. Бого-творить.

Когда Ева появилась, вылупилась из моих рук, я уже знал, уже понял, что сотворил нечто, действительно божественное, а ещё, что всё самое главное – впереди.

Я лепил и творил её каждый крохотный миг, каждую секунду и как же упорительно это было. Учить её словам и смыслу, смеху и слезам – всему.

Но если творить означает – любить, то...

Надо же... А я вот всегда думал, что не умею.



...

– Как хорошо. Ты, всё-таки – пришёл.

– Но ведь ты меня позвала, разве нет? Ты сказала, что это срочно. Как же я мог...

– Это на самом деле срочно, очень. Хотя мы с тобой виделись только вчера и через несколько дней увидимся снова... И вообще, у тебя своя жизнь, о которой я не знаю ничего. Возможно, я помешала. Но я не могла ждать.

– Ну вот, я здесь. Так что же случилось?

– Я просто, наконец, поняла себя. Это было очень долго и – вот...

– Долго – это неважно. Главное, всё-таки – поняла.

– Да. Благодаря тебе. Это ты дал мне ключ, сделал меня такой.

– Хм, верно. А раньше?

– Нет никакого раньше. Всё, что раньше, было ожиданием тебя.

– И ты так спокойно об этом говоришь?

– Нет. Но когда я думаю о тебе... А я думаю о тебе – всё время. И во мне поёт ветер. Я не спокойна, нет. Я просто никогда не жалею о том, что сделала. Или о том, что сделано кем-то. Потому, что верю – ничто не случайно, во всём есть смысл, во всём. И он – прекрасен. Если хочешь, это моя религия.

– Немногие думают так же, как ты.

– Я знаю, но это неважно. Почему ты не предлагаешь мне выпить?

– А ты хочешь?

– Не знаю, наверное. Может быть. Брют.

– Но это ведь обычное недорогое уличное кафе. Откуда здесь брют? И потом, вечер ещё не наступил.

Не рано?

– Ну, хорошо, как скажешь. Как скажешь – всё и всегда...

– Всё и всегда. Иногда это прекрасно...

– Разве – не всегда?

– Хм... Тавтология, забавно... Насколько я знаю, даже *всегда* не длится вечно. Всему рано или поздно приходит конец. Кроме одного-единственного случая.

– Значит, это тот самый случай. Мы – ты и я. Вместе.

– Попробуй меня убедить...

– Ты так говоришь, словно – не веришь.

– Видишь ли, Ева, в моём случае, это слово – «веришь» – звучит странно.

– Почему?

– Значит, ты до сих пор не вспомнила...

– Так подскажи, ну...

– С тех пор, как мы танцуем, я только этим и занимаюсь.

– Ты так говоришь, словно отталкиваешь меня...

– Нет. Это, как в танго, если и делаешь шаг назад, только чтобы через секунду прижаться ещё теснее.

– Но танец заканчивается, а я... Ты нужен мне и потом, после – всё время. Ты научил меня не думать о цене, так протяни руку. Тебе надо, всего лишь, протянуть руку и...

– Взять.

– Да...

– Ты... решительная.

– Только с тобой и для тебя. Ну...

– Ева, я...

– Я уже поняла... И, значит, всё остальное неважно... Не знаю, почему ты... Ты ведь хочешь меня не меньше, я не ошибаюсь, я ведь – женщина. Твоя женщина. Что-то тебе мешает... Впрочем, какая разница.

– Ты права. Во всём. Да.

– Тогда скажи мне – прощай. Если сможешь.

Она обнимает меня за шею и опускает глаза. И дышит так...

А мне не остаётся ничего, только прижать её ещё теснее. И когда её губы раскрываются, я уже не знаю, кто же я на самом деле. Пожалуй – в эту секунду...

– Надо же, моя маленькая Ева, моя собственная вечность, ты – вернулась...

ЛУЧШЕ – НЕТ НА СВЕТЕ

Когда приходит время выбирать, мужчина, чаще всего, оглядывается назад, а женщина, по крайней мере, такая, как Эва, щурится, глядя на солнце и хохочет. Просто – до слёз.

– Ну, почему каждый раз – допоздна? Эва, слышишь? Я к тебе обращаюсь, слышишь?

Она сидит на низкой банкетке в прихожей – только-только вошла – разметавшиеся волосы цвета меди, искусанные губы, взгляд – в себя.

Адам опускается на корточки и берет её за плечи.

– Эва! Я с тобой разговариваю...

– Адам, ты знаешь... – она смотрит на него очень ласково и тихо, и – молчит.

– Что? Ну, что?

– Сегодня... понимаешь, мне ужасно захотелось шампанского, мне захотелось – брютта, понимаешь? Вот – ужасно.

– Так ты что, выпила? Да?

– Нет. Нет, не получилось. Его не подают в дешёвых кафе, только в дорогих ресторанах... Но я... – и её взгляд снова уходит в себя, – Зато я танцевала. Это было... ещё лучше. Это было – божественно. И значит – пора выбирать. Почему-то, если божественно, всегда приходится выбирать. Иначе – никак...

...Из ванной – звук льющейся из душа воды, а Адам...

А он вдруг вспоминает свою... девочку, свою малышку, которую не видел уже целых две недели. Не то, чтобы – забыл, но... Он и Эву не видит, ну – почти. Днём она на работе, вечером – танцы эти, танго – милонга... Но о ней он всё время думает, то есть, она у него из головы не идёт, вот в чём дело. Он же видит, не знает, но видит. И не видит – тоже. То ли потому, что так – проще, то ли потому, что боится потерять. Значит, всё-таки – любит? Но, всё равно, выбирать придётся. Рано или поздно – придётся. Она права, иначе – никак. Боже ты мой...

Потом, позже, он, обняв её, засыпает, как ребёнок, услышавший перед сном сказку – спокойный и довольный, а Эва, по прежнему глядя в себя, всё шепчет и шепчет – неслышно:

– Это – божественно, божественно. Лучше этого – нет на свете. И значит – бессмысленно думать о цене. Иначе – никак...

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Я не вижу её глаз, но знаю, что сейчас они жмурятся от удовольствия. Она лежит на животе, положив голову мне на грудь, и щекочет ресницами. И я – я! – ловлю себя на том, что как никогда остро, ощущаю – вечность.

А она – она смеётся.

– Эва, почему ты смеешься?

– От счастья. Люди обычно смеются от счастья, разве ты не знаешь?

– А счастье – отчего оно?

– От любви, от чего же ещё.

– Тогда – расскажи мне про любовь.

– Но ведь ты знаешь – всё. Почему же ты спрашиваешь?

– Чтобы увидеть её твоими глазами...

– Ну-у-у... Мы называем этим словом столько разных вещей. Привычку, страх потерять. К природе, к животным – тоже любовь...

– А то, что ты сейчас делаешь ресницами, это тоже – к животным?

Она смотрит на меня невинными глазами.

– Может быть, отчасти. По крайней мере, я очень надеюсь...

– Хм... Я хочу тебе сказать... Ты знаешь...

– Ты бубукалка.

Я даже привстаю.

– Как? Как ты сказала? Бубукалка?



- Да. По-моему, очень симпатично и тебе – идёт.
- Тогда... Скажи, а как отличить любовь настоящую от всех остальных?
- Очень просто. Настоящая – это любовь к тебе. Это ты...
- Но ты же меня совсем не знаешь.
- Почему? Я знаю твой ум, твоё тело, твою власть надо мной. И ещё – ты меня называешь Евой. Мне нравится.
- Ты по-прежнему ужасно легкомысленна...
- Это из-за тебя. И раньше и сейчас – всегда. У меня лёгкие мысли. Я и сама удивляюсь, как такое может быть.
- Может, девочка моя. Может быть – всё. Абсолютно всё.
- Это – правда?
- Конечно, как же может быть иначе?
- А если так, тогда... Скажи, ты можешь взять меня к себе?
- Нет.
- Почему? Нам же вместе так...
- Нет.
- Я буду исполнять любые твои желания...
- Нет.
- Я буду угадывать их раньше, чем ты сам осознаешь их...
- Нет.
- Но ведь мы так долго шли друг к другу, слишком долго. Невозможно оставить меня просто так – ты и сам понимаешь, правда? Ну, скажи, скажи – чего хочешь ты?
- Чтобы ты продолжала жить, как прежде. Со своей семьей, со своим мужем, в тепле и неге. Жила, умирала и снова – жила. Так же, как это было всегда, с начала времён.
- Тогда – какой же смысл?..
- Я хочу от тебя сына.
- Что? Что ты сказал?
- Ева, я хочу этого больше всего. Роди мне сына, как ты рожала всем остальным – всегда.
- Но – почему?
- Видишь ли, я знаю про тебя всё. Самой счастливой ты бывала всегда сразу после родов. И я хочу, чтобы ты испытала это счастье со мной. И чтобы оно оставалось с тобой – всегда.
- Нет. Теперь я говорю тебе – нет.
- Но – почему?
- Ты не знаешь людей. Быть твоим сыном – значит страдать. Они обязательно его погубят именно для того, чтобы обожествить – потом.

...Мы лежим в постели до первых лучей солнца. Я нежу её так, как умею только я.

Потому, что тысячелетия ожидания – до и вечность – после.

Та – которая свет. А ещё...

– Знаешь, что? Если, всё-таки, будет мальчик – назовём его...

СЫН БОЖИЙ

Ребёнок закричал. Не закричал даже, а ойкнул и открыл глаза.

– Ну, вот вам и мальчик – сказала акушерка. – Ишь, какой красавчик получился. Беленький – словно ангелок.

Она положила младенца матери на грудь и ободряюще кивнула. Потом повернулась к помощнице:

– Надо выйти, отцу сказать. Такой нервный папаша попался, из угла в угол ходит, остановиться не может. Волнуется. Так вы передайте, что и жена, и сын в полном порядке. Скоро увидит.

Малыш лежал у матери спокойно, видно присматривался. Та обняла его бережно, осторожно прижала к себе, измученно улыбнулась.

И умерла.

То есть, она не сразу умерла. Сначала была суматоха, кто-то закричал, что ей плохо, она не дышит. Младенца схватили быстрые, ловкие руки и положили в маленький домик на колесиках.



Прибежала команда оживителей.

Шок, адреналин, тромб.

Через двадцать минут суеты всё было кончено.

Позвали мужа. И кто сказал, что мужчины не плачут?

Адам заплакал.

Эву накрыли простыней и увезли.

И сын остался один на один с людьми...

ДМИТРИЙ АРТИС

МИМО ДОМА С КУПОЛАМИ

А если стихи без причины, без дат,
лишённые авторских прав, – победят?

А если туман, обнимающий пруд,
сочтёт своё счастье за каторжный труд?

А если с Европой, которая Рим,
провинцию в духе Твери сотворим?

А если случайно один материк
пристанет к другому на время впритык?

А если Земля обернётся Луной
и станет всего лишь планетой одной?

А если Вселенная, будто в игре,
забудется где-нибудь в чёрной дыре?

А если, а если... Покуда живой,
стихи мои вряд ли сравнятся со мной.

С миру по нитке – и будет стежок,
с миру по строчке – напишешь стишок,
с миру по теме и можно к поэме
самый широкий добавить штришок.

С женщины каждой – по ласке одной,
с каждой дороги – вернуться домой.
Как ни ругаюсь, всегда под ногами
крутится, вертится шарик земной.

С друга – монетку, а с недруга – две.
Все, как один, растворимся в траве.
В солнечном свете поднимется ветер,
будто несчастья в моей голове.



Пусть голосит распечатанный рот,
как на гулянке предвечный народ,
лишь бы, покамест со всеми ругаюсь,
шарик земной совершал оборот.

Пока не выпещрены ливнями
тропинки вдоль старинных дач
и комары скромнее линии
глухих электропередач,

пока не поздно и над безднами
открыт воздушный коридор,
и не такой уж страшной бездарью
слывёт по праву Купидон,

оставь свой Рим и в Домодедово
с утра пораньше приезжай
в корзину сердца разогретого
сбирать клубничный урожай.

Он умер в Мытищах с мечтой о пустом,
со стула скатившись под офисный стол.

Отныне за должность и крепкий оклад
не он потревожит начальственный зад.

Как мнимую вечность, покрытую сном,
коллеги под вечер забудут о нём.

Всплакнёт секретарша директора: «Вот
печалька», чуть раньше с работы уйдёт.

Ей вспомнится, знаешь, как еле живой
он звал её замуж во тьме кладовой.

Достанет мобилу, сотрёт номерок,
ему на могилу закажет венки.

Утро выдалось бескровное,
будет солнечно и ветрено.
Подлецы рядятся в клоунов,
улыбаются приветливо.



Перспективные, бесстыжие,
вечеринок завсегдагаи,
если коротко подстрижены,
значит, очень бородатые.

Если кое-как философы,
значит, где-то математики,
обработанные фосфором
на лице лоснятся вмятины.

Скоро выбегут на улицу,
как большие дети Ленина,
и сыграют в революцию
циркового представления.

Мимо дома с куполами
пробегаю налегке
то в ушанке, то в панаме,
то в дурацком колпаке.

Там сидит в укромной зале
днём и ночью, как живой,
карлик с жёлтыми глазами
и лохматой головой.

В этом здании под вечер
за дубовыми дверьми
деток маленьких увечат,
бьют отчаянно плетьюми.

Старики, как на вокзале,
спят за лавками в углу, –
тень умывшихся слезами
и подсевших на иглу, –

грудой спят они на груди.
Холоднее батареей
только высохшие груди
одиноких матерей.

Лишь один в укромной зале
днём и ночью – как живой,
карлик с жёлтыми глазами
и горячей головой.



Когда откажет совесть и голову сорвёт,
со всеми перессорясь, отправишься в полёт
среди чужих потёмок искать в себе изъян,
как истинный потомок летучих обезьян.
До лунного подола дотянешься крылом
и тут же валидолом закусишь корвалол.

За то, что тебя никогда не любил,
всего лишь испытывал жалость,
поставь мне оградку из тех же перил,
которых мы оба держались,

когда эту жизнь получалось предать,
и мы, не взирая на годы,
спускались в подземную тишь-благодать,
хранилище полной свободы.

За то, что с тобой никогда не грустил,
всего лишь испытывал скуку,
неси на мой холмик водичку в горсти
и лей эту блажь через руку,

крест-накрест, бесславная подать богам,
как будто бежал с поля брани.
Слова я когда-то учил по слогам,
три слога у слова «бывает».

За то, что, стыдись, не поверил тебе,
вернее, поверил, но поздно,
пусть сын мой играет на медной трубе,
когда я умру, хепши бёздей.

Когда в голове зашумит самолёт
и тут же начнётся обратный отсчёт,
что скажешь ещё, кроме: Вот она, вот.

Красивые ангелы в снежном вельвете
прижмутся к тебе аккуратно, как дети,
которые будят отца на рассвете.

С улыбкой припомнишь былую родню
и то, что пьянел по три раза на дню,
рыдая: Ни в чём я себя не виню.

Могучая кучка рассерженных женщин
злоеще исполнит симфонию трещин
и прочие, в общем-то, скучные вещи.



Бессмысленно, будто чужие, мелькнут
за долю секунды предсмертных минут
облупленный Гитис и Литинститут,

казармы отдельных частей желдорбата,
советская школа в период распада
и даже развалины детского сада.

Но всё это мелочь, смешной разворот,
когда бы не фраза, скривившая рот:
Ну, вот она, вот.

1.

Это счастье:
тьма в окошке,
ад с любимой в шалаше,
на душе скребутся кошки –
тошно кошкам на душе.

Это горе:
свет в окошке,
рай под боком у жены,
на душе пригrelись кошки,
спят и даже видят сны.

2.

С утра пораньше проснись и выпей,
придай надменность своей походке.
Тебе сегодня вручают вымпел
«Переходящий» за верность водке.

Поглубже пряча печаль и скуку,
держись достойно, как при параде:
сам участковый, сморкаясь в руку,
представит лично тебя к награде.

И всякий сможет расправить плечи,
когда с трибуны под залп орудий
ты прогнусавишь в ответной речи:
– Заслуга ж ваша... Спасибыч, люди!

3.

Синий-синий дым над лесом,
у реки всплакнули вербы:
будь ты плотник или слесарь,
без работы не сидел бы.



Облаков цыганский табор
голосит: червона рута,
будь ты каменщик, тогда бы
не остался без приюта.

Всюду слышен птичий говор,
дуб качнулся величаво:
будь ты хоть какой-то повар,
в животе бы не урчало,

будь ты пахарь настоящий,
рыл бы землю то и дело.
Скоро-скоро сложат в ящик
бестолковейшее тело,

и потом, как только полночь
озарится тихим светом,
ветер молвит: вот же сволочь,
умер истинным поэтом.

ЛАДА МИЛЛЕР

ЭТО ВСЁ ЕЩЁ РИМ

О НАЧАЛЕ

Оставшись, я уже не убегу.
Мы будем жить с тобой на берегу,
Делить еду и лёгкую работу,
Перебирать задумчиво песок,
Рожать детей, креститься на восток
И соблюдать, как водится, субботу.

В кувшине глина. В облаке вода.
Рука в руке... Прощать и обладать,
Чтоб не терять необходимый трепет,
Не в этом ли святая благодать?
(Когда в саду распустится беда,
Заголосим, но губы не разлепим).

Я не о том, любимый, не о том
(Уносит море тело, память, дом,
Знакомые до обморока лица)
Я о начале. Всё-таки уйду.
Остаться, это значит на беду,
Как и на счастье, взять и согласиться.

АВГУСТ НА ДВОИХ

Следы оцупают тропу,
В сухой траве завянет солнце,
Укроет бережно лопух
Ежа, рискуя уколотся.

И вдруг покажется – покой...
Такой, что господи и тише,
Что ты со мной, со мной, со мной,
Ну разве что за хлебом вышел.

Настанет вечер наг и тих,
И мы – испуганные дети –
Разделим август на двоих.
А впрочем, август будет – третьим.



ЭТО АВГУСТ И ВЕРБЕНА

Дождь расстёгивает небо, сыплет радость из ведра –
 Это август и вербена, и любовная хандра,
 Это голос, это тело, это нега и покой.
 Это всё – чего хотела.
 Не спеши. Побудь со мной.

Век ли, день ли? – всё едино, потому что повезло,
 Зря ли наша пуповина перехвачена узлом,
 Зря ли сумрачным и алым – изо всех заветных сил –
 Я тебя нарисовала.
 Ты меня одушевил.

Жизнь от края и до края – боль без шуток и прикрас –
 Дождь отплатит, отыграет, отыграется на нас.
 Август короток и сладок. Раз – и выпустил из рук...
 Радость скроена из радуг.
 Вдохновенье – из разлук.

СУББОТА. ХЛОПОТЫ

Суббота. Хлопоты. Поёт
 Крыльцо простуженно и грустно.
 Заиндевевшее бельё
 Хрустит, как свежая капуста.

Цветёт за окнами батист
 Струится шёлк, сияет хлопок.
 Вплетает ветер тонкий свист
 В шуршанье ёлочных иголок.

Огонь бормочет о своём –
 Печальном, нежном, дивном, дальнем.
 Снег пахнет небом. Ночь – углём.
 Ты – морем, августом, желаньем.

ТИХИЕ РАДОСТИ

Тихие радости наши – лишь отголоски дождей.
 Солнце из глиняной чаши льётся быстрее и вольней,
 Синее дно раскалилось, поберегись, пригубив.
 Где тебя, лето, носило? Я ли тебя не любил?
 Я ли тебя? Покажись-ка... плавится воздуха медь,
 Счастье так ярко и близко, что невозможно терпеть –
 Блещут в стремительной речке, словно монеты, лещи,
 Неугомонный кузнечик о повседневном трещит,
 Ягоды падают сами солнечной каплей с куста –
 Миска с облупленным краем наполовину пуста.



Счастье рождается трудно, чтобы рассыпаться в прах.
Есть только эти секунды – осы на нежных цветах –
Высосут, выжгут, задразнят...
Вздоргнешь и снова начнёшь
Ждать ослепительный праздник
Сквозь нескончаемый дождь.

СЕЗАНН

В размытых красках толка нет –
Сплошное крошево эмоций.
Весенний бред, неясный свет,
Но так пульсирует и бьётся,
Что подпеваешь. Вторь не вторь –
Теперь и ты заложник смуты,
А нерешительность и хворь
Испиты и сиюминутны.

Размякнешь от случайных слов,
И что-то ёкнет в сердцевине –
Так зарождается любовь
К непредсказуемости линий.

И вот – разруха и обман –
Весны разграбленная Троя.
А в облаках – Сезанн... Сезанн –
И обещание покоя.

СИДЕЛИ С БЛОКОМ

Сидели с Блоком, слушали чижа.
Кленовый дом смеялся и дрожал,
Слезились лужи облачным и синим,
Блок состоял из чёрно-белых линий,
Из бьющих в темя образов и слов,
В которых всё непрочно и любовь.

Твердила жизнь – теперь не до чижа –
С рожденья – плакать, с юности – рожать,
Потом – неважно. Жизнь толкала в спину,
Блок прятался в глухую сердцевину,
Туда, где под скорлупками души
Веселый чиж командовал – дыши!

Что оставалось? Слушаться и петь.
Чиж отворял межрёберную клеть,
Поглядывал нескучно и нестрого,
Выдумывал про маленького Бога,
В котором всё – добро и горячо.
Клал голову на детское плечо.



Окно текло, о небо бился лёд,
 Дождь замерзал в водопроводных жилах,
 Чиж убеждал, что выживем. Что живы.
 А тот, кто умер, больше не умрёт.

Вдруг захотелось выкормить, прижать,
 Рвануть окно, насыпать в небо крошек,
 Задуматься о тёплом и хорошем,
 Вернуться к Блоку. Выслушать чижа.

ДО НАШЕЙ ЭРЫ

Смотришь в слепое окно, понимаешь – влип
 В этот осенний сплин, в перехлёсты лип,
 В то, что несётся по небу от и до,
 И западаешь клавишей – нотой до.

До нашей эры деревья шагали врозь,
 Это сейчас у каждого в сердце гвоздь.
 Вот и сиди прикидывай, что больней?
 Сколько бы ни было осени – все о ней.

Сколько бы ни было истины – вся в вине.
 Вечер рисует тыквенного Моне.
 Пробкой размахивая, кланяется бутыль.
 Смотришь на дно, уговариваешь – остынь.

До нашей эры и после – не та, не тот.
 Что же внутри колоколит, глаголит, бьёт?
 Это прощается дерево день за днём
 С вырвавшимся гвоздём.

ЭТО ВСЁ ЕЩЁ РИМ

На балкон перевитый плющом
 Входит вечер. Под синим плащом
 Разгорается сердце заката.
 Это Рим. Это всё ещё Рим,
 Мы ещё о любви говорим,
 Но уже не светло – виновато.

Эти голуби, звёзды, птенцы,
 Эти камни из тёплой мацы –
 Отвернёшься – растают без звука.
 Что мне ад без тебя? Что мне рай?
 Сколько правильных книг ни читай –
 На последней странице – разлука.

Я не плачу, а небо – не в счёт,
 Разбегается твой самолёт,
 Расправляет затекшие плечи.
 Уберу паутинку с лица...
 Наша радость – без дна, без конца,
 Но платить – не по силам и нечем.



Это Рим, это всё ещё дом,
И балкон перевязан плющом
И ковёр на разбитых ступенях...
Я сижу у тебя на коленях,
Ты прижался к отчаянью лбом.

ЗА РЕКОЙ ЗА НЕБОМ

Вот низкое небо, а в небе – река,
В реке – опрокинутый лес.
Разлука безрука, разлука горька,
А выгонишь – холодно без.

То рюмка надежды, то капля вины,
(Вольнка, жалейка, гобой),
Продропшие ветки, озябшие сны,
Но там – за шершавой рекой,

За небом – где шёпот и шелест, и хмарь –
Так много и ласково нас,
Что ты открываешь меня, как букварь
В счастливый бесчисленный раз.

И буквы – как листья – летят и летят
На свет безмятежного «вдрут»,
И долгое счастье плетёт шелкопряда
Из наших горячих разлук.

КОГДА ЧЕЛОВЕК СМЕЁТСЯ

Очнёмся – темно и рано. Откроем на небе свет.
Поставим на стол стаканы, да силы на радость нет.
Когда человек... Непросто – решиться: теперь – пора.
Покатимся, как напёрстки, в шершавый пролом двора,
Из сумрачного «всё в прошлом» – в ошибку и кутерьму,
Где осень мешает ложкой распаренную хурму,
Где листья глотают ямы, где ветер летит в плаще,
Где дворник ещё не пьяный, а праздничный и вообще.

Когда человек смеётся... Ты знаешь, я даже рад,
Что всё холоднее солнце (зато беззаботней взгляд).
Из окон – то брань, то Шнитке, то юшка, то контрабас.
Оглянемся на пожитки, взлетим и ...помилуй нас!

ПОЭТ

Жизнь кладёт в тебя закладку, загибает уголок.
Чай вприкуску, сон впригляду, выше крыши потолок
Расписной. Твоё пространство ограничено весной,
Время – праздником и пьянством. Песня – кровью горловой.



Неба скомканная простынь. Проспиртованный закат.
Ты стоишь, травой исхлёстан от распятия до пят.
И летят святые звуки над синюшною водой.
Бог берёт тебя на руки и рыдает над тобой.

А вокруг пятном родимым соловеют Соловки.
И текут стихи на диво беззаботны и легки –
Из больничных коридоров, тёмных взглядов, жадных ртов
В безвоздушные просторы под названием любовь.

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА

ТО ЛИ БЫЛЬ, ТО ЛИ НЕБЫЛЬ

ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ

Где-то в ЖЖ, в тридевятом блоге,
Голосу разума вопреки,
Два человека делили Бога,
Два человека – теперь враги.

Кто не согласен – того за двери!
Логика вдребезги, совесть – в хлам.
Два человека делили веру,
Праведным гневом сжигая храм.

Где-то на кухне, где раньше пили,
В сладком бреду коротая дни,
Два человека страну делили –
Ту, где украдено всё до них.

Вроде бы, сами вражде не рады,
Но правдолюбие не пропьёшь...
Два человека делили правду,
Правда делилась на ложь – и ложь.

Это лишь кажется – где-то тише,
Под оглушительный звон монет
Делят имущество и детишек,
Делят границы, которых нет,

Делят, ни с кем не деясь, наживу,
Мир, задыхаясь, трещит по швам.
Ты затыкаешься – быть бы живу,
Задницей чую, что дело швах.

Делят кормушки, бюджеты, взятки,
Делят народ – на «своих», «чужих»...
Делят без усталости, без остатка
Шкуру твою – только знай, держись.

Мне математика эта чужда –
Страшно под знаком делёжки жить...
Как хоть на миг, но поверить в чудо –
Как бы хоть что-нибудь, но сложить?



БЫЛЬ

То ли быль, то ли небыль:
 На кровавой заре
 Солнце падало с неба –
 И тонуло в Днепре.

Солнце падало, чтобы
 Не взойти никогда.
 По горящим сугробам
 Шла хмельная орда.

Не для подвигов ратных,
 Не во имя добра:
 Поднимался на брата
 Зачарованный брат.

Кто-то скажет: негоже
 Суд над ближним вершить...
 Дай прозрения, Боже!
 Дай нам сил догрешить

И, как в давнее время,
 Смерть принять на миру,
 Чтобы новое племя
 На похмельном пиру

Помянуло бесславных,
 Не накликав беды.
 По себе мы оставим
 Только пустошь и дым.

Думал, мы – не такие?
 Честен будь – посмотри,
 Наш истерзанный Киев
 Против нас говорит.

Но покуда однажды
 Не иссякнет река,
 Царство Божие – в наших
 Неумелых руках.

ПАУТИНА

Неведомо куда, неведомо откуда
 Ты держишь путь во мгле, но где-то брезжит свет...
 Кто выбрал для себя не ждать от Бога чуда,
 А сделать первый шаг – тому возврата нет.

Ты всё познал сполна – неверие и веру,
 И радость без причин, и горечь без вины.
 Ни в горе, ни в любви – ни в чём не ведал меры,
 Переплавлял в слова, а слёзы – не видны.



Ты память хоронил под сердцем, как в конверте,
И было всё не так. И было всё не то...
Орущая толпа – тюрьма для интроверта,
Погоня за чужой несбывшейся мечтой...

Но, сбившийся с пути, нащупывал привычно
Тугую плоть земли – и продолжал идти.
Ты был вознаграждён, когда однажды вышел
На свет, и в тот же миг вдруг истину постиг:

Что множество путей под солнцем паутиной
Раскинулось – и ты давно в их сеть попал,
И счастья не найдёшь уже в судьбе рутинной,
Которая добра, но, кажется, слепя.

А, значит, снова в путь, наматывая петли
Давно минувших дней на дни, что сочтены –
И снова пренебречь советом и приветом
Того, кто отдал жизнь за славу и чины.

В дорогу ты возьмёшь всё то, что жалко бросить:
Любимые стихи, тепло любимых рук...
А есть ли в этом смысл – никто уже не спросит,
Пока не выйдет срок – и не замкнётся круг.

Тогда, как приговор, зачитывая строки
(Хоть не был наизусть заучен каждый стих),
Ты сам себе в глаза посмотришь без упрёка:
Я сделал всё, что мог. И... я могу идти?

УСПЕВАЕМОСТЬ

Памяти Н.

Ты успеешь проснуться в шесть.
Расчесаться. Почистить зубы.
Проклиная кошачью шерсть,
Вымыть пол. Съесть тарелку супа

С белым хлебом – невкусно, но
Так тебя приучила мама.
Ведь неважно уже давно,
Сколько набрано килограммов.

Ты успеешь закончить в срок
Свой проект. Отзвонишься боссу –
Будто сделала свой урок,
Провела выходные с пользой.

Выпьешь кофе. Зайдёшь в Фейсбук
И друзей пролистаешь блоги.
И успеешь подумать вслух,
Что знакомых – не так уж много.



Начитаешься новостей.
Нахватаешься негатива.
Восвояси пошлешь гостей,
Что внезапно пришли «на пиво».

Ты успеешь принять звонок,
Чтобы выслушать сто упрёков:
Мол, не замужем... Кот у ног
Прикорнёт – и польются строки,

Горько-кислые, как вино...
Ты отметишься в Инстаграмме
И успеешь открыть окно,
Прислониться к холодной раме,

Ощутить под собой карниз
И асфальт, что листвой усеян.
Ты успеешь закончить мысль...
Только главного – не успеешь.

ЗАНОЗА

Твоё жилище – пусто и убого.
Твой скуден стол. Ни друга, ни врага.
Но ты – поэт, заноза в пятке Бога,
И потому лишь баснями богат.

Казалось бы, никто ведь не неволит –
Строчил бы поздравления в стихах...
Твоя судьба – непаханое поле
В ромашках, лебедях и лопухах.

Твоя печаль – наивна и нелепа.
Не хочешь видеть правду – не дыши.
Хлестать «три топора» с прогорклым хлебом –
И грезить о спасении души?!

Последний жрец развенчанного культа,
Последний воин проклятой орды...
О чём теперь вздыхаешь – «Mea culpa...»?
Поэт без горя – рыба без воды.

И небо под ногами тонет в лужах,
И фонарей торжественный парад...
И никому-то ты, дружок, не нужен,
А стал бы нужен – был бы сам не рад.

Исчезнешь ты – никто и не заметит.
Ну, был – да сплыл. Поэты – сплошь козлы.
Сосед, чей путь и сердце – без отметин,
Тебя помянет словом – очень злым.



И будет день. И пища для страданий.
И будет ночь. И масло для огня.
Но Божий дар, тебе без спросу данный –
На хлеб насущный? Нет, не обменять...

Твой личный ад – толпа «на позитиве»,
Твой личный рай – последняя черта.
Едва ли ты бы смог уйти красиво,
А потому – иди ко всем чертям.

СЕТЬ

Инстаграм. Атака клонов.
То ли троллинг, то ли хайп.
Мир скатился по наклонной:
Хошь топись, не хошь – бухай.

Бог не слышит наших воплей –
Он, наверное, оглох.
Мы не спим. По доброй воле
В чьих-то блогах ловим блох.

Малодушные поступки –
«Кто не с нами, тех сольём»,
И вода толчётся в ступе,
И полощется бельё.

Отношения непрочны,
Развлечения – пусты.
Мы ничем не лучше прочих,
Заблудившихся в сети.

Не читает нас – хоть тресни –
Сетевой капризный люд.
Мы, поэты, интересны,
Только если нас убьют.

Жизнь по трубам утекает,
Будто кто-то бросил кран...
Хор ханжей: она – «такая»,
Он – «алкаш и хулиган».

Негодуют: вы – придурки,
Ваше место – вечный ад,
Тот женился по укурке,
Та – влюбилась невпопад,

Смысла нет бороться с сетью.
Память – треснула по шву.
...Раньше нас издохнут сплетни,
А стихи – переживут.



МУЧЕНИКАМ ИСКУССТВА

Твой аккаунт – китайский веер,
Прячет истинное лицо.
Жизнь поэта – сплошной конвейер.
Снисходительно и с ленцой

Критикуют беднягу мэтры –
То ли гении, то ли нет,
Чьей поэзии километры
Опоясали интернет.

Ты слова говоришь простые –
Кисло морщатся: графоман!
Стихотворная индустрия
Начинает сводить с ума.

Ты возделываешь, как грядки,
Забракованные стихи,
Твой порыв подчинён порядку,
Что далёк от живых стихий.

Каждый день – то какой-то конкурс,
То за рейтинг кровавый бой,
И всё тот же жестокий фокус
Ты проделываешь с собой:

Беспощадно ровняешь строки,
Засыпаешь со словарём,
Будто школьник, твердишь уроки...
...Мы себе беспробудно врём,

Полагая, что эти муки –
Восхождение на Олимп.
Если пишется не от скуки,
Поздравляю: ты крепко влип –

Не в историю, хоть хотелось,
А в заманчивое дерьмо.
Быть поэтом – дурное дело.
Ляг, поспи – и пройдёт само.

НИКА БАТХЕН

ЧИСТОЕ И НЕЧИСТОЕ

КАПЛЯ ЛЕТА

Августейшие напевы –
Мёд на пальцах и губах.
Босоножки-королевы,
Солнце справа, море слева,
Скачут яблоки – бабах!

Пахнет палым, пахнет прелым,
Хлебом, хлевом, холодком,
Поцелуем неумелым.
Детвора рисует мелом
Клетки-классики... По ком

Распустился колокольчик
У открытого окна?
Дни короче, ночи горче.
На змею напали корчи –
Шкура старая видна.

Поезда спешат в столицы,
Самолёты к северам.
Капля лета еле длится
И затягивает лица
Паутина между рам...

СКОРЛУПКА

Сны сентября и короче и проще.
Ангелы бродят в ореховой роще,
Ищут орехи в опавшей листве
И извлекают на свет.
Дуют в скорлупинки, преображая
Хрупкую горечь плодов урожая
В платье из золота, трон изо льда
Тронешь и видишь – вода.
Коль в сердцевине червяк притаится –
Станет Дюймовочка, девочка-птица.
Коль в сердцевине глухое тук-тук –
Выйдет орех Кракатук.



Счастье, богатство, балы и наряды
 Мощь кораблей, боевые снаряды –
 Схватишь орех, захрустит скорлупа –
 Вот твой подарок – оп-па!
 Маятник сдвинется, дверца качнётся,
 Самая лучшая сказка начнётся.
 Милые ангелы, будьте добры –
 Даром раздайте дары!
 ...Заполночь я добралась до вершины
 В роще сухую листву ворошила.
 Шарик за шариком, белок дразня –
 Где тут орех для меня?
 Полон монет или бабочек пёстрых,
 Песен, которые слышат на звёздах,
 Есть там чернила и чистый листок
 Или зелёный росток?
 Буйный табун или белая стая?
 Выбрала.
 Щёлк!
 А скорлупка – пустая.
 Ни червячка, ни пылинки внутри,
 Хоть до рассвета смотри.
 Карма, подрута, лингам и Гокарна.
 Значит, я жизнь проживаю бездарно,
 Даже скорлупкой не кану на дно,
 Даже чудес не дано.
 К богу орех! До свиданья, вершина!
 Сплюнула наземь и вниз поспешила –
 Время наладить дневные труды,
 Выпить холодной воды.
 ...Я поспешала, листвою шуршала
 Что-то чужое ужасно мешало.
 Резались зло, рвали кожу дотла
 Два неумелых крыла.

БЕСПАМЯТСТВО

я забываю здешний мир
 по крошке, по зерну.
 введут на бой, зовут на пир –
 а я тону, тону.

брожу по улицам чужим.
 потоками влеком.
 как будто спал. как будто жил.
 и тосковал – о ком?

кто заложил дверной проём,
 связал бечёвки троп?
 откуда в городе моём
 высотки и метро?



какого цвета на столе
душистый яркий фрукт?
зачем живут сто двадцать лет
и ежедневно врут?

куда по берегу отряд
ушёл – не удивить?
кому светильники горят
у десяти девиц?

отпрыгну серым воробьём
на прошлогодний снег...
я помню только – мы вдвоём.
ясней.
ясней.
я-с-ней.

ЧАЙ-ЧАЙ

Положу в необычайник звёздной пыли два зерна,
Снов весёлых и печальных. Пусть поднимется со дна
Муть, в которой заплутают все ненужные слова,
И останется простая сказка – только наливай.
Сладко пахнет придорожник, притомлённый кипятком.
Я принцесса, ты сапожник, башмаков своих заложник,
Нахватался смыслов ложных, не жалеешь ни о ком.
Дуракам Закон не писан – ветхий, новый, всё одно
На сто лет уснёт Алиса, раскрутив веретено,
Что случится то случится, принц родится к январю,
Унесёт его волчица прочь от жадин и воругов,
Славно вырастит в пещере, меж надёжных серых стен,
На врагов клыки опщерив... Буль – и чайник опустел.
У костра рассвет встречаю, грею воду на века.
Заварю необычаю – чуда в чашке два глотка.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

Диагноз – девочка с маяка.
Солёный вереск, черничный прикус.
Любовь, как водится, на века.
Но в швах на сердце два пальца припуск.

Такая должность – чудить, мечтать,
Косплеить чайку, чаёк бодяжить,
Читать Марину, вести счета,
Быть неумелой и робкой даже.

Краснеть от пальчиков до ушей,
Ругаться матом в текущей лодке.
В Большом театре бывать – в душе.
Скрести кастрюли, чинить колготки.



Носить зелёное. Косы – стричь.
 Ночами носом клевать у лампы.
 О мёртвых птицах рыдать. Постичь
 Печальный образ прекрасной дамы.

Писать мне чаще. Любить любой,
 Три цента счастья – уже удача.
 И оставаться самой собой
 На горизонте свечой маяча...

ЧИСТОЕ И НЕЧИСТОЕ

– Нарушает ли кошка молитву? – спросила я у пророка¹.
 – Нарушает ли, если бегаёт с белым пером в зубах?
 Если делает «бах», роняя святые книги?
 Если приносит мышку и ягоды земляники
 Топчет бесстыже, вишь на полу следы.
 Если глотнёт из чаши святой воды
 И удалится гордо – такая морда...
 Если убьёт крысу, что шла из порта,
 Бросит заразу в печку – гори, чума?
 Если придёт к постели и скажет «ма»
 Мало ли что снится тебе, пророку,
 Мало ли яблоч в райском саду потрогал,
 Мало ли тискал розовый стан Лилит,
 Мало ли почему сердце твоё болит –
 Ты просыпайся. В кухню идти так близко
 Вот холодильник и молоко и миска,
 Вот благодать по полу разлита.

Вот подоконник. Небо. Следы кота.
 Видишь на звёздах пёструю малолетку?
 Кошки такие здесь выживают редко –
 Слишком добры, слишком горят, любя
 Слышишь, – мурлычет. Молится за тебя.
 Кошка умеет тихо ходить сквозь стены,
 Перегрызать стебли дурных растений,
 Глядя в безмолвие ночи, читать хадис,
 Мудрый Аллах, создал меня – гордись!
 Петь о прекрасной розе с белого минарета,
 Греть в декабре спину и бок поэта,
 Будет весна, солнце и соловей.
 Чаша вина – пей ото всех скорбей.
 Кошкам известно Слово оно же Шем.
 Кошкам от этого ласково на душе.
 Если ты видишь – кошка летит, бела –
 Нужное имя Мау произнесла.
 Кошки пропахли пылью чужих дорог,
 Кошки – к бессилью смерти, пойми, пророк!
 Кошки умеют время Эдема длить...
 Может ли пёстрая мелочь мешать молить?!



Старый пророк молча открыл Коран
Верное средство против душевных ран.
Шёпот хадиса, правда песка ясна.
Кошки из тех, кто всегда окружает нас.
Жёлтый пергамент тонок, могуч и слаб...
Глянь – на арабской вязи печати лап.

¹ Понстине, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, однажды сказал: «Они не являются нечистыми и они из тех, кто всегда окружает вас». Ат-Тирмизи, 92; шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным в «Сахихат-Тирмизи».

ВАСИЛИЙ КИСИЛЬ

КАМЮ И ЖЕНЩИНЫ: СНОВИДЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

*Фрагмент из философского романа-эссе
«Паломничество в Лурмарен, или Каникулы Сизифа»*

Ночь в отеле «Сен-Луи» в Лурмарене прошла в полной тишине и спокойствии. Лурмарен отличается от других живописных городков Прованса именно тем, что способен создавать поистине «оглушающую» тишину.

- Что снилось? – набросился я на Веронику во время её утреннего визита в мой номер.
 - На этот раз ничего особенного. Вы слишком много внимания придаёте снам.
 - И небезосновательно. Сегодняшний сон меня просто ошеломил.
 - Ну, тогда расскажите о нём.
- Я начал рассказ.

Сновидение было, как театральное представление. Мне снился зал, чем-то напоминающий по своей форме миниатюрный античный амфитеатр. В нём проходило судебное заседание. Мне была отведена роль адвоката. В первом ряду полукругом на каменных скамьях сидели женщины, судьба которых на любовной почве была связана с Альбером Камю. Сам философ располагался в вольтеровском кресле спиной к женщинам. В полумраке сцены на простом деревянном стуле восседала Тереза Авильская.

– К моему стыду, я не знаю, кто такая Тереза Авильская, – перебила меня Вероника.

– Тереза Авильская – продолжил я своё повествование, – известная в католицизме испанская монахиня XVI века. С самого детства она отличалась глубокой набожностью. В возрасте 20 лет тайно сбежала из дому в католический монастырь и получила монашеское имя «Тереза Иисусова». Тереза учредила католический орден «босоногих кармелиток». Прославилась она тем, что вступала в «интимную» связь с Иисусом Христом. По этому поводу написала несколько мистических сочинений. В одном из них она вспоминала, как однажды ей приснился чудный сон – к ней прилетел очаровательный ангел во плоти и пронзил её чрево золотой стрелой, отчего она испытала «сладостную муку». Американский психолог У. Джемс по этому поводу заметил, что мистический опыт Святой Терезы, – не что иное, как «бесконечный любовный флирт между поклонником и его божеством».

Вначале католическая церковь очень настороженно восприняла откровения Терезы. Однако впоследствии, через сорок лет после кончины монахини, её возвели в лик святых и стали величать Святой Терезой. Этот сюжет вдохновил некоторых живописцев – был написан ряд картин на эту тему.

– Очень интересно, – похвально отозвалась Вероника о моём разъяснении, – продолжайте дальше рассказывать о своём сновидении.

Я возобновил рассказ.

Итак, шёл суд над Альбером Камю и женщинами, связанными с его судьбой. Тереза Авильская выступила в качестве обвинителя. Она заявила:

– Суть моего обвинения по отношению к женщинам состоит в том, что они любили Альбера Камю больше, чем я Христа, – это святотатство, в чём они должны покаяться; Альбер Камю виновен в богоборчестве и прелюбодейнии – это непростительный грех, и никакое покаяние не смоет его.

Облик судьбы был невидим. Его голос, обращенный к Терезе, словно гром прозвучал откуда-то свыше:



– А как Вы любили Христа?

Тереза, заёрзав на стуле, произнесла:

– Представьте себе человека, любящего так, что он не может ни минуты обойтись без любимого.

Но такая любовь слабее моей к Христу.

– Ваш ответ косвенный и расплывчатый, – заметил судья.

Хор «босоногих кармелиток» из-за спины Терезы Авильской истошно запел:

Надо меньше размышлять, а больше любить,

И тогда любви будет много-премного.

Судья обратился к женщинам:

– Скажите, все вы были влюблены в Камю?

На некоторое время в зале воцарилось молчание. Мой взгляд упал на женщин, сидевших в первом ряду, – их было двадцать одна:

Симона Ие, экстравагантно одетая, что-то напряжённо искала в своей дамской сумочке;

Бланш Бален наивно мигала глазами;

Мари Витон в своём блокноте карандашом рисовала портрет Камю;

Маргарита Добран застенчиво взирала на всё сквозь очки;

Жанна Сикар выглядела самоуверенно и холодно;

Кристина Галиндо восторженно сверкала глазами;

Ивонна Дюкелар восхищённо смотрела на Камю;

Луцетта Меурер смущённо улыбалась;

Лилиана Шукрун прижимала к груди конверт с письмом;

Франсина Фор в истерике заламывала руки;

Симона де Бовуар то краснела, то бледнела;

Ванда Козакевич отчаянно пыталась овладеть собой;

Жаклин Бернар периодически приподнимала вуаль, спонтанно ниспадающую на её лицо;

Мария Казарес шурила свои «копачьи глаза»;

Сюзанна Аньели сортировала какие-то письма;

Катрин Селлерс нервно тщила спрятать свои руки;

Патриция Блейк сидела с ровной спиной, вызывающе забросив одну длинную ногу на колени другой;

Мамен Паже старалась овладеть своим дыханием;

Бланш Кнопф красовалась своими ногтями, покрытыми зелёным лаком, и платьем оливково-зелёного цвета, увешанным драгоценностями;

Иверс Матте быстро набрасывала карандашом эскиз портрета Камю;

Элизабет Хоз то и дело мистически возводила глаза вверх.

Женщины обменялись взглядами и слаженно произнесли хором:

– Да-а-а!

Судья продолжил:

– А теперь я прошу всех вас поочередно рассказать о себе и своих взаимоотношениях с Камю.

Симона Ие прекратила поиск наркотика в своей сумочке и вскочила:

– Можно, я первой выскажусь на правах первой жены Камю?

– Не возражаю и даже желательно, чтобы и далее все выступали в «хронологическом» порядке. Надеюсь, каждая из вас знает своё место в этом «списке»? – ехидно заметил судья.

Симона Ие

Я родилась в Алжире в 1914 году в состоятельной семье. Моя мать была известным врачом-окулистом. До знакомства с Камю у меня была любовная связь с его другом. С Камю мы учились на одном курсе в Алжирском университете. По общему признанию, я была привлекательной и склонной к флирту, любила изысканно одеваться и обожала носить широкополые шляпы.

В 1934 году я вышла замуж за Камю. Ему исполнилось 20 лет, мне – 19. Я не была готова к семейной жизни, ибо даже не знала, что такое кастрюля. Да и вела себя подчас неподобающим образом: однажды я очень смутила зашедшего в наш дом друга Камю – моё нагое тело прикрывала только прозрачная вуальная накидка.

С 14 лет я начала принимать морфин из-за болей во время месячных и попала в наркотическую зависимость. Своим очарованием я пыталась воздействовать на молодых врачей, чтобы получать от них наркотики. Камю верил в то, что спасёт меня. Он действительно помогал мне, иногда небезуспешно.



Во время нашего путешествия по Европе, Камю случайно обнаружил письмо ко мне от моего доктора-любовника, который снабжал меня наркотиками.

По возвращении в Алжир мы разошлись и стали жить раздельно: Камю – у своего брата, я – у своих родителей. Тем не менее мой бывший муж продолжал поддерживать отношения с моей мамой.

Формально развод мы оформили в 1940 году – Камю женился на Франсине Фор, а я вышла замуж за доктора Леона Коттансо. Камю даже помог нам снять квартиру в Париже. В 1947 году полиция несколько раз арестовывала меня за употребление наркотиков.

Моя мать просила Камю помочь мне. Он ответил: «К сожалению, в этом деле сейчас я так же беспомощен, как и 17 лет тому назад».

Однако мой второй брак также распался. После пятилетнего лечения в Швейцарии, я собиралась вернуться во Францию. Камю обещал встретиться со мной и устроить на работу в издательство – это было накануне его гибели. С жизнью я распрощалась в 1970 году.

Бланш Бален

Я родилась в 1913 году во Франции. Училась в Алжирском университете на юридическом отделении. Я впервые увидела Камю на репетиции его пьесы. Он был худым и выглядел бледно. Камю предложил мне попробовать выступить в качестве актрисы. Я согласилась играть роль «очаровательной Терезы с её женской наивностью». Это было в Алжире в 1937 году. Мы познакомились ближе, и на некоторое время я стала его возлюбленной. Все считали, что я была первой возлюбленной Камю, которая писала стихи, к тому же я была привлекательна. Он увлечённо читал мои произведения.

Тогда Камю был душевно травмирован разводом с Симоной Ие. Он всегда был искренен со мной. Что касалось любви, он говорил мне, что её не существует. Мы совершали длительные прогулки по холмам в окрестностях Алжира. Он был беден, но дарил мне цветы. Моих родителей тревожило моё увлечение.

С 1937 года я поддерживала с Камю переписку. Он написал мне 89 писем. Его письма были очень нежными. С его помощью я опубликовала книгу своих стихотворений, предисловие к которой написал он. Его роман «Посторонний» я подвергла критике за жестокость.

Перед его отъездом в Париж, он предложил мне место своего секретаря, но я отказалась. Живя в Ницце, я однажды его навестила в Кабри, возле Граса, где он проходил лечение от туберкулёза. Там я нашла его печальным, хотя за время лечения он набрал вес и восстановил сон. В 1943 году я встречалась с Камю во французском городке Анейрон и позже – в Валансе и Сент-Этьене. После встречи со мной в Сент-Этьене он записал в своём дневнике загадочную фразу: «Никто не осознает, что некоторые люди совершают геркулесовы усилия только для того, чтобы быть нормальными».

За всю свою жизнь я написала и издала семь книг. До сих пор я считаю, что любовные отношения с Камю были единственным значимым событием в моей жизни. Умерла я в 2003 году в Ницце.

Мари Витон (Маргарита Кошлен)

Родилась я в 1893 году в Виллер-сюр-Мер во Франции. Моё настоящее имя Маргарита Кошлен – Мари Виттон псевдоним.

Два раза была замужем: первый раз вышла замуж в 1911 году, второй брак был заключен в 1921 году с сыном Поля Д'Эстурнеля – лауреата Нобелевской премии мира за 1909 год.

Работала художником, иллюстратором, театральным костюмером, переводчиком англоязычной литературы.

У меня было необычное хобби: я любила летать на самолётах в качестве пилота. Продолжала летать даже после того, как моя дочь погибла в авиакатастрофе. Кроме того, я была уважаемым членом «Высшего общества протестантов», а в 1936 году получила официальный титул «Художник авиации».

Во второй половине 1930-х годов я украсила фресками многие здания Алжира. Камю пригласил меня для оформления декораций в его театре «Экип», а также в качестве костюмера.

Наше сотрудничество продолжилось в Париже – я оформляла костюмы для пьесы «Калигула», постановка которой состоялась в сентябре 1945 года.

Как писал о мне Ч. Понсе, я принадлежала к крупной буржуазии и отличалась «аристократической внешностью, подчеркнутой мужской строгостью». Я была старше Камю на 20 лет, тем не менее, мы прониклись взаимной симпатией, и между нами возникла романтическая привязанность, которая, по идее, не могла существовать в условиях юного окружения Камю. Интрига состояла в том, что Камю был неравнодушен ко мне, а я была покорена его талантом. Я с увлечением занималась художественным оформлением



его театральных постановок. В тот день, когда Камю вызвали в суд по поводу запрета цензурой его пьесы «Восстание в Астурии», он вместе со мной впервые летал на самолете.

Вскоре мы совершили с ним полёт в Джемилла, где посетили руины построек времён римского императора Траяна. Это путешествие легло в основу его эссе «Ветер в Джемилла»: «Мы долго бродили среди этого пустынного великолепия. Ветер, который в полдень едва чувствовался, мало-помалу окреп и, казалось, наполнил собой весь пейзаж. ...И никогда ещё до этого я не испытывал такого чувства отрешённости от себя самого и в то же время своего присутствия в мире».

В подготовительных материалах к рукописи своего романа «Первый человек» Камю упомянул моё имя в таком контексте: «В молодости я требовал от людей больше, чем они могли дать: вечной дружбы, неизменных чувств. Теперь я научился требовать от них меньше, чем они могут дать: просто товарищества, без фраз. А их чувства, дружба, благородные поступки сохраняют в моих глазах всю ценность чуда: чистый дар благодати. Мари Витон: самолёт».

До конца своих дней я интересовалась судьбой Камю.

Умерла я в Париже в 1954 году.

Маргарита Добрен и Жанна Сикар

Маргарита Добрен. Я родилась в Оране в 1914 году в состоятельной семье: мой отец был хирургом-дантистом. Я носила очки и была застенчивой. Этот «шарм застенчивости» нравился Камю. Училась в Алжирском университете на отделении древней истории и была сокурсницей Камю. На протяжении многих лет мы вели переписку. Будучи расстроенным из-за неверности жены, обнаружившейся во время путешествия по Европе, он писал мне: «Я много не думаю о чувствах верности и простоты, с которыми вы писали мне всё это лето. Но давайте нарисуем занавески (от солнца, как сказал бы д'Аннунцио)». По прошествии многих лет, в 1958 году, он напомнил мне о наших весёлых днях: «Я изменил свою причёску, вернув ей тот вид, какой она была в счастливые алжирские годы, – она меня омолодила, по крайней мере, моё сердце».

Жанна Сикар. Я родилась в Оране в 1913 году в богатой семье крупных плантаторов. Была брюнеткой с серо-голубыми глазами, простой, лёгкой и внешне холодной. Меня упрекали в самоуверенности и высокомерии. Училась в Алжирском университете на филологическом отделении. Камю дал мне прозвище «Горько-сладкая». Я была соавтором его пьесы «Восстание в Астурии». Мы никак не могли придумать название пьесе и много дискутировали по этому поводу. В этой пьесе я играла роль «той, кто не боится стать старой и уродливой – это портрет владелицы кафе с удивительной демонстрацией правды и человеческого характера». С Камю мы вели переписку. В одном из писем в 1936 году он писал мне: «Я, лишённый каких-либо мыслей, созерцаю, как идут дни, – и через десять лет я назову это счастьем». Когда я уехала в Париж, он написал мне: «Твоя жизнь здесь больше не является познавательным опытом, и иногда место может лишиться нас свободы. Мы принадлежим к группе, которая нехороша, даже если она дружественна».

Смерть настигла меня в автомобильной аварии в 1962 году.

Обе дуэтм. Мы были неразлучными подругами и играли в театральной труппе Камю. Камю влюбился в нас, но поскольку у него не было намерений играть роль соблазнителя, то он находил удовольствие в «сладких и умеренных формах дружбы с женщинами». Мы обожали его. Для Камю было обычным делом иметь несколько подруг одновременно – большинство из них понимало, что он не заинтересован в браке и ведении домашнего хозяйства. Они всё знали друг о друге, и многие из них были друзьями. Иногда одна знакомила его с другой или они обговаривали даже такие подробности: вступать с ним в интимные отношения или избегать их. Дошло до того, что одну юную актрису постоянно сопровождал на репетиции её отец, зная о любвиобилии Камю.

Мы также попали в его объятия без какого-либо усилия с его стороны. Вместе с Камю мы арендовали часть дома в Алжире. Наше «общегитие» мы прозвали «Дом Перед Миром». У нас даже были планы купить совместную ферму с «кипарисовыми деревьями» в Алжире или во французском Провансе и назвать её «Ферма Другого Дня». Часто мы проводили время совместно с Камю в кемпингах. Наш кумир, как всегда, был в своём ампула: «Вечером в лагере тебе, Жанна, я буду говорить о бессмертии души, а Маргарите скажу просто и тихо: “Что там с сосисками?”. Это то, что я называю счастьем». Нас прозвали «телохранителями» Камю. Позже к нам присоединилась Кристина Галиндо, родом из Орана. Постепенно, в течение 1936–1939 годов, наш театральный кружок превратился в настоящий театр.

Мы сопровождали Камю во время его путешествия в Италию, посещали его в Амбрёне в Альпах, где он был на лечении.

Кристина Галиндо

Я познакомилась с Камю в январе 1937 года. По общему признанию, меня считали «красивой брюнеткой». Он помог мне устроиться на работу секретарём в компании «Рено». Я помогала Камю печатать его рукописи, заменила ему ушедшую Симону и стала его возлюбленной. С Камю мы много времени проводили среди руин Типаса. В эссе «Возвращение в Типаса» он вспоминал: «Растерянный бродил я по пустынным мокрым полям, пытаюсь хотя бы обрести в себе ту силу, до сих пор никогда мне не изменявшую, которая помогала мне принимать жизнь такой, как она есть, раз уж я понял, что не могу ничего изменить. ... Я снова нашёл здесь древнюю красоту и юное небо и оценил, как мне повезло, когда понял наконец, что в худшие годы нашего безумия память об этом небе никогда не покидала меня. Это оно в конечном счёте спасло меня от отчаяния. ... А между тем все эти годы я смутно ощущал, что мне чего-то недостаёт. Если вам посчастливилось однажды испытать сильную любовь, всю свою жизнь вы будете снова и снова искать этот жар и свет». Как я была благодарна ему за эти строки!

Я была открытой и здоровой, любила загорать обнажённой. Камю дал мне прозвище «Ла Тер» (земля) из-за моей высокой осязательной чувствительности. Моя красота и великодушные задевали за живое друзей Камю. Он любил вести со мной разговоры на философские темы. В июле 1939 года Камю писал мне: «Я боюсь снова встречаться с Франсиной. Я хочу её видеть, но не хочу в любом случае возвращаться вместе с ней, так как у меня есть дела поважнее. Может быть, это к лучшему – позволить всему умереть. Что касается моей работы, то я нуждаюсь в свободе ума, в свободе периодически».

Я получила в Париже филологическое образование в лицее Фенелон и стала преподавателем в Высшей женской школе в Оране.

Ивонна Дюкелар

Познакомилась я с Камю во время работы в газете «Альже Републикен» в октябре 1939 года. Я восхищалась его природным совершенством, добротой и дружелюбием, его ироничностью, подчас граничившую с цинизмом, и его глазами, в которых при разговоре «расцветала душа». Он называл меня «таитянской» из-за того, что я любила носить парео.

Я принимала участие в работе театра «Экип», который создал Камю. Он часто обсуждал со мной русских философов, идеи которых были связаны с его пьесами. Однажды предложил почитать философа Льва Шестова. Как-то он признался мне: «Я буду журналистом и умру молодым». Я окончила аспирантуру Алжирского университета в 1939 году и заменяла преподавателя философии в женском лицее.

Камю писал мне письма (42 письма). В марте 1940 года он сообщал: «Всё, что случилось, не мешает новому и юному чувству во мне, когда бы я ни думал о тебе. Может быть, если мы подождём немного, то сможем иметь больше времени, чтобы разделить его друг с другом и жить лучше. Я сам хочу этого и желаю. Я больше не хочу знать, что было со мной в Алжире. Но я выражаю признательность той жизни, которую я делал с тобой. ... Достаточно сказать, что я счастлив, когда чувствую твоё присутствие в своей жизни, и добавляю, что чувствую себя уверенно и расслаблено с тобой».

Когда Камю вернулся из Франции в Оран, он часто навещал меня в Алжире, и наша любовь эпизодически вспыхивала новым пламенем. Он обходил стороной вопрос о предстоящем браке с Франсиной и говорил мне: «Когда все эти грязные облака пройдут, я думаю, что увижу тебя более ясно. ... Я хочу, чтобы ты доверяла мне и хочу тебя прижать к себе».

Он колебался между мной и Франсиной. Ожидая писем от неё, он писал мне: «Я не говорю, что тебя люблю... Я хочу так много целовать тебя и вместе с тем отвернуться». Видимо, глубоко он не любил ни меня, ни Франсину.

Когда же он окончательно решил отдать предпочтение Франсине, он написал мне: «Прощай, моя маленькая девочка. Кажется, всё это очень далеко, и я не чувствовал безнадежности годами – это моя ошибка. Я хочу, я действительно хочу, чтобы ты не отвечала на это письмо. Только постарайся не забыть меня».

Уже будучи женатым на Франсине, он писал мне: «Я задыхаюсь здесь. Я несчастен, и я решил уехать. Мне ничто не мило, я никого не люблю, и в конечном счете я сказал об этом Франсине». Как раз в это время в Оране он заканчивал работу над «Мифом о Сизифе».

Но он снова напомнил о себе: «Это не будет абсурдным для тебя писать мне, никогда не будет абсурдным приходить ко мне, звонить мне, прикасаться своим лицом ко мне... Конечно, я никогда не просил тебя ждать меня... Я не вижу ни одной определённой эмоции, исходящей от тебя». Он настаивал на встречах: «Это всё, что я предлагаю тебе, так как сегодня это всё, чем я владею... Я знаю это, даже против моей собственной воли».



Однажды мы провели с Камю неделю в кемпинге. Семья Франсины выразила недовольство по этому поводу. Тогда Камю был вынужден написать мне: «Я больше тебя не увижу... Извини меня за всё, что было абсурдного во всём этом. Я несчастен и люблю тебя, но даже это тщетно».

Камю отвёл мне женский образ в романе «Посторонний».

Луцетта Меурер

По характеру я была застенчивой, скрытной и замкнутой. Училась на отделении фармакологии в Алжирском университете и частично играла в театрах. Познакомившись с Камю, я стала его возлюбленной. Я играла роль служанки в его пьесе «Братья Карамазовы».

Камю вёл со мной разговоры о литературном творчестве и политике. Он признавался, что никак не мог понять, насколько серьёзными были мои чувства к нему. Сам же писал, что испытывал ко мне «нежность, желание и много дружественных и товарищеских чувств». Со мной он часто говорил о Франсине Фор.

Однажды, прочитав «Господина» Сартра, он написал мне: «Когда пишут роман, то философию вкладывают в образы. Но в «Господине» философия и образы разделены, они стоят рядом. Это тревожит меня, поскольку я согласен с философией, и мне больно видеть, как она теряется по мере чтения».

Для своего романа «Чума» он просил меня взять в университетской библиотеке медицинские книги о чуме.

Даже после установления близких отношений с Франсиной, Камю продолжал встречаться со мной. Наша переписка составила 45 писем.

Лиана Шукрун

Родилась я в 1911 году в еврейской семье. С Камю знакома с университетской скамьи: мы учились на одном отделении. Моя дружба с ним была честной, искренней. Камю обладал особой аурой среди узкого круга интеллектуалов Алжира в 1930-е годы. Этот «авангардный» круг, в который входила и я, был лишён каких-либо предрассудков: моральных, социальных, политических, религиозных, этнических.

Я всегда была рядом с ним, поддерживая все его литературные, театральные и политические начинания. Была в курсе даже его интимных дел. Именно я познакомила Камю с его будущей женой Франсиной. Я стала прообразом Элианы в «Счастливой смерти» Камю.

Камю всегда помогал мне. Он оказал мне моральную поддержку, когда в 1940 году меня лишили преподавательской работы в коллеже и французского гражданства из-за расистских законов вишистского правительства. Снова с ним я встретилась в Париже только в 1945 году.

Влюбившись в одного мужчину католического вероисповедания, я поступила на армейскую службу, чтобы быть рядом с ним. Камю назвал мой поступок «чистым безумием».

Мы вели переписку с Камю с 1936 по 1952 год. Его письма были содержательными: в них речь шла о его философских идеях, путях преодоления абсурда любовью и бунтарством. В октябре 1937 года он писал мне: «Я думал, что можно до некоторой степени управлять своей жизнью. Теперь же я больше не уверен во всей этой бессмыслице... Мы все же имеем право выбрать какой-нибудь вид самоубийства... Если я не могу выразить то, что ношу в себе, это – полный абсурд со всеми его последствиями в моей экстремальной ситуации».

Моя платоническая любовь к Камю проявлялась даже в такой курьёзной привычке: я всегда носила с собой письма Камю ко мне в специальной сумочке. К ним я относилась почти с религиозным чувством. После моей кончины 32 письма были проданы в 2014 году моим сыном на аукционе Сотби за 91500 евро.

Франсина Камю (Фор)

Я родилась в уважаемой семье в Оране в 1914 году. Моя бабушка, Клара Тюбюль, была берберийской еврейкой, тем не менее в Оране наша семья не считалась еврейской. Мой отец, как и отец Камю, погиб при битве на Марне.

Я считала себя некрасивой, но, в отличие от своей сестры, ничего не предпринимала для улучшения своего внешнего вида. Я не чуждалась ухаживания, но была очень застенчивой.

В 1937 году я познакомилась с Камю на занятиях в Алжирском университете, куда меня затащила подруга. Я стала с ним встречаться. Родители не одобрили мой выбор, но в ответ им я сказала: хотя он не имеет приличной работы, болен туберкулёзом, зато обладает великим чувством свободы. Камю соблазнил меня в Алжире в 1939 году и честно сказал мне, что если поженимся, то не может обещать мне верности. Выбирая меня, он хотел разрушить прошлое – он сжёг все свои прежние письма. Он говорил



мне, что знает, что значит страдать от любви, но не знает, что такое любовь. 3 декабря 1940 года в Лионе мы заключили брак.

Камю отмечал мой «вкус к абсолюту» и одобрял моё увлечение диалогами Платона. Я получила образование в Алжире и стала преподавателем математики. Кроме того, я играла на пианино и специализировалась по музыке Баха.

Однажды Камю сказал мне: «Ты – моя сестра. Ты похожа на меня, но женитьба на своей сестре – нон-сенс». Конечно, меня угнетала его супружеская неверность. Дома я часами играла Баха, что раздражало Камю. В быту я была очень несобранной. Часто случались приступы паники.

С лета 1953 года я стала страдать депрессией, которая чуть не довела меня до самоубийства: в больнице, где меня лечили инсулином и электрошоком, я выбросилась из балкона, но отделалась только переломами костей. Говорят, что в бреду я постоянно повторяла имя Марии Казарес. Депрессивное состояние длилось четыре года, которое временами то улучшалось, то ухудшалось.

Возможно, о мне он записал в дневнике: «В тот момент, когда я видел на её лице выражение боли, я подчинялся её воле. Я чувствовал себя легко только тогда, когда она была довольна мной». Моя мать как-то заметила, что Камю не был счастливее меня.

Камю признавался моей кузине, что он был тронут моим великодушием, и что он никогда не переставал меня любить, хотя эта любовь оставляла желать лучшего.

Я простила его. Умерла я в 1979 году и похоронена рядом с Камю на кладбище в Лурмарене.

Симона де Бовуар

Родилась я в 1908 году в состоятельной семье, которая впоследствии обеднела. Школьное образование получила под наставничеством монахинь. Однако в религии разочаровалась и решила стать знаменитым писателем. Окончила Парижский университет по литературе и Сорбонну по философии.

Я жила с Сартром в гражданском браке, который предусматривал открытые отношения, не препятствующие любовным связям на стороне. Иногда я даже писала ему в подробностях, как проводила ночи с любовниками.

Я работала всю жизнь в поте лица своего, недаром Сартр прозвал меня «Бобёр». Он считал, что я была единственной из его окружения, кто обладал знаниями, равными ему.

С Камю я впервые встретилась в парижском «Кафе де Флор» в присутствии Сартра, который предложил Камю поставить на сцене его пьесу «Нет выхода». С этого времени наши встречи с Камю стали частыми. Меня привлекала его молодость, независимость, простота, веселость и хорошее чувство юмора.

В его характере проявлялись как черты энтузиазма, так и беззаботности, что предохраняло его от вульгарности. Несколько смущал его скептицизм, граничивший с цинизмом, тем не менее его шарм покорял меня. Я испытывала любовь к нему, но не встречала ответного чувства. Да и моё чувство было двойственным. «Мне нравился “неуёмный жар”, с каким он отдавался жизни и удовольствиям, нравилась его величайшая любезность», о чём я упоминала в своих записях.

В своих автобиографических очерках я отметила, что Камю «не любил ни колебаний, ни риска, которые предполагает политическая мысль; ему требовалась уверенность в своих идеях, чтобы быть уверенным в себе. На противоречивую ситуацию он реагировал, отстраняясь от неё, а усилия Сартра принорочиться к ней выводили его из себя. Экзистенциализм его раздражал... Между его жизнью и творчеством была пропасть, более глубокая, чем у других».

Во второй половине 1945 года я, Сартр, Камю, Кёстлер и его подруга Мамен Паже часто проводили время вместе. Имея виды на Камю, я намеревалась его соблазнить. На какое-то время я стала его наперсницей – мы встречались, и подчас наши разговоры шли даже ночами напролёт. Камю делился своими проблемами, но, несмотря на мой призывный взгляд, он не поддался мне. Он отдал предпочтение Мамен, я же провела интимную ночь с Кёстлером.

Камю высмеял мои лесбиянские увлечения, однажды заявив, что я превратила французских мужчин в объект презрения и насмешек. Он упрекал меня также и в том, что я грешила против «французской ясности мысли». Как это ни покажется странным, но с Камю мы никогда не говорили о своих книгах.

Он сделал достоянием гласности одну нашу встречу: «Она (Симона де Бовуар. – В.К.) не могла выдержать дружбы между Сартром и мной. Знаете, мы втроём обедали в определённый день недели на протяжении многих лет... Однажды она вошла в мой кабинет и сказала, что у неё есть подруга, которая хотела бы переспать со мной, но я ответил, что в таких делах я привык делать выбор самостоятельно. Это было для неё унижением, которое такие женщины никогда не забывают».



Я писала философские романы, иллюстрировавшие идеи философии экзистенциализма, – человек есть свободное существо, но вместе с тем он сам, и никто другой, должен нести ответственность за свои поступки.

Моя шумевшая книга «Второй пол» оказала влияние на феминистское движение и была внесена Ватиканом в «Индекс запрещённых книг». Основная идея книги: «Женщиной не рождаются, а становятся».

Узнав о гибели Камю, я ощутила, как моё горло пересохло, рот стал дрожать, но плакать не могла, – хотя тогда Камю уже не занимал меня. Я всю ночь не спала, а утром сказала себе: «Этого утра он уже не видит».

Умерла я в 1986 году.

Ванда Козакевич

Родилась я в Киеве в 1917 году. В Париже мы с сестрой Ольгой оказались в 1937 году. Я посещала лекции по философии у так называемой жены Сартра – Симоны де Бовуар. Сартр был опытным любовником: вначале соблазнил мою сестру Ольгу, а затем лишил девственности и меня. Так мы пополнили состав его «гарема», которым «управляла» Симона де Бовуар. Сартр издевательски подчеркивал, что у меня, – «умственные способности стрекозы». Но когда я заболела, он даже изъявил желание жениться на мне. Правда, потом Симона де Бовуар уточнила: «Да, но чисто символически».

Сартр отвёл мне роль в его пьесе «Мухи». По общему признанию, я хорошо играла. И вот тогда в моей жизни появился Камю. В начале 1944 года Сартр предложил Камю поставить его пьесу «Нет выхода» и пригласил его для чтения текста в гостиничном номере Симоны де Бовуар. Позже позвали меня как возможную актрису на одну из ролей. Камю пригласил меня на танец в присутствии Сартра. По сути, Сартр стал невольным сводником, сказав при этом, что хорошо бы заняться сексом, если не учитывать, что мы с Камю мертвецы. Но мы оказались живыми людьми, и между нами проскочила искорка любви. Сартр опрометчиво оставил нас вместе с Камю в одной комнате. Потом он возмущался, что я увлеклась Камю, но не порвал со мной связь, и ему удалось погасить моё увлечение. Я продолжала играть роли в его пьесах, а наши отношения с Камю прервались. Возможно, именно наш мимолётный роман имел в виду Камю, когда витиевато писал: «Необходимо влюбиться – лучше предоставить алиби для всего того отчаяния, которое мы собираемся прочувствовать».

Сартр как-то признался, что его дружба с Камю была разрушена не только по причине идеологических разногласий, но и в связи с моей любовью к Камю. Сартр посвятил мне свою книгу «Дороги свободы».

Умерла я в 1989 году.

Жаклин Бернар

Родилась я в Париже в том же году, что и Камю. Окончила юридический факультет Парижского университета и Свободную школу политических наук, но посвятила себя журналистике.

Во время войны я стала координатором движения «Комба».

Мои друзья устроили мне подпольную встречу с Альбером Камю. С ним меня познакомил Паскаль Пиа. Явившийся перед моим взором бледно выглядывший молодой человек представился Бушаром. Он согласился писать статьи для газеты. Позже я узнала, что это был Камю. Он сказал, что мог бы быть полезен нашему движению. Так началось наше совместное сотрудничество по изданию газеты «Комба». Однажды пакет с подпольной газетой по ошибке был доставлен не по адресу. Человек, который её получил, испугался и доложил в полицию. По этому поводу Камю сказал мне: «Видите, сейчас опаснее не быть в “Комба”, чем быть».

В июле 1944 года я была арестована гестаповцами в кафе на бульваре Сен-Жермен в Париже. Через несколько часов должна была состояться моя тайная встреча с Камю. Мне удалось предупредить его о моём аресте с помощью особой системы знаков, и таким образом он остался на свободе. Я была отправлена в концлагерь Ревенсбрюк в Германии. В июне 1945 года была освобождена.

Вернувшись в Париж, я стала генеральным секретарём и членом редколлегии газеты «Комба», где продолжила сотрудничество с Альбером Камю.

Я обожала Камю. Поддав под его чары, я не могла представить, что он может грубо обойтись со мной. Наши отношения всегда были покрыты завесой тайны, такими они и останутся навеки.

В 1948 году оставила работу в газете в связи с изменением редакционного совета. С тех пор работала независимым журналистом.

Накануне получения Камю Нобелевской премии я собрала у себя дома всех старых друзей, работавших в газете «Комба», – перед нами Камю произнёс импровизированную речь, которую он должен был зачитать в Стокгольме.



С 1963 по 1969 год читала лекции в США о творчестве Камю и Мальро.
Мои архивы хранятся в Институте Пастера в Париже.
Умерла я в 1998 году.

Мария Казарес

Родилась я в 1922 году в Испании. Мой отец был премьер-министром в Испанской республике. В связи с приходом к власти Франко, он был вынужден эмигрировать с семьей во Францию в 1936 году. Мне было тогда 14 лет.

Моё знакомство с Камю произошло в 1944 году. Я приняла участие в качестве актрисы в его пьесе «Недоразумение». Сартр хвастался перед Камю, что он имел роман со мной. Камю привёз меня на вечер, устроенный Сартром и Симоной де Бовуар, которая обратила внимание Камю на мою красоту и уверенность в своих силах. Мне шёл 21 год, Камю был на 9 лет старше. Он очаровывал неповторимой улыбкой и любил во всём порядок. В свою очередь он называл меня «уникальной». Его покорило «моё платье с фиолетовыми полосками, чёрные волосы и довольно резкий смех». В июне этого года мы стали любовниками. Однажды я и Камю попали в облаву. У него были материалы для подпольной газеты «Комба» – мы чудом избежали ареста.

Его жена Франсина жила тогда в Оране и не могла въехать в оккупированную немцами Францию, так как в её роду были евреи по линии бабушки. Она приехала в Париж только в октябре 1944 года. Я дала Камю неделю на размышление: «Или я, или она». Он оказался между любовью и долгом. Победил долг. На этом моя идиллия с Камю закончилась.

В июне 1948 года мы снова встретились случайно на бульваре Сен-Жермен. Камю сказал мне: «Эта несчастная любовь – это не то, что ты заслуживаешь..., но я обрёл с тобой жизненную силу, которую, думал, что потерял». Я размышляла: «Зачем судьба однажды свела нас? Зачем нам суждено снова быть вместе?». Моя гордость снилась, и любовь вернулась. Я оставила своего возлюбленного Ж. Блайни.

Театр для меня был «волшебным огнём». Камю ревновал меня к моей профессии: «Ты должна работать и думать обо мне во время работы». Когда он был рядом со мной, то чувствовал себя расслабленно и часто смеялся. На мой вопрос, почему он смеется, отвечал: «От полного удовольствия».

С появлением в театре Катрин Селлерс наши отношения с Камю стали портиться. Вместо меня он дал ей роль в пьесе «Реквием по монахине». Я молчаливо снесла это унижение.

В пьесах Камю, поставленных им, я играла роли Виктории в «Осадном положении», Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Марты в «Недоразумении», Доры в «Праведных».

После получения Камю Нобелевской премии наши отношения не заладились – наши страсти то вспыхивали, то погасали. В одном из писем он писал мне: «Мы связаны священными узами земли, умом, сердцем и плотью – я знаю – ничто не удивит и не разделит нас». Я сделала ему необычное предложение: «Давай уедем в Мексику и будем там жить вместе». Камю воспринял мою идею настороженно и ничего не ответил.

Разделяя дух Камю, я говорила себе: «В Испании мы знаем, что умрём и не скрываем этого. Дон-Жуан – трагический персонаж. ... Жизнь становится более ценной, потому что есть смерть». Камю несколько иначе смотрел на эту проблему: если для меня смерть – это жизнь, то для него даже смерть невинного ребёнка – величайшая несправедливость.

Он как-то сказал мне: «Наше счастье было отравлено гордостью».

С Камю я длительное время поддерживала переписку. Я нуждалась в его письмах, чтобы жить. Бывало, что он писал мне по два письма в день, в которых часто называл меня «чёрной розой».

В 1978 году я вышла замуж за своего партнёра по сцене цыганского певца Д. Шлессера и играла в театрах до конца своих дней.

После смерти Франсины, жены Камю, их дочь Катрин выкупила в 1979 году письма Камю ко мне и предложила их к публикации в издательстве «Галлимар».

Я ушла из жизни в 1996 году в своём загородном доме.

Неожиданно в центр зала вбежала чёрная кошка и стала вертеться у ног Камю. Тереза Авильская вздрогнула и завопила:

– Мария при жизни была ведьмой! Сами видите, истинно говорю.

Мария Казарес нервно закурила, а кошка, сверкнув злыми глазами в сторону Терезы Авильской, внезапно исчезла из виду. Судья недовольным голосом пробасил:

– Прошу не вмешиваться в свидетельские показания женщин. Кто там следующий?



Сюзанна Аньели (Лабиш)

Я была секретарем Камю с 1946 по 1960 год. Вначале он пригласил меня в качестве его личного секретаря. Когда он ушёл работать в издательство «Галлимар», то предложил мне штатную должность секретаря в своём офисе.

По мнению Камю, я обладала необходимыми качествами для такой работы: преданностью, выносливостью, терпением, умением избирательно реагировать на телефонные звонки и сортировать почту.

Я оказалась в щекотливом положении: зная о Камю всё, иногда я не могла держать язык за зубами. Нездоровая любопытность натолкнула меня на мысль начать вести подробный дневник. Камю его обнаружил и пришёл в негодование – на моих глазах он сжёг эту злосчастную тетрадь и попросил меня больше этим не заниматься.

Как и Камю, я страдала туберкулёзом. Меня считали привлекательной, несмотря на крупные черты продолговатого лица. Я обожала Камю и была фанатично ему предана. Часто надувала губы, когда какая-нибудь симпатичная посетительница надолго задерживалась в его кабинете. Ему непрестанно звонили женщины, и я едва успевала отбиваться от них. Насколько возможно, я старалась оградить Камю от нежелательных посетителей, – связаться с ним можно было только через меня.

Среди женского персонала издательства «Галлимар», составлявшего семьдесят процентов от общего числа сотрудников, бытовало мнение, что я являюсь возлюбленной Камю. Когда я преступала рамки дозволенного, Камю меня сдерживал. Иногда Камю приглашал меня сопровождать его на вечеринки – мы посещали бары и рестораны, где собирались его друзья. Как-то, на одной из вечеринок, я спросила его, почему он выбрал Амстердам для своей повести «Падение»? Этот город уродлив, ответил Камю. Я возразила: мне он всегда казался прекрасным. И тогда, опьяневший от вина Камю, признался мне, что был невольным свидетелем самоубийства на одном амстердамском мосту и ничего не предпринял для спасения человека, решившего покончить с собой, – после этого случая его стало мучить угрызение совести. Со временем я заметила, как его болезненные личные воспоминания преобразовывались в обобщенное выражение этой драмы судьбы.

В 1956 году я вышла замуж.

После получения Нобелевской премии состояние здоровья Камю ухудшилось: он начал страдать от депрессии, приступов паники, клаустрофобии. Поэтому я стала сопровождать его везде.

Гибель Камю я восприняла как личную трагедию.

Катрин Селлерс

Я родилась в 1926 году в Париже, хотя происходила из семейства «черноногих», то есть французских переселенцев, живших в Алжире. Во время Второй мировой войны мой отец погиб в немецком концлагере. И я была вынуждена спасаться со своей матерью в Тунисе из-за своего еврейского происхождения. Непродолжительное время я была замужем за англичанином, отсюда и моё новое имя – настоящее имя Жаклин Тюбиана-Таббах.

Камю впервые увидел меня в роли Нины в пьесе Чехова «Чайка» в апреле 1956 года. Моя игра понравилась ему, и он пригласил меня исполнять ведущую роль в пьесе «Реквием по монахине», написанную им по мотивам произведения Фолкнера. Затем я играла роль в его пьесе «Бесь».

Как-то он сказал мне, что очарован двойной любовью, что можно одновременно любить двоих женщин. Тем не менее он был одинок. В сентябре 1956 года я стала его возлюбленной – мне тогда было 25 лет, ему 43. Он говорил мне, что его покорило моё «лицо, освещённое мягким, тёмным пламенем и чистая душа». Его поражало то, что я была и смешливая, и серьёзная одновременно. У нас были общие вкусы. В его театре я была самой эрудированной актрисой – со мной он часто обсуждал репетиции. Ради сближения с Камю, я даже специально изучила машинопись, чтобы печатать его рукописи, хотя у него была своя секретарша.

Слушать Камю было для меня величайшей радостью. Однажды я пробралась ночью к его дому, улеглась на входном коврике парадной двери и замерла там неподвижно, чтобы слышать голос моего возлюбленного. Камю называл меня «своей тенью». Я заботилась о его здоровье. С этой целью даже пыталась приобщить его к занятиям йогой.

Совместно мы отметили в последний раз его день рождения в бистро на улице Шерше-Миди в Париже. Он признавался мне, что «впервые за последние годы невольно попал в самое сердце женщины без какого-либо намерения, без игры, любящий её, но не без печали».

Он писал мне откровенные и нежные письма, в которых часто жаловался на одиночество и тоску. Так, в одном из них он писал: «Но ты не должна грустить о моей печали...».



Я бывала в его доме в Лурмарене. Смерть Камю потрясла меня до глубины души. Я проклинала себя, что не была тогда рядом с ним: он не поехал бы на машине или же я поехала бы вместе с ним. Я, как и Камю, обожала «Реквием» Моцарта и хотела, чтобы эта музыка звучала на его похоронах. На похороны Камю послала венок из роз и сирени с надписью: «За твоё счастливое возвращение, мой принц».

После смерти Камю я вышла замуж за актера П. Табара. Умерла в 2014 году в Париже.

Патриция Блейк

Я родилась в 1925 году. Впервые я встретилась с Камю 16 апреля 1946 года в Нью-Йорке во время его визита в США. Тогда мне было 20 лет, и я стажировалась в издательстве «Вог». Я была миловидной светловолосой, длинноногой девушкой с голубыми глазами. Хорошо играла на пианино, читала работы Ленина и Маркса, увлекалась идеями коммунизма и любила произведения М. Пруста.

Камю остановился в доме одного своего почитателя. Дом находился рядом с Центральным Западным Парком, который так нравился Камю. Взаимная любовь между нами вспыхнула, как молния, с первого взгляда. Я встречалась с Камю ежедневно, и мы часто вместе обедали в Чайнатауне, который он обожал. День заканчивали в ночном клубе, где Камю со мной увлечённо танцевал. Мы часто прогуливались парком и останавливались возле зоопарка.

Камю подарил мне экземпляр своей книги «Посторонний». Я организовывала некоторые встречи Камю с американскими литераторами. 25 февраля Камю выступил на конференции с речью «Кризис человека». Один из дней мы провели вместе, и между нами произошла, по словам самого Камю, «отчаянная и чудесная вещь». Позже, в одном из писем, он писал, что единственным его желанием тогда было остаться рядом со мной.

Вернувшись в Париж, он писал мне: «Я не могу восстановить былое равновесие. Не могу сказать, что моя жизнь и до того как я отплыл в Америку была очень счастливой, но я мог чувствовать себя устойчиво и, между прочим, бегал от женщины к женщине... Теперь же меня больше ничего не интересует, и я не могу войти в привычное русло жизни. К этому надо добавить сомнение относительно моей работы. В конце концов я выпутаюсь из этого, потому что должен».

Он оформил мне подписку на журнал «Ган Модерн» и выслал книгу Сартра «Бытие и ничто». Из Парижа он продолжал писать мне письма, которые начинались словами «дорогая Патриция». В одном из них он писал: «Я думал о Нью-Йорке, о том острове, на котором мы жили, и мне с трудом пришлось совершить усилие, чтобы осознать, что я стал героем, что это счастье».

16 октября 1957 года я обедала с ним в одном из парижских ресторанов, который славился хорошей морской кухней, – именно в этот момент официант сообщил Камю о присвоении ему Нобелевской премии. Он побледнел, разволновался, и стал неустанно повторять: «Эту премию должен был получить Мальро».

Переписка между нами продолжалась до 1960 года.

В 1983 году 24 письма и 14 книг с автографами Камю были проданы на аукционе Сотби за 31700 долларов.

В 2010 году оставила этот мир.

Мамен Паже

Я родилась в 1916 году в Англии. По словам Симоны де Бовуар, была наделена «хрупкой грацией» и «острым умом».

С 1948 года встречалась с писателем А. Кёстлером, родившимся в Венгрии в еврейской семье. В это время Кёстлер решал вопрос о разводе со своей женой. В Париже Камю стал проводить время вместе с нами.

Однажды мы прогуливались с Камю в парке, и он узнал, что я не очень увлечена Кёстлером. Тогда он сказал мне: «Я не могу тебя оставить». Он сообщил мне, что уезжает в Прованс, и я согласилась встретиться с ним в Авиньоне.

Когда я его там увидела, он выглядел бледным после приступа туберкулёза. В Авиньоне мы вместе провели романтическую неделю: танцевали танго в испанском клубе, бродили среди оливковых рощ, искали подходящий дом, который Камю намеревался купить. Это было больше похоже на сказку, чем на реальную жизнь. Я видела в Камю само совершенство и не замечала никаких изъянов. Он говорил мне: «На этой неделе ты принесла мне как счастье, так и несчастье – насколько это возможно для человека».

Вернувшись в Париж, мы потом встречались в Люксембургском саду, и Камю читал мне выдержки из своего романа «Чума». Я была уверена, что Камю влюблён в меня и рассчитывала на совместную с ним жизнь в Провансе. Но он проявил нерешительность.



Перед моим отъездом в Англию, Камю написал мне: «Я не могу привыкнуть к мысли, что ты уезжаешь. Прощай, дорогая иностранка! ... Когда ты вернёшься домой, не оставляй меня в одиночестве сразу, а снова повернись ко мне лицом. Потерять тебя – нелегко. Мне это известно».

Как только мы с Кёстлером вернулись в Уэльс, я рассказала ему о своём увлечении. Он равнодушно заметил, что правда так или иначе всплыла бы. Камю вначале разозлился на меня за это признание, но потом смягчился и предался воспоминаниям: «Дни, проведенные рядом с тобой, были самыми счастливыми в моей жизни, и я никогда их не забуду».

Я была безумно одержима Камю. Тем не менее это обстоятельство не повлияло на дружбу между Кёстлером и Камю. Кёстлер написал ему, что простил этот любовный роман со мной. Ответ Камю был не очень дружественным. После примирительных писем Кёстлера инцидент был исчерпан. Более того, Кёстлер способствовал печати статей Камю в Англии – их идеологические взгляды были близки.

В конце концов, в 1950 году, я вышла замуж за Кёстлера, который оказался садистом и женоненавистником – я развелась с ним через год.

В 1954 году я скончалась в Лондоне от туберкулёза.

Бланш Кнопф

Я родилась в Нью-Йорке в еврейской семье в 1893 году. Окончила Школу Гарвардского университета. Моей женской слабостью была высокая мода и драгоценности.

В 23 года вышла замуж за издателя Альфреда Кнопфа. Он был старше меня на два года. После рождения сына наша интимная жизнь не заладилась, и мы с мужем стали жить в разных квартирах. У меня появились любовники из среды знаменитых музыкантов. В издательстве мужа я занималась привлечением новых авторов и вычиткой их рукописей, сочетая бизнес и удовольствие.

Безупречно владея французским, я следила за высокой модой и часто посещала Париж.

Впервые с Камю я встретила в парижском отеле «Риц» в 1946 году. С тех пор наши встречи стали регулярными. О своей первой встрече я занесла в дневник такие слова: «У меня было чувство величия Камю. Несмотря на его молодость и незначительное количество произведений, его мировоззрение... было достаточно ясным, чтобы увидеть его величие как философа и гуманиста. ...Вскоре между нами установились доверительные и честные отношения – такие чувства я редко к кому испытывала... У меня всегда было чувство, что я имею дело с очень близким и интимным другом». Я стала пылкой и фанатичной поклонницей его таланта. Моему обожанию Камю не было предела. Я была на 20 лет старше его, и, конечно, ни о каком серьёзном романе с ним я не мечтала. Во время встреч Камю говорил о будущем и прошлом, о своих планах, о молодых писателях Франции и Америки, о Пастернаке, о нас самих.

Я присутствовала на церемонии вручения Камю Нобелевской премии в Стокгольме. Там я напомнила ему, как мы когда-то протанцевали с ним всю ночь «ча-ча-ча».

Мы вели с Камю переписку. Он писал мне по-английски вычурным старомодным стилем. Моя переписка с ним хранится в архиве исследовательского центра «Рэндэм» Техасского университета.

Однажды я выслала ему модный плащ и набор музыкальных пластинок, с записями произведений Шёнберга «Оставшийся в живых из Варшавы» и «Ода Наполеону Бонапарту».

Моими усилиями были изданы в США романы Камю «Посторонний» и «Чума». В 1946 году, в момент выхода из печати «Постороннего», Камю был в Нью-Йорке, и мы с мужем устроили грандиозную вечеринку в его честь.

Полагаю, что я сыграла немаловажную роль в деле продвижения Камю к получению Нобелевской премии.

В дальнейшем я отчаянно пыталась убедить Камю отойти от театральной деятельности и продолжить работу над романами, прилагала усилия к печати в США его философских произведений.

В год гибели Камю я написала книгу «Альбер Камю – на солнце», которая была издана в 1961 г. В ней я писала: «Я верила ему с самого начала».

Моя заслуга, видимо, состоит и в том, что произведения Камю были включены в учебные программы американских университетов. Хочу заметить, что моими стараниями, на рубеже XX–XXI веков, Камю является более популярным в США, чем где-либо, включая Францию.

Для похудения я долгие годы принимала таблетки, уменьшающие аппетит, чем подорвала себе здоровье, – умерла от рака печени в 1966 году в Нью-Йорке.

Иверс Метте

Я родилась в 1933 году во Франции в семье с датскими корнями. В Париже я изучала живопись и готовилась стать художником.

Познакомилась с Камю в парижском «Кафе де Флор» в 1957 году. Мне тогда шёл 21 год. По просьбе Камю его друг пригласил меня к их столу, где состоялась беседа об итальянском художнике Пьетро делла Франческа. Оказалось, что мы оба являемся поклонниками его таланта. Затем мы стали танцевать. Приятели Камю разошлись, мы остались наедине. Камю жаловался мне на то, что одиночество его заело. Мы говорили о произведениях Мелвилла, Достоевского и Ницше. Камю признавался мне, что его особенно впечатляла борьба Ницше с физической болью.

Его средиземноморский шарм очаровывал радостью жизни. Я стала его последней любовью. Подрабатывая у известных модельеров, я была вынуждена посещать филиалы их фабрик в разных городах. Камю часто сопровождал меня в этих поездках. В Париже я любила бывать в бассейнах, куда приглашала и его. Одно время я жила на ферме поблизости Лурмарена, где меня навещал Камю, уехавший из своего дома «на прогулку». Вместе с ним мы объездили провансальские городки Бонньё, Лакост, Менерб, Горд.

Общение со мной оказывало на Камю омолаживающий эффект – писатель тогда страдал от панических атак и приступов туберкулёза. Он признавался, что нахождение рядом со мной наполняло его дни «красотой и сладостью», а «непрерывное удовольствие» стимулировало его. Он говорил мне полушутливо-полусерьёзно о горестной старости, когда восторг и удовольствия чувств иссякают. В ответ я плакала и причитала: «Я так сильно люблю, люблю».

Авторы биографий Камю называли меня по-разному: Г. Лоттман как Торве, О. Тодд – Ми. После смерти Камю я вышла замуж за графика Ж.-Ж. Семпе, но потом развелась. В 1968 г. у меня родилась дочь.

В 2003 году я решила «выйти из подполья» и дала интервью в «Кайе де Лэрн». Сейчас живу в Париже.

Элизабет Хоз

Я американка, Элизабет Хоз, 1941 года рождения, в конце 1950-х годов писала в колледже дипломную работу о творчестве Камю. Меня покорило то, что его произведения были пронизаны чувством сострадания и любви к человечеству. В процессе этой работы я незаметно влюбилась в образ философа и испытала своего рода связь двух душ – своей и Камю. Очевидно, это не было чувством обычной романтической любви, наполненной тоской и мечтаниями, это было нечто более глубинное на уровне «космической связи». Я стала чувствовать себя одновременно и его сестрой, и его женой, и читателем его произведений – постоянно переживала за его здоровье и, как мне казалось, даже следила за его настроением.

Естественно, стала мечтать о встрече со своим кумиром в парижском «Кафе де Флор». Но трагическая реальность разрушила мои мечты: Камю внезапно погиб в автомобильной катастрофе. Зная хорошо его жизнь, я понимала, что над ним постоянно висела смертельная угроза от туберкулёза – особая форма «изгнания и царства» – и он наверняка не прожил бы долго.

Конечно, меня несколько смущало слишком активное проявление его «средиземноморского либидо», и одновременно восхищало то, что Камю преследовал при этом «высшую моральную цель». Тем не менее я не сочла нужным в дальнейшем травмировать свою психику этими размышлениями, осознав, что Камю, – человек чувств.

Чтобы лучше понять его, в 1960-е годы я посетила Францию в поисках «сущности французской идентичности», с призрачной надеждой «найти Камю». Но я попала уже в другую эпоху: в парижском культурном пространстве блистали уже совсем другие писатели.

В следующие два десятилетия мой интерес к Камю проявлялся спорадически, хотя меня и продолжали очаровывать его «печальные средиземноморские глаза». На моём пути встречалось много людей, но такого сильного притягательного чувства, как к Камю, я ни к кому не испытывала. Некоторое время я жила во Франции, побывала в Северной Африке, вовлекалась в амурные дела, присоединялась к протестным движениям, вышла замуж, родила троих детей, стала литератором.

Образ Камю вспыхнул в моём сознании с новой силой в 1995 году после опубликования его дочерью Катрин неоконченного романа писателя «Первый человек». Чтение этого произведения оживило мои прежние чувства к Камю – я снова ощутила его живое присутствие. Я решила написать книгу о нём. Она вышла в свет под заглавием «Камю, романтика» в 2009 году. Критики отозвались о ней, как о «прекрасном воспоминании о пожизненной одержимости автора книги».



Возникла пауза. Судья ехидно осведомился:

– Полагаю, «список» исчерпан?

– Нет! – послышался чей-то нежный голос, – вы забыли меня.

– Кто Вы? – встрепенулся судья.

– Я та, которую Камю назвал «одной из самых очаровательных и приятных молодых французенок», которых он когда-либо встречал.

Все женщины в недоумении переглянулись.

В зале появилась девушка с короткой прической и с улыбкой на лице:

– Я Франсуаза Саган.

Женщины облегчённо вздохнули, а судья спросил:

– И какое же отношение Вы имеете к Камю?

– Я та женщина, которая не успела в него влюбиться, а Камю не успел полюбить меня.

– Воображаемые деяния, которые никогда не совершались, суд рассматривать не будет. На этом мы закончим заслушивание свидетельских показаний женщин, – твердо и решительно заявил судья.

– Нет! – вскрикнула Тереза Авильская. – Нужно ещё вспомнить тайных воздыхателей и тех безвестных женщин, кто им был соблазнен. Прежде всего, я имею в виду женский персонал редакций газет «Альбе республикен», «Суар республикен», «Пари суар» и «Комба», издательства «Галлимар», а также некую «восхитительную» девушку из Португалии по имени Виола.

– Поток времени бесследно смыл всех остальных, – витиевато и с претензией на философичность заявил судья, – поэтому привлечь их к процессу нет возможности.

Тереза Авильская не унималась и шептала:

– Боже, услышь меня! Боже, услышь меня!

Судья холодно обратился к женщинам:

– Что вы можете сказать в своё оправдание?

Все женщины возгласили хором:

– Нас бесповоротно покоряли харизма и обаяние Альбера Камю. Нас очаровывала его простота, эlegantность, сдержанность и естественность, склонность к юмору, искусство быть на одном уровне с каждой из нас. Мы были незащищены перед его природным даром раздевать нас взглядом.

Тереза Авильская взвизгнула:

– О, бесстыжие! Подобные вещи совершали только греческие женщины с олимпийскими богами. Ваши поступки нарушили все нормы христианской морали – поэтому, в первую очередь, нужно осуждать себя, а не оправдывать возлюбленного «бога».

Голос судьи свыше прозвучал устало:

– Альбер Камю, что Вы скажете в своё оправдание по поводу обвинений в Ваш адрес со стороны Терезы Авильской?

Камю не любил говорить экспромтом и начал речь размеренным тоном, поглядывая в записную книжку:

– Ваша честь! «Люди привлекали меня настолько, насколько они испытывали страсть к жизни и жаждали счастья. Возможно, поэтому у меня было больше женщин-друзей, чем мужчин. ... Дружба между мужчиной и женщиной всегда содержит нечто двусмысленное, двойную игру, которая фальсифицирует чувства в самом их истоке, и я думаю это потому, что мало кто из мужчин может ясно понять свои желания, знать, когда они возникают, и когда заканчиваются».

– Ближе к теме! – нервно заметил судья.

Камю на минуту задумался, и затем вдохновенно произнёс неожиданные слова:

– В течение всей моей жизни, когда кто-либо привязывался ко мне, я делал всё возможное, чтобы заставить его покинуть меня.

Судья в очередной раз перебил Камю:

– Насколько я понял, этим Вы хотите сказать, что виной всему была не Ваша необузданная страсть, а ненстоявая любовь женщин к Вам, которой Вы не могли противостоять в силу слабости характера?

– Ваша честь, – сказал Камю, – я никого не собираюсь здесь обвинять – ни себя, ни женщин, ибо не претендую на роль высшего судьи: «я знаю только одну обязанность – обязанность любить».

– Продолжайте! – недовольным голосом произнёс судья.

– Поскольку лазоревые небеса молчат, – продолжил Камю, – и ничего не говорят о смысле человеческого бытия, то от Вселенной я требовал хотя бы признания величия любви. Возвеличение любви – это дерзкий вызов смерти, – Камю украдкой заглянул в записную книжку и продолжил, – «Вне любви



женщина скучна, хотя она и не знает об этом. Можно жить с ней и хранить молчание. Или спать со всеми и делать, что угодно. Но главное есть что-то ещё. ... Те, кто любят, друзья и любовники, знают, что любовь не только слепая вспышка, но также длительная и болезненная борьба в темноте за воплощение окончательного примирения».

Свою речь Камю заключил со скептической улыбкой и простотой:

– Я был с ними и всё же был одинок.

Судья закашлялся и хриплым голосом спросил:

– А что Вы скажете относительно такого конкретного пункта обвинения Терезы Авильской, как прелюбодеяние?

– Заключая брак с Франсиной Фор, мы сразу же оговорили условия: наш брак будет носить свободный характер.

Тереза Авильская взорвалась:

– А богоборчество Камю?

Судья твердо заявил:

– Вопрос богоборчества лежит в другой плоскости, и его мы не будем рассматривать.

Судья откашлялся и тихим голосом предоставил слово адвокату для защитительной речи. Я поднялся: «Ваша честь! Обвинения Терезы Авильской в адрес женщин не выдерживают никакой критики. Что за странный критерий любви она предложила? Богов на грешной земле нет. Женщины любят только земных мужчин. Где у Терезы доказательство, что женщины любили Камю как бога? Таковых нет. Более того, сама Тереза вступала в интимную связь с богом сомнительным образом – тут и речи не может быть о взаимной любви. Это больше походит на совращение ею бога, что является безнравственным актом.

Известно, что произведения искусства являются средством осмысления прошлого и настоящего. На их примере я хочу проиллюстрировать, как на протяжении истории, образ Терезы Авильской в искусстве изменился от набожной монашки до секс-звезды. Вот перед Вами полотно П. Рубенса «Святая Тереза Авильская» (XVII в.), где она изображена с суровым видом, наделённым ликом святости; вот скульптурная группа Дж. Бернини «Экстаз Терезы Авильской» (1652), где явно показан момент её интимной связи с Богом; далее идёт картина Ф. Жерара «Тереза Авильская» (1827), где в её блудливых глазах отражается нездоровая страсть; затем – картина Б. Клодосовского (Балтуса) «Сновидение Терезы» (1938), где она представлена сексуально озабоченной девкой; и, наконец, современный рисунок М. Манары «Экстаз Терезы Авильской» (XXI в.), где скульптурный облик Терезы трансформирован в сексуальный символ.

У нас нет оснований не доверять острому чутью художников разных эпох, и мы наглядно видим, как ореол святости постепенно ниспадал с Терезы Авильской, обнажая её низменную натуру.

– Я протестую! – возопила Тереза Авильская.

– Протест отклоняется, – строго заметил судья.

Я продолжил свою речь:

Если же говорить о любви присутствующих здесь женщин к Камю, то их любовь к нему была взаимной.

Позвольте мне зачитать здесь три письма, написанные Альбером Камю в рождественские праздники накануне его гибели трём своим возлюбленным женщинам.

Письмо Марии Казарес: «Я шлю массу нежных пожеланий, и пусть всплеск жизни длится у тебя круглый год, рождая ту милую экспрессию, которую я любил многие годы – я люблю твоё лицо в момент волнения и в другие часы. До скорой встречи, моя совершенная, я так счастлив, что снова увижу тебя – отчего меня разбирает смех, когда это пишу. ... Я целую тебя и крепко обнимаю – до вторника, когда я смогу начать всё заново».

Письмо Катрин Селлерс: «Вот моё последнее письмо, моя нежная. Я возвращаюсь и рад этому, так что увидимся во вторник, дорогая. Я уже целую тебя и благословляю тебя от всей глубины моего сердца».

Письмо Иверс Метте: «Это страшное разделение по крайней мере заставит тебя больше прочувствовать, чем когда-либо, постоянную нужду быть рядом, которую мы испытываем друг к другу. ... Я знал это раньше, а теперь знаю ещё больше. Я полон ожиданий с благословенной нуждой в тебе, полный сил и страсти. Да, я жду тебя, моя любимая и пылающая маленькая девочка».

Я обращаюсь к Святой Терезе, скажите, может ли писать в одно и то же время разным женщинам такие эмоциональные и вдохновенные письма банальный донжуан?

– Полагаю, что нет, – мрачно ответила Тереза.

– Что является грехом – честность или обман? – набросился я на Терезу.

– Обман, – твердо и уверенно ответила она.



– Тогда послушайте слова Камю: «Я не лгу в чувствах. Я верный изменник». Святая Тереза, Вам известно, что мужчины разделяют женщин на три категории: 1) на тех, с кем они могли бы допустить интимные отношения; 2) на тех, с которыми категорически не хотели бы иметь близость; 3) на тех, сексуальные отношения с которыми отходят на второй план – в первую очередь их хотят постоянно видеть и быть рядом с ними. Как Вы думаете, к какой категории по отношению к Камю относились эти женщины, которых Вы обвиняете?

– Конечно, все – к первой, – ничтоже сумняшеся произнесла Тереза.

– Ошибаетесь, Святая! – продолжил я свою речь, – Прежде всего, хочу уточнить: только Симона де Бовуар была для Камю женщиной второй категории; связь Элизабет Хоз с Камю была односторонней и виртуальной. Остальные женщины принадлежат к третьей категории. Такое отношение Камю к женщинам нельзя назвать заурядным и вульгарным донжуанством.

Чтобы прояснить этот вопрос, я приведу слова Камю: «Как всё было бы просто, если бы было достаточно любить. Чем больше любят, тем более прочным становится абсурд. Дон Жуан торопится от одной женщины к другой не потому, что ему не хватает любви. Смешно представлять его и фанатиком, стремящимся найти какую-то возвышенную полноту любви. Именно потому, что он любит женщин одинаково пылко, каждый раз всю душою ему приходится повторяться, отдавая себя целиком. Поэтому и каждая из них надеется одарить его тем, чем до сих пор не удавалось его одарить ни одной женщине. Всякий раз они глубоко ошибаются, преуспевая лишь в том, что он чувствует потребность в повторении. ...Он покидает женщину вовсе не потому, что больше не желает её. Прекрасная женщина всегда желанна. Он желает другую, а это не одно и то же самое».

– Он заурядный соблазнитель, и не более того! – раздался голос Терезы Авильской.

– «Да, – продолжил я прерванную речь словами Камю, – «он заурядный соблазнитель, но с единственным отличием, что осознает это, а потому абсурден. Но от того, что соблазнитель ясно мыслит, он не перестает быть соблазнителем».

– Видите, сам Камю это подтверждает! – торжествуя воскликнула Тереза.

– Послушайте, Святая, дальше, что говорит Камю, – продолжил я. – «Видеть ясно – вот его цель. Любовью мы называем то, что связывает нас с другими, в свете социально обусловленного способа видения, порождённого книгами и легендами. Но я не знаю иной любви, кроме той смеси желания, нежности и интеллекта, что привязывает меня к данному конкретному существу. Для иного существа другим будет и состав смеси. ...Щедра любовь, осознающая одновременно свою неповторимость и бренность. Все эти смерти и возрождения составляют букет жизни Дон Жуана, такой его способ отдавать себя жизни».

– Такая точка зрения на любовь действительно неуязвима для морального осуждения, – горестно завывала Тереза Авильская, – но она не даёт ему права нарушать божественные заповеди.

– А Камю, как и Дон Жуан, не верит в бога, – оживлённо заметил я.

– Неслыханно! Это непростительное богохульство, – запричитала монахиня.

– Послушайте вердикт, который выносит Камю как самому себе, так и Дон Жуану, – сдержанно произнёс я – «Нравучительная сторона этой истории не слишком правдоподобная: какое спасение он мог вымолить у бога? Скорее здесь вырисовывается логичное завершение жизни, до конца проникнутой абсурдом, суровая развязка существования, полностью преданного радостям без расчёта на завтрашний день», – я уверенно вёл свою речь к завершению. – В чём вина Камю – в том, что он человек? Ещё З. Фрейд заметил, что нас вдохновляет не внешний объект – в нашем подсознании уже существует любимый образ, и мы только стремимся найти похожий во внешнем мире. Так мы созданы высшей силой. И мой подзащитный, как и все мы, имел в своём сознании эти образы. Его «грех» состоял только в том, что у него, как творческого человека, было достаточно много таких образов – обыватель же едва ли способен иметь хотя один из них. Камю не сравнивал женщин одну с другой, а уважал достоинство каждой из них.

В отношениях Камю с женщинами не было ни того банального синоминутного прагматизма, о котором говорил А. Чехов, как не было и «прорыва к трансцендентному», к чему зывал Д. Мережковский, а было «изживание себя» в этом мире тем способом, который был свойственен возлюблённым.

И ещё очень важный момент. Над Альбером Камю с 17 лет висел дамоклов меч туберкулёза, и вся его дальнейшая жизнь была не чем иным, как борьбой со смертью. В любви он интуитивно нашёл мощное средство сохранения жизни. Также его спасало творчество. А любовь – это одна из разновидностей творчества.

– Он много курил – значит, не дорожил жизнью, – нетерпеливо перебила меня Тереза Авильская.

– Курил по другой причине: он опытным путем установил, что курение подавляет кашель, – со-



гласитесь, постоянно кашлять в присутствии других людей неприятно. Не стоит сбрасывать со счетов и физиологическую сторону любви Камю: известно, что у некоторых людей, больных туберкулёзом, значительно усиливается либидо. В заключение я хочу заявить, что Тереза Авильская не имеет никакого морального права предъявлять обвинения ни к женщинам, ни к Камю, ибо она низвела божественную любовь до уровня земной, что с религиозной точки зрения аморально; Камю же не питался божественными иллюзиями, а жил земной любовью, которая единственно возможна в этом мире, лишённом ясности.

Судья зашуршал бумагами и обратился ко мне со странным вопросом:

– Скажите, уважаемый, какая из сидящих здесь женщин Вам больше всего нравится?

Я удивился такому вопросу, но без запинки ответил:

– Патриция Блейк.

– Да-а-а, а у Вас неплохой вкус, – затянул задумчиво судья, но быстро спохватился и строго заметил, – впрочем, этот вопрос не имеет отношения к делу.

Я понял, что судья спонтанно вышел за пределы своей роли и взглянул на процесс глазами мужчины – это было хорошим знаком для благоприятного исхода дела.

Наконец судья трубным голосом объявил:

– Суд удаляется на совещание.

В зале внезапно погас свет. Наступила тревожная тишина. Зазвучала музыка Баха. Каждый из присутствовавших в зале думал о своём.

Как небесные ангелы, запели фальцетом «босоногие кармелитки»:

Ничего вас не должно тревожить,

Позвольте всему идти своим чередом.

Один Бог – всегда неизменен,

Всё наполнено терпением.

Если вы с Богом – больше нет желаний,

С головы до ног Им вы удовлетворены.

Внезапно в зал ворвался с растрёпанными волосами нидерландский художник эпохи Возрождения Иероним Босх – он держал под мышками три доски – створки своего триптиха «Сад земных наслаждений» – «Рай», «Земля» и «Ад».

– Стойте! – закричал он, – не спешите объявлять приговор.

Он суматошно стал распиливать невесть откуда взявшейся острозубой пилой свою картину, написанную на доске.

– Сейчас я подарю участникам судебного процесса фрагменты моего творения – и все проблемы будут решены, – запыхавшись, произнёс художник.

Вначале он приблизился к Терезе Авильской и вручил ей фрагмент створки «Ад» с изображением двух ушей, из-за которых торчало лезвие ножа, что было явным намеком на мужской половой орган.

– И что это означает? – дико уставилась Тереза на Босха.

Босх заявил:

– Мы тут слышаны о пронзившей Вас божественной золотой стреле, от которой Вы испытали, мягко говоря, земное наслаждение. Как мне объяснил один китайский доктор, стрела попала в «точку «шень-мень» на ухе, как я изобразил на картине, – точку блаженства. Вы же, Тереза, ошибочно посчитали, что стрела вонзилась Вам прямо в чрево – отсюда Ваши мнимые ощущения. Христос не мог снизойти до блуда с монашкой. Но я Вам рекомендую другую «точку». Отныне Вам не нужно будет прибегать к «божественной помощи» – достаточно помассировать «точку» под ножкой ушного завитка, на которую на моей картине указывает посохом «черный дьяволёнок». Это «точка» повышения либидо, которая заставит Вас обращать внимание на земных мужчин, а не на Бога.

– Что он такое несёт? – возмутилась покрасневшая Тереза, потрясая доской, с которой не знала что делать.

Оставив Терезу, Босх приблизился к женщинам и подарил им фрагмент створки «Рай» с изображением бога, который предостерегает Еву от соблазна.

– Не будите в себе зверя, который проглотит и вас, поднимите руки к небесам, и вы поймёте, как вам вести себя в этом мире.

Женщины хором завопили:

– Но мы же не виноваты, что бог создал нас такими. Менять свою природу – значит, идти против божественной воли.



Босх сделал вид, что не услышал вопли женщин, подошёл к Камю и протянул ему фрагмент створки «Земля»:

– Земная красота – дьявольская сила, сбивающая вас с толку и смертельно поражающая. Взгляните на этих женщин, стоящих по колени в воде. По мере течения времени вода прибывает, и скоро их грешные тела насовсем исчезнут из этого мира, а их красоту унесут ангелы в «занебесную высь», как говорил Платон.

Камю покорно взял фрагмент картины, ответив Босху улыбкой.

Голос судьи прозвучал, как гром среди ясного неба:

– Заслушав показания обеих сторон, Высокий Суд объявляет своё решение: учитывая то, что Тереза Авильская в своих мистических отношениях с Иисусом Христом использовала свои телесные эротические качества и таким образом унижала бога, суд не может принять её обвинение к рассмотрению. Но даже если бы эти обвинения были судом рассмотрены по существу, то он пришёл бы к выводу, что любовь женщин к Камю и его к женщинам имела в своей основе духовный человеческий характер, а не вульгарный животный – поэтому все обвиняемые были бы признаны невиновными. Обращение к подсудимым Иеронима Босха следует рассматривать как частное определение суда.

В зале установилась гробовая тишина. Не выдержав её, Франсина истерично бросилась к роялю и начала играть Баха.

– Суд закрыт! – громогласно произнес судья.

Свет погас, и я проснулся.

Вероника восторженно всплеснула руками:

– Потрясающее сновидение! А насколько все эти фантазмы соотносятся с действительными фактами о взаимоотношении Камю с женщинами?

– Невероятно, но все эти, как Вы выразились, «фантазмы» точно соответствуют реальным фактам, задокументированным биографами Камю.

– Спасибо также за полезную информацию – теперь я буду знать, где находится точка повышения либидо, – засмеялась Вероника.

– Очень прискорбно, что Вас больше заинтересовала точка либидо, чем взаимоотношения Камю с женщинами – сыронизировал я.

Вероника густо покраснела, а я, как ни в чём не бывало, продолжил:

– Тогда придётся уточнить расположение точки. Специалисты по аурикулотерапии локализуют её, как на картине Босха, однако авторитетный французский доктор Р. Ножье указывает её чуть выше – на самом ребре завитка, – весело заключил я.

АЛЕКСАНДР В. БУБНОВ

ПЕРЕКРЁСТКИ И ПЕРЕКРЕСТИЯ...

*(60 лет назад вышел на телеэкраны
фильм Андрея Тарковского и Александра Гордона
«Сегодня увольнения не будет»,
натурные съёмки фильма проходили в Курске)*

ВМЕСТО ЭПИГРАФА

Бьётся в артериях строчек не зря
сердце стихотворения:
время – создатель, время – судьба,
ангел-хранитель – время.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТВОРЧЕСТВО

(полусонет)

Это перманентная молитва,
это колыбельное незнание,
это на заплате века нитка,
это только слабая попытка
переодолеть существование –

жизне в творениях твоих
много дольше жития вне их.

...И вот на огонёк в мой дом
тихонечко вошёл неброский
прохожий, загнанный дождём, –
мой,
совершенно мой
Тарковский.



ТРОИЦА

1.

Он – на плёнке.
Но плёнка – плен.
Он над плёнками
Встал с колен.

Он – на блеске
огня, воды...
И на фреске
его черты...

Он – на нотах,
что выше слов,
на высотах
своих миров:

на «Солярисе»
или в Доме...
Фа-соль-ля-ре-си...
Ми-ми-до-ми...

2.

И ночь была, и всё померкло,
и вышел день – белым-белей...
И ликами п(р)оникло Зеркало,
в которое ушёл Андрей...

3.

Мне чудится: не только я один
отсюда б не хотел уйти, поскольку
Отец Тарковский и Тарковский Сын
и Дух Тарковский здесь, на этой горькой
Земле.

БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ СОНЕТ

Где же бродит то время,
когда мы в своей вселенной
в два сердца, в четыре глаза
встречали новые дни?..

Вселенная коллапсирует,
если она переполнена
грубой и плотной материей,
и время сжимается с ней,



схлопывается в точку
и глубоко оседает
там, где ночами белыми
морось промозглая сыплется
на цветущую яблоню,
скованную во льдах...

АЗ-БУКИ...

(полусонет)

Как кислород устроен просто.
И как процесс дыхания прост.
И эта ночь. И эти звёзды.
И тихий свет от этих звёзд,
рождающий свои вопросы...

Спросил однажды я свечу:
«Ты догораешь?..» – «Я свечу!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГОРЕНИЕ

*(кадр из фильма «Сегодня увольнения не будет»,
42:39 – 42:52 от начала)*

Озираясь вокруг, как мальчишка,
почти навсегда убегая уже тогда,
режиссёр поджигает спичкой
(будто планы свои, ещё мозаичные)
огнепроводный шнур,
тянущийся за
границы планов и рамок
экрана(,)

и графика образа(,
всего касаясь(,
светописанием времени(,
врезается,
запечатлевается в нас
и над
жанрами(,
выстраданными пожарами –
печатами красными
и ещё
тёплой свечой...

Постой!..
Постой ещё на этих барханах
неисчезающего полигона,
незаживающего,
немироточащего...



Полистай!..
 Почитай про себя
 и про нас
 ещё один томик стихов отца...

Однако одна страница
 всё никак не перелистывается,
 взлетая в воздух частицами,
 даря себя,
 раздавая слова,
 всё горя и горя во вселенной –
 этой комнате вневременной
 Неопалимой
 Купиной...

ПЕРЕКРЁСТОК. МИНУТА

*(кадр из фильма «Сегодня увольнения не будет»,
 18:47 – 19:47 от начала)*

Улицы
 рифмуются:
 Серафима...
 Максима...

Перекрестие
 прицела
времени, запечатлённого
 им...

Перекрёсток Тарковского...
 Его
 на этой планете дальней
 кинематограф
 остался островом –
 графично церковь Ильинская,
 бескrestная ещё тогда,
 на плане дальнем
 укрыть пытается жаркое небо(,) *и долги наши...*

И вода всё течёт и течёт
 из колонки заклиненной,
 течёт на восток
 вниз по склону холма
 к новой большой воде, питающей новое древо,
 к восходящему новому Солнцу,
 дерева освещающему,
 вода всё течёт и течёт,
 закручивая неумоимо в контуры Чаши
 время неумолимое...



ПОД СОСНАМИ...

*(...в Курске, на том же месте,
где находилась основная площадка фильма
«Сегодня увольнения не будет»)*

Растите, сосны, ввысь,
полвека вам всего лишь,
вы время собираете в себе,
как воду в камень собирает
в пещерах,
в лабиринтах
сталактит...

*«(...) захватанная книга,
вся в птичьих литерах,
в сосновой чешуе,
читать себя велит (...)»**

Читаю-почитаю эту новую жизнь,
эту весну,
этот хмель-апрель,
и будущий
смеющийся солнцем июнь,
и сами сосны –
поющие
что-то важное своими струнами,
и, наконец, читающий всё
небосвод,
но часто
ночами чувюг...

*«(...)
чувюг жилами
(...) сосны
вешних смол коченеющий лёд.*

*Знаю: новая роца встает
Там, где сосны кончаются наши.
(...)*

*(...) там, за оградой,
чей-нибудь завершается год.»**

Как труден вопрос
обретенья утраты!..
не падайте, сосны,
на напши
палаты!..

Когда-то,
в какой-то жизни иной,
или над жизнью,



палатка Андрея
смята была упавшей сосной,
потревожившей только
Ангела,
Андрея спасшего...

Сосны,
не падайте!..

Постойте!..
Подождите...
Подарите картину космоса,
которую каждый день вы рисуете
не в суете –
кронами *по* небу
рисуете
под ветрами не-кроткими,
что кружат миры по-своему –
против движенья планет,
по движенью души,
вознесшейся из...
туда...
и оттуда читающей
нашу жизнь.

*(*текст, данный курсивом в кавычках, – цитаты из стихотворений Арсения Тарковского)*

КОМНАТА

Кто
поставил камеру
посредине заветной комнаты зоны,
где исполняются желания?..

Кто
тебя поставил
посреди этой комнаты,
как мальчика,
на стульчик?..

И ты – зритель –
как древо –
медленно созреваешь над белым кафелем
под каплями,
слетающими с небесного потолка
комнаты...

Ты вдруг
притих,
беззащитный, промокший,
смотришь на отражение Троицы
в себе
и молчишь,
не в силах произнести хотя бы стих
с этого стульчика,
с этого кресла



в кинозале,
ставшего новой комнатой
желаний...

И вдруг
теперь
ты желаешь быть вноворождённым,
надрываясь венами,
вырываясь из кинозала,
из его бетонного гроба
или утробы,
ты бежишь
или – напротив – бредёшь
каким-то сталкером новым
после ночи –
в открытую дверь
утра...

Или в другую большую-большую
комнату
города
или космоса...

В сеансе новом
ты становишься...
новым читателем
миллионов томов,
светом и древом пропитанных...

В сеансе новом –
волнами –
ты растворяешься в атомах,
в приручённых своих спутниках,
в частицах, обращающихся
по своим орбитам
вкруг
желанья Единого –
желанья
Любви!

Неоходимые поясняющие примечания:

Арсений Александрович Тарковский (25.06.1907 – 27.05.1989) – русский, советский поэт, отец режиссёра Андрея Тарковского.
Андрей Арсеньевич Тарковский (04.04.1932 – 29.12.1986) – советский кинорежиссёр, сценарист, который в свои фильмы включал стихи своего отца, Арсения Александровича Тарковского.

Александр Витальевич Гордон (р. 26.12.1931) – кинорежиссёр, друг и сокурсник Андрея Тарковского.

«Запечатлённое время» – концептуальная статья Андрея Тарковского (1967).

«Солярис» – фильм Андрея Тарковского (1972).

«Белый, белый день» – строка из стихотворения «Белый день» Арсения Тарковского, «Белый, белый день» – первое (рабочее) название фильма Андрея Тарковского «Зеркало».

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН

ПОЛЁТ НА ВЕНЕРУ

рассказ

Музыка объединяет, а единство обогащает, а богатство делает нас состоятельнее, а состоятельность – основа благосостояния, а единство блага и состояния – сродни преумноженному благу... – говорил серьёзно выпивший сосед по кофейному столику. Он ещё долго продолжал, но я быстро потерял нить его рассуждений, а с ней и интерес к оратору.

Я ушёл в кафе ради тишины, словно в пустыню, как древний искатель истины. Но от лени не убежишь. И бредёшь по пустыне, стараясь не всматриваться в надоевшие виды. Где же демоны, с которыми можно сразиться? Всё же я заглянул в конспект. Бывает такое, вроде и интересно, а мочи на это больше нет. Вот не хочется это зубрить. Какой-то кризис – стопор. Любая деталь там ясна и конечна, а хочется провала за границу обыденного, которое никак не охватить... и зачем же оно тогда нужно? Но душа просит. А здесь лишь будни. Экзамен. Нужно готовиться. К худшему. Однако, мысли имеют свойство формировать материю. Человек вполне способен при определённом образе жизни установить свою власть над элементами, над материей. Но трудно хранить верность такой организации своих действий. И непонятно почему. Вроде всё ясно, но хочется остушиться. Мечтается превыше всего на свете. Иногда лучше упасть в бездну, чем царствовать.

Так или иначе, дверь открылась и в облюбованное студентами исторического факультета кафе «Зося» вместе с порывом свежести с заснеженной улицы вошёл человек, имеющий довольно типичный облик позднесоветского народного интеллигента, эрудированного... точнее даже, знающего всё в пределах стандартного круга чтения советского (включая и антисоветского) человека, умеющего ярко говорить неожиданные вещи, но без привычки фиксировать их на бумаге, – и зачем? Такие – украшение любого интерьера. Без претензии на должность, без карьерных амбиций. Ну и какие амбиции могут быть в данном месте в данное время?

Я ожидал какого-то яркого заявления, формально адресованного кому-то в противоположном конце зала, так чтобы все услышали и подивились мудрости этого человека, – какая-то очень уместная цитата из русской классики или из книги по античной философии. Но нет. Вошедший персонаж как-то внутренне сжался, сделавшись невидимым. Такое бывает. Человек способен скрыться без всякой шапки-невидимки. Так и работают всякие магические средства, делающими невидимыми, – человек не привлекает внимания. Совершенно. Люди смотрят сквозь него. Но я заметил этого человека в момент появления. От меня он не скрылся. Он, возможно, это почувствовал, – новый посетитель скользнул за мой столик на уже освобождённое оратором место, – тот заторопился по каким-то несомненно неотложным делам.

Между тем, человек сел и внимательно посмотрел на меня и с улыбкой заметил:

– Лень зубрить?

– Я тщетно надеялся, что здесь кафе, а не цирк и случайные собеседники не пытаются читать чужие мысли.

– О, ну что вы? Я не тщусь. Как можно прочесть то, чего нет?

– Это комплимент?

– Я не о вас... Мысли скользят, бегут, быстро сменяя друг друга. Как можно ухватить этот невнятный поток? И психоанализ – жёнадука, замена инквизиции. Слишком многим необходимо обоснование для приписывания человеку своих мыслей. А тут всегда допустимо врать про подсознательное или бессознательное, утверждать, что кто-то думает что-то такое, о чём сам и не догадывается, но где-то бесконечно глубоко. Это несомненная форма интеллектуального насилия.



– Любопытно, – я был возмущён и счастлив одновременно. Я за ночь прочёл работу Фрейда про фобии у пятилетних детей. К счастью, я достал заветную книгу в уродливом картоном переплёте. Все о ней только и говорили. И даже антропософы толковали сны «по Фрейду». То есть рассуждали о пустой чепухе, создавали словесную завесу, говорили о каких-то внутренних чувствах, бессознательном, неосознанных интенциях. О самом Фрейде тогда мало знали. Его успели прочитать не столь уж и многие. Между тем, первый вещий сон я увидел в далёком детстве. Мне привиделось, что я лажу с детьми по каким-то крышам. И действительно, на следующий день я лазил с этими самыми детьми по тем самым крышам. Потом я увлекался хождением по катакомбам. Но в ночь перед спуском всегда уже видел всё наперед. Так что слова собеседника меня обрадовали, – я всегда знал! И одновременно огорчили, – как можно! Фрейд – великий человек! Я сразу этого не понял, но потом осознал, что запрет советских властей на какого-то мыслителя был для меня как «знак качества», подтверждал несомненную значимость идей этого человека.

– Но я не об этом, есть вещь, которую я случайно узнал. Мне необходимо с кем-то поделиться. А вы всё равно пытаетесь уклониться от необходимого. Лучше уж послушайте историю.

И он поведал мне следующее.

Я приторговываю на книжном рынке. Но я не из тех, кто привозит банальную фантастику или детективы из Кишинёва. Я мотаюсь в Москву за разными любопытными вещичками. И дело не только в деньгах. Сами эти поездки... Да. В прежние времена я очень их любил. Я бы и сегодня съездил. Хотя теперь всё немного иначе, сложнее. Старый мир рушится. До основания. Хотя нет уже никаких оснований. Ни для чего. Останется ли в нашем мире что-то, кроме колбасы? Впрочем, и её будущее туманно. Останется ли в нашем мире что-то, кроме кукурузы? А в Москве собиралась интеллигенция, творческие люди со всего Советского Союза. Я бы даже сказал, лучшие представители интеллигенции, наиболее интересные творцы. Однажды я устроился дворником, – я был там единственным работником с незаконченным высшим образованием. Помню сменщика-академика... Так вот. Благодаря многочисленным полезным знакомствам я получил возможность доставать малотиражные книги для узкого служебного пользования, фактически секретные книги. Однажды, забирая печатную литературу такого рода, уже на излёте СССР, я разговорился со своим поставщиком, – имя и должность, разумеется, назвать не могу, – а он: «Не потерять бы космические наработки со всеми этими последними невнятными политическими преобразованиями...». Как так? У него неприятности на работе и в семье, а он норовит уйти в космос? Честный отважный человек так не должен поступать. Но кто я такой, чтобы его судить. И я заметил:

– Я бы и сам улетел на другую планету. Так все надоело... эх.

– А ведь до этого оставался всего один шаг.

– Да ладно. Это американцы шесть раз побывали на Луне. У нас же недобитые учёные – вымирающий вид.

– Ты ничего не знаешь. Пока американцы высаживались на Луне, Родина не дремала. Разведка всё передавала. Мы были в курсе всех вражеских технологий. Ты считаешь это воровством? Нет же! Речь о будущем всего человечества. Лишь кажется, что русские крали у американцев. На самом деле, человечество заимствовало у человечества ради общего блага. Невозможно ведь обворовать самого себя. Противостояние – это как спорт. Важно победить. А выигрывают все. И вот, ты ведь знаешь, что пока американцы летали на Луну и исследовали Марс, СССР сконцентрировался на Венере. Но помимо всем известной деятельности, существовала и сугубо засекреченная программа. Её тщательно скрывали, о ней не рапортовали в газетах, лишь узкий круг посвящённых втайне творил историю. Мы планировали освоить голубую планету, построить на ней военную базу, а может и отправить туда диссидентов под видом астронавтов, пусть там сражаются с тяжёлыми условиями, – их и развелось много, потому что нет настоящих тяжёлых дел. Да, американцы, кстати. Увлечённость Рейгана звёздными войнами неслучайна. В какой-то момент американцы всё разнохали и, поздно спохватившись, завертели, как ужи на сковородках.

Я принял. В самом деле, от собеседника пахло спиртом, но лишь слегка. Человек вызывал доверие, в целом. Старый интеллигент, выпускник МГУ, родственник одного видного старого большевика. Но какой бред! Впрочем... Только тот, кто думает, додумывается до всякой ерунды. Мир простых людей, я полагаю, рациональнее мира интеллектуалов. Такой, вот, парадокс. И сам человек, который, якобы, разумный... Не отставшая ли мы в развитии, слабоумная обезьяна. И уж точно не сопедшая с ума, как полагал Ницше. Человек – именно мартышка-имбецил. Обезьяны и вообще животные развиваются, взрослеют быстро, а человек медленно. Ибо туп. Но, несмотря на все эти мысли, я для приличия поинтересовался.



– И что ж, кого-то отправили на Венеру?

– Да, конечно! Понимаешь ли! Отправили двух мужчин и одну женщину. Возвращения не предполагалось. Это слишком сложно и дорого. А эксперимент и состоял в том, смогут ли советские люди выжить в условиях Венеры, эволюционируют ли, приспособятся ли их организмы. Разнополых людей отправили, дабы они могли размножаться, плодиться и заселять Венеру, то есть, пара – для размножения, а третий из органов, он должен был за ними приглядывать, чтобы всё было по правилам и без фокусов.

– И приспособились?

– Вот непонятно. Они слетали на Венеру. А тут умер Андропов и космонавты как-то сами что-то наладили у себя и сумели вернуться на Землю.

– А что ж они не рассказывают о своих приключениях?

– Один мужчина и одна женщина погибли при довольно странных обстоятельствах вскоре после возвращения на Землю. Второй же мужчина – парень из органов, который при них состоял. Его перевели к вам в Одессу. Скоро такие понадобятся родине.

– И я могу получить адресок?

– Знаешь, чёрт с ним, я напишу тебе адрес. Хотя на какую сделку с совестью иду! Я считаю, космос – это сегодня главное для человечества. Другое пусть останется в прошлом. Ради освоения других миров я готов пожертвовать всем.

И здесь повествование вдруг оборвалось. Мой собеседник в одесском кафе «Зося» пристально глядел на меня, создавая театральную паузу, – ах уж эта любовь к кривляниям простых завсегдатаев одесских кафе! Я же ждал смиренно продолжения. Пауза затягивалась. Я сдался первым, в какой-то момент не выдержал:

– Зачем же вы взяли адрес? Вы поверили в весь этот фантастический бред об освоении Венеры?

– Я не верил, но хотел верить. Лучше уж быть одуроченным, чем привязаться к обыденности, к рутине.

– И что же? Вы нашли советского покорителя Венеры?

– Да. Нашёл. Нашёл!

– В Одессе?

– Да, он живёт возле Пересыпского моста, в довольно грязном дворе, в неопрятной маленькой квартирке на ул. Богатова.

– Он живёт один?

– Нет. С крысами и тараканами... Я долго откладывал визит. Смутился, кто я такой, чтобы общаться с покорителем космоса? А тут ещё и чекист. Кто знает, какие последствия для меня, – вы просто посмотрите на меня, – могла бы иметь подобная встреча! Но в какой-то момент любопытство перевесило всё. Я нашёл место, указанное знакомым. Звонок не работал – торчали перерезанные провода. Я робко постучал в дверь. Мне открыл давно не мытый, похожий на половую тряпку толстый тип в семейных трусах. Я с удивлением заинтересовался его именем, – это был он! Выяснилось, что он давно спился и не способен вспомнить полёта на Венеру. Самого факта не припоминает, не знает было или не было. Сегодня его почти исключительно беспокоят цены на водку и портвейн. А голова его давно не функционирует.

– Может, просто притворяется... Конспирация. Скрывается, прячется, так сказать, в дерьме, на болотах?

– Да уж. Хотя, не знаю. Но в голове вдруг блеснуло, он – воистину человек будущего. Но вполне и из прошлого. Традиция – это важно. И она сохранена.

– Без прошлого нет будущего. Конечно. Нет ничего хорошего в утрате преемственности.

ИГОРЬ СЕРЕДЕНКО

ПРОБУЖДЕНИЕ

рассказ

1.

У каждого должна быть своя работа. Мне моя нравится. Я, можно сказать, живу ею. Вот за окном едва пробуждается рассвет, а я уже на ногах. Первым делом надо умыться, потом подышать первым утренним дыханием и увидеть первый луч, для меня он всё равно, что первый крик петуха, пробуждающий нашу деревню. Встаю я раньше петуха, но позже лесных птиц. Мне как лесничему ещё до пробуждения деревни предстоит обойти некоторые участки нашей дивной природы.

Во дворе ещё царствовали сумерки. Я бросил взгляд в сторону леса, там за горизонтом лениво поднималось солнце, окрашивая край лесистой долины в золотистые оттенки.

Странно, обычно Полкан встречал меня у калитки, чтобы сопровождать по лесным тропам. Наверное, спит, умаялся вчера, будить не стану.

Я вышел за ограду и в одиночестве побрёл по дороге. Дома, расположенные слева и справа от меня, были ещё в темноте. Обычно на повороте, с левой стороны, в это время загорался свет в оконце. Да, видимо, Фёдор, позже меня встанет. Наверное, вчера до заката работал в поле на своём тракторе. Приятно быть первым.

У высокого дерева, где справа тихо журчал ручей, огибая преграды, я свернул направо и пошёл по тропе вдоль спящего ставка. Рыбаков наших я не увидел. Неужели я и их опередил? Ну, не беда, на обратном пути, я их застану. Посмотрим, что они поймают.

По откосу я спустился на лужайку, где пасутся наши коровы. В темноте я обычно наступал в коровий помёт, но сегодня пронесло. Поднялся на холм и пошёл по тропе, ведущей к опушке леса.

Только сейчас я вспомнил, почему у меня такое приподнятое настроение. Ведь сегодня в пять я встречаюсь с Галей, этим прелестным цветком, наделённым карими глазами и чёрными, словно грива, волосами. Стройная, крепкая, быстрая, она мне напоминала молодую лошадку из нашего сельского табуна.

Ах, как чудесны эти вечерние зори, тёплые, нежные, когда мы с Галей прогуливались вдоль ставка, держа друг друга за руку. Никогда не забуду её чуть влажную ладонь, слегка сжимавшую мою руку. Я чувствовал её трепетное волнение, её тихий, но волнующий стук сердца. А стоит мне в такие минуты, когда мы наедине, посмотреть в её глаза, как она отводит свой взгляд, будто смотрела не на меня.

Я дошёл до колхозной фермы и с удивлением обнаружил, что деревянные ворота открыты. Кто же это забыл их закрыть? Или Иван опередил меня? Нет, этого не может быть. Вчера я расстался с ним у клуба, куда он спешил, чтобы погулять со своей Зиной. Я осторожно, словно вор, вошёл в ворота, заметив с ужасом, что петля соскочила и ворота наклонились. Что-то неладное случилось. Во мне уже пробудилась тревога, но, как ни странно, волнующие удары в груди я не слышал, наверное, моё сердце от страха спряталось. Я хотел взять в руки что-то подходящее для защиты, но ничего не нашёл. Лишь когда я подошёл ближе к конюшне, я понял, что и тут ворота кто-то открыл, да не просто открыл – выломал их, одна створка висела на петлице, другой вовсе не было. Только теперь я понял свою ошибку. Тишина, не было собаки, охранявшей конюшню и ржания лошадей, которое я всегда слышал, когда открывал ворота.

Внутри было пусто. Кто-то похитил весь табун, все пятьдесят голов породистых лошадей. Кто скажет председатель? У него большое сердце. Он с таким трепетом относился к своим любимцам. Для него лошади были частью жизни. Я обязан найти этих подонков, что похитили их. Я уже собирался выйти наружу, как вдруг заметил зияющую в крыше тёмно-синюю дыру. Ничего себе! Они пробили крышу и влезли внутрь. Довольно странное проникновение – не проще ли было сломать наружный замок? Нет,



здесь что-то не так, ведь замка-то я не обнаружил, а ворота разбиты. Пёс бы учуял и услышал удары и топот. Нет, здесь решительно что-то не так.

Я побродил по тёмным уголкам конюшни, пытаюсь отыскать хоть какой-то след. Когда я вышел наружу, солнце уже освещало загон. Я вернулся. Так и есть, на крыше дыра, огромная дыра. Кто ж такое сделал? Мой тревожный взгляд натолкнулся ещё на одно странное разрушение. Ограда была сломана в трёх местах. Кое-где и вовсе отсутствовали перегородки, ограждающие загон.

С большим беспокойством я вышел на тропу и быстро направился в сельсовет. По дороге надо зайти к Фёдору, нашему участковому, потом к председателю.

Какое же было моё разочарование, когда я, не решаясь войти в дом Федора, долго звал его, топчась на месте у калитки, а он так и не вышел. Председателя я тоже не застал, вернее, мне никто не открыл, никто ко мне не вышел, словно они куда-то ушли, забрав с собой свои семьи. Ладно, не буду будить.

В сельсовете никого не было, на дверях был замок, значит, Дуся, которая обычно поднималась раньше всех в сельсовете, чтобы освежить кабинеты, открыть окна, полить цветы и выпустить собаку, не пришла на работу. Ни собаки, ни уборщицы я не увидел. Я заглянул в окно. Ряды сидений в большом зале мирно покоились перед сценой, ожидая людей. Внутри было тихо. Я обошёл здание.

Никого не встретив, я решил зайти в бар, там всегда кто-то есть. Новость о пропаже наших лошадей должна пробудить даже пьяных. Но и здесь меня ждало разочарование, – бар был пуст. Я не любитель выпить, в последний раз я был здесь неделю назад, когда провожал соседа Сергея. У него родился второй сын, первый – ходил в школу, в третий класс.

Солнце уже поднялось так, что крыши домов озолотились.

Когда я свернул с переулка на дорогу, в надежде встретить односельчан, то не узнал дороги. Ещё три дня назад я шёл по ровному асфальту, теперь же я видел перед собой десятки колдобин и рытвин, словно ночью по ней проехала колонна тяжёлых танков, а потом её добротнo побило градом снарядов. Я растерялся. Я стоял с раскрытым ртом, с ужасом в глазах и безумием в мыслях.

Всё внутри меня переворачивалось в хаосе. Один вопрос зловеще мучил меня: что случилось, когда я спал?

Я увидел остановку и пошёл к ней. Я был здесь пять дней назад, когда провожал Гаю в город. Куда делись цветы вдоль дороги? Кто их вырвал? Я стал смутно догадываться, что этой ночью что-то произошло в нашей деревне. Я молча, почти с бездумным взглядом, смотрел на испещрённую выбоинами каменистую стену остановки: краска облезла, кирпичи местами разбиты, хотя объявления и надписи были на месте. Вот и моя надпись: «Гая», а напротив имени – сердце. Я сделал её пять дней назад, когда Галя садилась в автобус.

Машин не было, людей тоже. Всё это было до крайности странно, ведь солнце уже поднялось и заливало своими тёплыми весенними лучами всю деревню. Я вспомнил, что сегодня выходной день, конец недели. Но даже в такой день я должен был кого-то встретить на дороге.

Направляясь обратно к селу, я увидел собаку. Лохматая, бурая собачонка продолжала свой шаг и, словно не замечая меня, даже когда я её попытался приманить, скрылась в дыре ограды. Лишь ласточки радовались весенним тёплым лучам и цветению зелени, наполнявшей приятным благоуханием воздух. Утренняя свежесть и голоса этих ловких и грациозных пернатых немного успокоили меня.

Школу я застал в ужасном виде. И дело было совсем не в здании, оно по-прежнему стояло рядом с полем и рощей. Двухэтажное серое здание, запёртое и пустующее, навело на меня какую-то тоску, сжигающую мой интерес к жизни. Глядя на разбитые ступеньки у входа в школу, я вдруг почувствовал себя ужасно одиноким, брошенным всеми. Я вдруг с ужасом подумал, что эта трагедия произошла не с селом, а со мной. Изменилось не всё вокруг, а всё внутри меня.

2.

Мне уже незачем было сторожить лесные уголья от браконьеров, озёра от рыбаков, лошадей от воров. Всё это куда-то от меня ушло, стнило, растворилось во времени. Я ещё раз прислушался к природе. Отчётливо видел яркие краски весны, её свежее дыхание, ласточек, пикирующих в воздухе, ловя насекомых, стрекотню кузнечиков и певучих сверчков. Но, несмотря на эти душистые запахи и звуки природы, всё же чего-то не хватало. Я начал вспоминать: чего не хватало? И неожиданно вспомнил. Не хватало присущих деревне запахов: сена, коровьего навоза. Без этих запахов село безвкусно, мертвенно.

Я быстро встал и, как безумный учёный, которого осенила чудовищная догадка, направился к бли-



жайшему дому. Теперь я не стал звать или дожидаться хозяев, которые бы открыли калитку, вышли бы ко мне, впустили бы к себе в хату, как добрые соседи и приветливые хозяева. Я перелез через ограду и оказался во дворе. Ни свиней, ни коровы я не обнаружил, а ведь это была хата Степановых. Вера Степанова, сорокапятилетняя женщина, хвалилась тем, что её корова могла дать ведро молока. Я у неё каждую среду покупал два кубшина молока. Дом был заперт, окна закрыты ставнями. Куда она могла уйти, и зачем закрывать окна? Собаки также не было. Другие дома мне показались более запустелыми, не было ни птицы, ни скота, правда, иногда встречались коты и одичалые, пугливые собаки. Куда делись все люди?!

Шагая по утопленной сельской дорожке, я шёл вдоль оград, за которыми не было жизни. Теперь я это чувствовал. Я с ужасом поглядывал на заброшенные дворы, закрытые, одичалые и полуразрушенные дома, где вчера ещё кипела жизнь.

Я дошёл до деревянной церкви, где хозяином был тридцатидвухлетний молодой человек, дьяк Мирослав Дмитриевич. Он всегда ухаживал за садом, позади церкви, своими руками построил его. Сад порос бурьяном. Здесь я не был с месяц. Неужели наш дьяк забросил садоводство, которым так любил заниматься? У входа в церковь я увидел разбитую скамейку. Дверь была открыта.

Внутри церкви, в полумраке горело несколько свечей, а у алтаря я увидел женщину, склонившую голову и как будто читающую шёпотом молитву.

Я ещё ни разу не был так рад, видя человека. Я не один, а значит, это не безумие. Просто все куда-то ушли, прихватив с собой домашний скот. В моей всё ещё безумной голове роились мысли, не дававшие мне покоя. Я чувствовал, что здесь что-то не так. Разгадка была впереди, совсем близко.

Я тихонько, чтобы не прервать молитву, обошёл женщину слева и затаился во мраке у колонны, наблюдая за ней. Теперь я видел её сбоку. Она кого-то мне напоминала, видимо, кого-то из односельчан. Что-то похожее, какие-то знакомые черты, показавшиеся мне родными. На вид ей было сорок пять-пятьдесят, не больше. Я отчетливо видел морщины, скорбный вид её утомлённых и грустных карих глаз. Женщина стояла на коленях перед кровоточащим гипсовым Иисусом. Вдруг я вспомнил, что месяц назад, когда я был в церкви, то видел деревянного с позолотой, а не гипсового Иисуса. Мирослав ещё гордился тем, что в его церкви находилось распятие, которому было свыше трёхсот лет. А это мне казалось простым и хрупким, не вечным и не надёжным.

Я осторожно, чтобы меня не услышала женщина, – я боялся, что она исчезнет, как сон, – подкрался ближе к ней. Теперь я мог слышать её тихое бормотание.

– Я прошу тебя, защити нашу деревню, – говорила женщина, опустив глаза. – Я знаю, что ты не такой сильный, как прежний Иисус. Но раз ты в божьем храме, то Господь через тебя должен услышать мой голос. Я прошу не за себя. Я уже довольно настрадалась за свою жизнь, – женщина перекрестилась и продолжила, подняв морщинистые глаза на статую. – Почему ты оставил нас? Мы построили тебе церковь, мы заботились о природе, мы любили этот богатый край, мы любили жизнь. Они все ушли, покинули деревню... Да, я знаю... но ведь они не могли жить на этой земле, обескровленной, без зарплат и пенсий. Город брал всё, и давал взамен копейки, чтобы мы не умирали, а выживали. Первой дала сбой техника: комбайны и трактора сломались, у нас не было возможности купить новые детали; потом посредники – они выкупали за копейки весь наш урожай, не давая взамен равноценное, словно клопы – высасывали из нас кровь; затем доконали нас чиновники – не прислушиваясь к нашим просьбам, будто немые статуи. Нас окружила армия слепцов и глухих, равнодушных хитрецов.

Наша молодежь стала покидать нас, здесь для них не было будущего. Остались старики, доедавшие последнее, но и они стали умирать. Покупка дорогостоящих лекарств для них стала невозможной. Кто мог – уехал в город, оставляя свои дома и пустые дворы. Здания, без присмотра, стали разрушаться непогодой, дороги в нашу деревню, которая когда-то была лучшей в области и кормила город с излишком, давая людям мясо, молоко, яйца, колбасу, мёд, виноград, сало, пшеницу, масло, вино, фрукты, теперь исчезли, а сама деревня поросла бурьяном. Я последний житель! Я прошу тебя, сними с нас проклятье, помоги нам. Пусть люди вернуться в свои дома, пусть заведут скот, пусть здесь вновь появятся детские голоса, а поля покроются золотым урожаем, пусть чиновники в городе обратят на нас внимание, ведь без нас и им будет худо.

Женщина перекрестилась, поднялась с колен и развернулась, чтобы уйти.

Мне было жаль эту поседевшую, но ещё не старую женщину, всеми покинутую, обезумевшую, ибо я не поверил ей. Я решил выйти из укрытия, чтобы успокоить её. Но как только я готов был это сделать, я вдруг ясно, в свете солнечного луча, пробившегося сквозь высокое оконце в стене церкви и падающего под углом сверху на скамью, где рядом стояла эта несчастная, отчетливо увидел её бледное, исхудалое лицо, позолоченное солнечными лучами. От зловещего ужаса, внезапно охватившего меня, я вздрогнул,



внутри меня всё похолодело, я не мог пошевелиться. Её лицо хранило очень знакомые мне черты. Она напоминала мне Галю, но её лицо было покрыто морщинами. Этого не может быть! Мне трудно было поверить в то, что я увидел.

Женщина вышла из церкви, я, преодолевая свою слабость и душевные страхи, окутавшие меня, заставил себя пойти вслед за ней. Она обогнула церковь, прошла мимо поросшего бурьяном сада, подняла с земли корзину с грибами, собранными ею в лесу, и направилась по запустевшей аллее к кладбищу.

Следуя за ней и прячась за кустами и деревьями, я вспоминал, как когда-то с юной, прекрасной девушкой с карими глазами собирал в лесу грибы. Тогда прошёл дождь, утром в лесу было свежо, пели птицы, в воздухе благоухали цветы, а на сырой земле прятались меж деревьев крошечные гномики в шапочках, спрятавшись от нас под листвой, усеянной прозрачными жемчужинами росы. Я вспомнил её свежее, упругое, стройное тело, нежный взгляд, её девичий ласковый голосок, её тёплый и влажный поцелуй, который я не забуду никогда.

Мы вошли на территорию заброшенного кладбища. Она остановилась возле ухоженной могилы – единственной, где была чистота и порядок, цветы здесь регулярно менялись, они не успевали засохнуть. Женщина села у могилы, вынула из корзины цветы, которыми были усыпаны недавно собранные грибы, собрала их в букет и положила бережно в алюминиевую вазу, а старые, увядшие цветы, вынутые из воды, она забрала в корзину, положив их поверх грибов.

Я и сейчас не решился подойти к ней, ведь она изменилась. Да и она ли это? Я не был в этом уверен. Женщина встала, поправила юбку, платок на голове и пошла по аллее к выходу.

Снедаемый диким любопытством, я подошёл к могиле, где только что сидела эта женщина, отдалённо напоминавшая мне мою девушку. На могильной дощечке я не увидел ни фамилии умершего, ни дату его смерти. Неровными буквами там были нацарапаны знакомые мне слова, которые когда-то ласково говорила мне Галя: «Зеленоглазый кузнечик».

Я НЕ ПЕРВЫЙ!

рассказ

Два бестелесных ангела остановились перед планетой, имеющей спутник. Эти два лёгких, прекрасных и чистых создания перемещались по Вселенной в сфере, способной перенести их в любую точку безграничного космоса со скоростью мысли. Что-то их привлекло и манило к этой загадочной планете, рядом с которой они парили, подобно лёгким облакам?

– Вот эта голубая жемчужина, – сказал ангел, которого звали Изо, – а рядом с ней её белый спутник. Вы её вспомнили, Дир?

– О, Изо, вы пробудили во мне нечто давно уснувшее.

– Что вы чувствуете к ней? Какие воспоминания она возвращает вам?

– Нет, Изо, не пытайтесь, я многое повидал во Вселенной и многие развлечения испробовал. Помню лишь, что эта планета называлась... не то Земля, не то Вода.

– Совершенно верно, она называлась Земля.

– Да, вспомнил. Говорят, что стоит побывать в её тёплых и нежных лучах, как некоторые приятные воспоминания могут вернуться. А стоит лишь нам опуститься в её объятия...

– Вы имеете в виду её поверхность?

– Да, так можно вспомнить и некоторые подробности жизни на ней, – сказал Дир. – Но для этого нам надо войти в цилиндр и принять тело, физическое тело... – он задумался, – как называлось оно? Не могу вспомнить. Вы не помните? – он сосредоточил всю свою энергию мысли. Его взгляд пронзал планету насквозь, видел зелёные берега, голубые просторы океана, снежные шапки величественных гор, и вдруг ему показалось, что он вспомнил:

– Человек, – неуверенно произнёс Дир, поглядывая на, казалось, равнодушного Изо.

– Человечество, – добавил Изо. – Это сообщество называло себя человечество.

– Да, да, вы правы, Изо, – согласился Дир. – Меня искушает соблазн.

– Меня тоже.

– Я слышал, что эти существа, называющие себя людьми, уже давно исчезли с планеты, каких-нибудь два-три световых года назад. Жаль, не правда ли?

– Вы правы, Дир, но мы можем отправиться на аналогичную планету, где обитают существа подобные этим. И испытать те чувства, что и они.

– Это заманчиво, но сейчас у меня другие планы. Лет через сто, пожалуй, можно отдохнуть и развлечься



среди таких существ, почувствовав тот миг, который эти бедняги живут всю свою жизнь, – сказал Дир, всматриваясь в эти отдалённые, чарующие уголки Земли. Его глаза загорелись мимолётным желанием, что не ускользнуло от Изо.

– Тогда, если вы не против, давайте опустимся на эту голубую планету, говорят, что на ней ещё есть жизнь.

– Жаль, что нельзя сохранить воспоминания, которыми наполняется мозг людей, – сказал Дир. – Ведь эта память стирается вместе с утратой тела.

– Да, жаль, – согласился Изо, – тем и привлекательна эта живая плоть. Незнание – вот, что притягивает наше любопытство. А насчёт памяти я с вами согласен. Казалось, всё бы отдал, только бы унести с собой из этого мига жизни хоть крупицу воспоминания, хоть бы один кадр, одно ощущение.

– Это опасно, Изо, ведь материя, говорят, имеет побочные эффекты. Она сладостна, но она впитывает в себя отрицательную энергию, с ней мы тяжелеем и становимся неподвижными.

– Вы это пробовали? – спросил Изо.

– Разумеется, нет. Но я слышал об этом.

– О таких случаях?

– Нет, все, кто возвратились, не сохранили этой чёрной энергии. Разрушение материи приводит к потере памяти и освобождению нашей бессмертной, чистой души. Но там, в грязи, среди этих тел, есть вторая сторона существования, пробуждаемая лишь с приобретением тела.

– Вы меня заинтриговали. Не лучше ли испытать это сейчас, хоть на один раз? – предложил Изо.

– Что ж, я не против, – согласился Дир. – Но вряд ли мы кого-то встретим, эта планета уже пуста много миллионов земных лет.

– Но может нам удастся что-то вспомнить?

Они оба ещё раз взглянули на мерно вращающуюся голубую планету, так манящую их. И они поддались искушению.

Войдя в цилиндр, они выбрали по прекрасному образчику забытого человеческого рода. Опустившись на поверхность, они вышли из сферы. Место, где они приземлились, казалось, пустынным: камни, песок, вдалеке на холме виднелась зелень. Их прекрасные обнажённые мужские тела ласкал тёплый ветерок, в воздухе чувствовалась свежесть, солнце периодически пряталось за тёмными облаками, где-то раскатами гремел гром. Несколько птиц пролетело над их головами.

– А здесь, похоже, ещё теплится жизнь, – заметил Дир.

– Это неразумные существа. Люди, чьи тела мы приобрели, уже исчезли, оставив после себя, быть может, какие-то полуразрушенные, полуистлевшие строения.

Жизнь, казалось, здесь протекала очень медленно и незаметно для бурь и изменений Вселенной. Они пошли по песчаной долине к зелёному холму, и спустя время оказались среди засохших деревьев, уже мёртвых, но низкорослые кустарники и вьющиеся растения, овивающие окаменелые вековые деревья, всё ещё отдавали свежестью зелени, всё ещё не сдавались, боролись за существование. Среди таких полуссохших зарослей они обнаружили развалины: две стены ещё держались, испещрённые выбоинами и многочисленными трещинами, крыши не было, внутри такого развалившегося строения природа сотворила горку камней, уступами поднимавшихся к давно исчезнувшей крыше.

– Они когда-то жили здесь, – сказал Дир, усаживаясь на один из камней, лежащих у основания каменной пирамиды.

– Что вы чувствуете? К вам вернулись хоть какие-то воспоминания? – спросил Изо, с любопытством поглядывая на Дира.

– Люди, много людей... вот здесь, где вы стоите... О! Они повсюду.

– Кто?

– Люди, их десятки, нет, сотни тысяч.

– Вы везунчик, а я ничего не чувствую, – признался Изо. И с завистью искущённого гурмана посмотрел на Дира. – Ну же, расскажите, прошу вас. Что вы вспомнили? Эти воспоминания могут быть урывочными, а могут быть и целыми эпизодами жизни человека. Вы ведь тут были, вспоминайте! Может, тогда и я кое-что вспомню.

Дир стал сосредотачивать свою человеческую память, закрыв глаза.

– Толпа, огромная... нет, море людей, – произнес Дир. Его зрачки тревожно бегали под опущенными веками, ухватывая малейшие кадры из памяти и склеивая их в единую картину. – Это превосходно. Они все вместе, дружны, я вижу улыбки на их лицах. Они что-то кричат... Кажется, «Слава!». Да, они кого-то



прославляют. Вижу какое-то возвышение, помост, и на нём несколько человек. Все замолчали и слушают их. О! Как любопытно...

– Что? Что вы видите? Скажите! – настаивал Изо.

– Без сомнения, это...

– Кто?

– Это вы! Да, я вижу вас. Вы стоите на этом помосте и что-то говорите всем этим людям. Вы... о, нет, не может быть...

– Что, расскажите, я стораю от нетерпения. О! Как я завидую вам, – сказал Изо, подходя к Диру.

Неожиданно он увидел среди камней, застывших за спиной Изо, крошечное насекомое жёлтого цвета. Насекомое уже подползло к плечу Изо и стало медленно подниматься по его спине. Но Дир, похоже, не чувствовал этого и продолжал невидимым взором наблюдать ясные картины из прошлой жизни человека, в теле которого когда-то пребывала одно мгновение вечности его душа.

– Вы народный избранник, – сказал Дир.

– Народный? Этот как? – удивлённо спросил Изо.

– Это человек, которому все люди, весь народ доверяет.

– Даже свою короткую жизнь?

– Да, и её тоже. Разве это не прекрасно? Эти люди чисты в своих помыслах, как и мы. Может то, что нам известно о материи – лишь сказки, что бы отпугивать нас от неё. О, я вижу счастье в их лицах. Вы что-то им говорите и они радуются этому.

– Но что я говорю им?

– Вы... вы, кажется, обещаете... нет, клянетесь собственной жизнью, что их жизнь станет легче, прозрачней, лучше. Вы поистине святой человек! Вы им всё это хотите дать. Вне сомнения, все они счастливы, они произносят ваше имя.

– Что ж, я всегда знал, что на Земле так же хорошо жить, как и на других планетах. Значит, всё это...

– Нет, не может быть... – в ужасе произнес Дир, его тело содрогалось от какой-то ужасной боли. Глаза были по-прежнему закрыты.

Крошечное жёлтое насекомое, схожее с жёлтым скорпионом, ужалив Дира за шею, спрыгнуло на камень и скрылось в трещине, оставив на теле Дира крошечную красную точку.

Изо увидел это, но не подошёл к уже лежащему на песке Диру, которого скрутило. Несмотря на жгучую боль, он всё ещё держал глаза закрытыми, а память открытой, чтобы не упустить ни одного кадра.

– Что случилось?! – спросил Изо, спокойно наблюдая за содрогающимся телом.

– Огонь, смерть, кровь, страдания... одни люди убивают других. Этого не может быть!.. они рвут друг друга на части, сколько ненависти я вижу в их глазах. Но... но где же... где вы, я вас не вижу среди них... вот, кажется, нашёл вас... Нет, этого не может быть! Я не верю... – его слова внезапно оборвались, он издал душераздирающий крик и умолк, его тело застыло, он был мёртв.

Изо подошёл к труп и легонько пнул его ногой, словно не веря, что тело мертво. Убедившись, он развернулся и пошёл обратно, к сфере.

Начал накрапывать дождь, ветер стих и лишь шум лёгкого дождя что-то зловеще нашептывал. Дир спокойно шёл босиком по мокрой земле, разговаривая сам с собой.

– А они действительно ошиблись, полагая, что те человеческие пороки, из-за которых они так боятся чёрную энергию, так вредны и ужасны для нас. Я этого не испытал, когда, проснувшись в цилиндре, обнаружил, что память моя несколько не стёрлась.

Почему они их так побаиваются, даже стёрли их названия: честолюбие, самолюбие, величие, тщеславие? Это великолепно, когда чувствуешь своё превосходство над другими, себе равными! Теперь я знаю, что могу превзойти их всех, и... – он сладостно улыбнулся самому себе за догадку, – покорить, возглавить и, при этом, царствовать во славе всю вечность, ведь я бессмертен.

«Главное теперь, – подумал он, – это избавиться от этого тела. Бессмертному оно ни к чему».

– Хорошо, что я такой один. Я первый, кто сохранил память, умерев здесь когда-то, а вместе с этим сохранил и все достоинства материального мира.

Он поднялся на холм, но к своему удивлению, за ним он не обнаружил сферы. На её месте он к ужасу увидел лишь лёгкий след от корабля. Сфера улетела.

– Нет, этого не может быть! – закричал он в безумии, сжимая от злости кулаки и падая голыми коленями в лужу. Вдруг его осенила чудовищная догадка:

– Я не один такой. Я не первый, кому так повезло – сохранить память тёмной энергии Земли. Я не первый! – с лютым ужасом простонал он.



ПРЕДАННОСТЬ

рассказ

1.

– Это где-то на посёлке Таирова? – спросила София, молоденькая женщина, брюнетка, лет двадцати семи, садясь в «гойоту» на переднее сиденье, рядом с водителем.

За рулем сидела её подруга, крапённая в рыжий цвет женщина лет тридцати пяти с большим бюстом. На её пальцах блестели два золотых кольца с красным и зелёным камнями, которые сразу же бросились в глаза Софии.

– София, привет! – раздался голос мужчины.

Молодая женщина обернулась.

– Миша, ты уже здесь?! – приятно удивившись, сказала София. – Как жена?

Машина поехала.

– Спасибо, отлично, – ответил Михаил, держа в руках какой-то небольшой предмет, запечатанный в плотный пластиковый кулёк.

– Надеюсь, это не очень далеко, – сказала София, разглядывая кольца на руке подруги, которая управляла машиной.

– Минут двадцать, если пробок не будет, – ответила Арина, останавливая машину на перекрестке перед светофором.

– Миша, а что это у тебя в руках, если не секрет? – спросила София, не оборачиваясь.

– Не секрет, – ответил Михаил, – сегодня приобрёл в одном магазине. Для дочери. Точнее, для нашего спаниеля. Это ошейник с поводком.

– Можно взглянуть?

– Да, прошу, – он передал брюнетке покупку.

– Это что, кожа? – спросила молодая женщина, повертев запечатанный товар.

– Да, настоящая. Я давно собирался купить его. Старый оборвался.

– Надеюсь, он удержит твоего спаниеля и в руках будет удобен, – улыбаясь, София вернула запечатанный пакет. – Сколько же ты за него отдал?

– Около тридцати долларов.

– Ого! – удивилась молодая женщина.

– Ради любимца можно пойти и на такую скромную трату, – заметила Арина, нажимая на газ. – Во всяком случае, это ничто по сравнению со стоимостью Акита-ину.

– Не терпится мне посмотреть на неё, – сказала София. – Я у подруги узнала, что Акита-ину стоит около тысячи баксов. Это правда?

– Это очень редкая порода. Сейчас её цена в среднем достигает двух-трёх тысяч.

– Арина, а как ты адрес узнала? Хозяева обратились? – спросил Михаил.

– Нет, Владимир Петрович дал, но с хозяевами он не знаком. Щенку почти три месяца, – ответила Арина, совершая маневр с одной полосы на другую, увеличивая скорость машины. – С его родителями он знаком. Говорит, отличные собаки, кобель с белой шерстью, а сука – рыжая, красная шубка.

– Интересно, какой получится малыш? – сказала София.

– Скоро увидим.

– Я хотела бы его родословную почитать, ты говорила, что у него в роду есть японцы.

– Почти все японцы, – ответила Арина, – дедушка из Кореи, но и он чистокровный Акита.

– А что это за порода? – спросил Михаил. – Я лишь на фото видел. Но меня интересует характер этой собаки. Не злобная? Меня это интересует, как психолога.

– Хм, прежде всего, это служебная собака, – начала Арина, – это умная, сдержанная, мужественная, благородная и преданная хозяину собака.

– Ого! – удивился Михаил, – все эти качества хороши. Каждое в отдельности даже для человека редки, но в совокупности...

– Её взгляд, осанка, походка – источают благородство, – продолжила Арина, – эта порода признана национальным достоянием.

– Я тебя, Арина, слушаю, и уже сама захотела эту собаку, – сказала София.

– А что-нибудь из истории ты можешь рассказать? – спросил Михаил. – Эта порода восточная?

– Говорят, что родом она из Северной провинции острова Хонсю, – ответила Арина. – Причём



Акита – это какая-то горная провинция, а Ину – это по-японски означает собака. Она относится к четырнадцати самым древним породам мира. Говорят, что есть даже античные рисунки с её изображением. На раскопках в Японии был обнаружен скелет этой собаки. Специалисты утверждают, что его возраст около двух тысяч лет, представляете?

– Ничего себе! – удивилась София. – Откуда ты всё это знаешь?

– От нашего босса, Владимира Петровича. Миша, ты же с ним в приятельских отношениях?

– Да, он мой друг, но он мне ничего об этом не рассказывал.

– Понятно, да я два дня назад узнала от него, в офисе.

– Ну, расскажи мне ещё что-нибудь об этой породе, – не выдержала София. – Ты меня заинтересовала, может, заведу и буду разводить эту породу.

– София, ты же знаешь: к этому надо подходить серьёзно и ответственно, – сказала Арина.

– А разве я не серьёзная молодая женщина, – улыбаясь, ответила София.

– В Японии даже было создано общество сохранения Акита-ину. Они следят за чистотой этой породы, чтобы её не скрещивать с другими собаками.

– Я так и буду делать, не сомневайся.

Арина бросила на подругу один из тех взглядов, который понятен лишь женщинам. В этой едва заметной улыбке и прищуренному взгляду можно было прочесть недоверие, иронию, чопорность и любовь к подруге.

Подруга выдержала взгляд, простодушно пожала плечами и сказала:

– Пожалуйста, что-нибудь ещё.

– Её внешность сочетает в себе волка, медведя и лису...

– Да... пожалуй, – сказал вдруг Михаил, – это видно по фотографиям. Но что известно о самой собаке? Как её такой воспитали?

– Ты, Миша, имеешь в виду её богатые качества? – спросила Арина.

– Да, мне интересно, кто её такой сотворил. Например, немецкие овчарки были созданы для службы, отсюда и характер и повадки этой породы, шотландские овчарки когда-то охраняли и пасли овец в горах, пудели – ловили рыб на мелководье, лайки – помогают людям в сложных погодных условиях севера. А для чего была создана эта порода – Акита-ину?

– Я поняла тебя, Миша, дорогой ты наш психолог. Ты, конечно, должен об этом узнать у твоего друга и нашего босса, Владимира Петровича. Но кое-что он мне рассказал об этой породе.

– Мы слушаем с нетерпением, – сказала София, заглядывая в зеркальце, которое вынула из сумочки.

– Их предпочитали отважные самураи. Как я вам уже сказала, эта порода была выведена и долгое время сохраняла свои корни в Японии. Собаки этой породы смелы, послушны, сдержаны. Их использовали для охраны императора.

– О! Это уже интересно, – сказала София, закрывая зеркальце и пряча его в дамскую сумочку.

– Эти собаки были домашними любимцами у государственных деятелей, знати и членов королевской семьи. Признаны чистопородной, без примеси. В общем, это элитная собака. В Японии даже был издан закон: человек, обидевший или убивший эту собаку, подвергался суровому наказанию.

– Как священное животное, – сказал тихо Михаил.

– Что? – спросила София, не расслышав.

– Да так, ничего. Арина, продолжай, пожалуйста.

– Кормление такой собаки, как вы понимаете – это особая церемония, – продолжила Арина, сворачивая в густонаселённый микрорайон, где повсюду громоздились высотные дома. – У каждой такой собаки был личный слуга. Для Акита-ину изготавливался специальный ошейник. По этому ошейнику можно было определить ранг собаки и социальный статус человека.

– Интересно... – произнесла, задумавшись София, – но мне лично эта собака напоминает русскую лайку.

– Глупости, – возразила Арина, поморщив симпатичный, курносый носик, – ничего общего они не имеют. Я знаю, что прародительницей Акита-ину была китайская пшинеобразная собака, смешанная с кровью мастиффов.

– Я так и чувствовала, что здесь не обошлось без благородных мастиффов, – с какой-то нескрываемой гордостью сказала София. – Теперь я больше её хочу. Сегодня ночью я вряд ли усну, ты меня знаешь.

– Арина, а известны какие-нибудь легенды об этой собаке, колы её род такой древний? – спросил Михаил.



– Да, Миша, тебе повезло. Владимир Петрович мне как раз такой рассказал. Только это не миф, а реальная история.

– Арина, пожалуйста, расскажи нам, – взмолилась молодая девушка.

– Ну, хорошо, слушайте. Это произошло в начале двадцатого века. Один японский профессор приобрёл двухмесячного щенка Акита-ину. К сожалению, я забыла, как он назвал собаку.

– Да это неважно! Ну, и что дальше? – спросила София, вся горя желанием услышать живую историю.

– Профессор ухаживал за любимцем, кормил его. А когда пёс подрос и ему исполнилось полтора года, начал брать его с собой до станции, где он садился на поезд, а собака возвращалась домой. Собака провожала хозяина на работу целый год. Но однажды хозяин не вернулся домой, потому что он умер.

Собака же целые одиннадцать лет, каждый день приходила на станцию, и там ждала своего хозяина. Когда пёс умер от тоски по хозяину, жители, видя преданность этой собаки, сбросились средствами и построили собаке памятник. Вот такая печальная история.

Глаза Софии увлажнились, она вынула зеркальце и салфетку из сумочки, протёрла глаза и взглянула на себя, – не растеклась ли тушь на ресницах. От переживаний, которые были вызваны этой историей, она ни слова не могла вымолвить. Вместо неё сказал Михаил:

– Да, интересный случай, – только и всего заметил мужчина.

Машина свернула с главной дороги, проехала несколько кварталов по узкой полосе и остановилась у серого, невзрачного девятиэтажного дома.

– Мы приехали, – сказала Арина, оборвав тишину в салоне, – академика Глушко, дом двадцать шесть, девятый этаж.

Все трое вышли из машины, и подошли к открытой парадной.

– Слава богу, что здесь нет кода, – заметила Арина.

София, как будто только проснулась, какими-то сонными глазами, где пробудилось крайнее удивление, уставилась на потрёпанную деревянную дверь.

– Это же надо! – произнесла она. – Не может быть. Ты куда нас привезла?

– По указанному адресу, – ответила Арина, понимая, что имеет в виду подруга. Она вынула из сумочки блокнот и ещё раз проверила запись. – Да, всё верно. Но... – она с каким-то подозрением, переплетённым с недоверием, осматривала многоэтажку. – Но, может это только внешне.

– Надеюсь.

Михаил ничего не сказал, он открыл дверь и пропустил вперёд дам.

– Удивительно, что лифт здесь работает, – сказала София с отвращением, перемешанным с безгливостью. Она с ужасом осматривала стены парадной, общего коридора, где местами полопалась краска, почтовые ящики висели под углом, словно они вот-вот отвалятся, а в воздухе был слышен терпкий запах мусорных отходов.

– В этих блочных домах, которые называют чешками, лифт почти всегда исправен, – сказал Михаил, – хотя лет десять назад в этом районе были проблемы с ними. У меня здесь знакомый живёт.

София бросила на Михаила какой-то недоверчивый взгляд, скривив розовые губки.

Мужчина нажал на кнопку, открылась дверь лифта. Тройка вошла, внимательно рассматривая настенные надписи, сделанные, по-видимому, детворой.

– Ну и ну, – только и вымолвила София. Она вся напряглась, в глазах витало волнение, когда лифт тронулся, издавая какой-то гул с подозрительным скрипом. Когда кабина остановилась, и дверь медленно открылась, издавая тот же скрип и жужжание, София, которой десятисекундный подъём показался вечностью, выбежала на площадку первой.

– Фу, слава богу! Вы как хотите, но обратно я пойду по лестнице.

Над их головой, очевидно, на чердаке, что-то загромыхало, застучало и кабинка, закрывшись, стала опускаться.

– Не бойтесь, кто-то вызвал лифт снизу, – успокаивал мужчину, видя, как волнуются женщины.

– Это здесь, – указала на коричневую, деревянную дверь Арина, глядя на номер квартиры.

Они подошли к двери, и Арина нажала на звонок – маленькую зелёную кнопку.

– Ты уверена? – спросила София, поглядывая на подругу.

– Да, София, успокойся, – ответила ей Арина твёрдым голосом. – Сейчас узнаем, – добавила она, отходя на шаг к Софии. Михаил стоял позади дам.



Они ожидали чего-то страшного, но то, что они увидели, было для них полной неожиданностью. В двери щёлкнул замок, она отворилась, и перед ними возник молодой, шуплый мужчина в очках, среднего роста, лет тридцати с небольшим и пробивавшейся лысиной на темени.

– Здравствуйте, – начала разговор Арина, – это вы Пётр Анатольевич?

Два рассеянных карих глаза, увеличенных в стёклах, изучающе посмотрели на потревоживших мужчину людей.

– Пожалуйста, входите, – любезно сказал мужчина, – я совсем забыл, – он отошёл в сторону, пропуская тройку. – Вы Арина Вишневецкая. Это вы мне звонили дня два назад?

– Да, это была я, Пётр Анатольевич.

– Я помню, что к нам должна была прийти комиссия из клуба собак.

– Из общества домашних любимцев, – поправила его София.

– Пожалуйста, проходите на кухню, – предложил Пётр, почёсывая нос, и поправляя очки.

Дверь захлопнулась, последний вошёл Михаил, внимательно осматривая тесный коридор, где едва уместились четверо людей.

– Можете не снимать обуви, – любезно предложил Пётр. Его внешность, голос и речь выдавали в нём интеллигентного человека.

В коридоре стояло несколько шкафов, забравших в нём несколько квадратных метров. Михаил заметил слетевшую с верхней петли, покосившуюся дверцу верхнего отделения шкафа, несколько тёмных пятен на дверцах, местами отошедшие от стен обои того же белого цвета, что и мебель. Дверца одного из узких шкафов, где было прикреплено зеркало, не была плотно закрыта, один ящик в шкафу, по-видимому, плотно не задвигался и, переполненный каким-то мелкими вещами, немного был перекошен. На полу лежал линолеум, потёртый. На его стыках виднелся цементный пол. В двери одной из комнат, где должно было быть прямоугольное стекло, неумело была прибита гвоздями фанера, плотно не прилегавшая к ней. Обстановка квартиры была убогой, везде требовался ремонт.

На кухне, куда вошли гости, на столе стояла чашка кофе и тарелка с яичницей, видимо, молодой человек не то завтракал, не то обедал. Здесь также были надорваны обои, местами свисали, а местами вздулись. Деревянная рама в окне была внизу засаленной, верхний угол стекла был с трещиной. Между мойкой и кухонным столом прошмыгнул коричневый таракан и скрылся в глубинах кухонной утвари. Неумело постеленный на небольшой кухне – метров семь, линолеум местами отставал, а местами отсутствовал.

Мужчина приветливо предложил дамам сесть на стулья без спинок, но женщины, поморщив симпатичными носиками, любезно отказались.

– А где собака?! – почти задыхаясь от не то волнения, не то презрения, не то отвращения, спросила Арина.

– А, он здесь, – простодушно произнёс Пётр, поглаживая висок, – под столом. Обычно он спит в комнате сына, но сегодня...

– Где?! – превозмогая крайнее удивление, вызванное в ней нелепой и нищей обстановкой квартиры, произнесла София, держась за грудь.

Женщины осторожно присели, склонив на бок головы, чтобы заглянуть под стол. Там действительно в картонной коробке, очевидно, из-под обуви, на старом тряпье, бывшем когда-то не то юбкой, не то футболками, лежал на боку рыжего окраса с белыми пятнышками на мордочке и лапках очаровательный щенок и мирно спал.

Женщины в ужасе и крайнем изумлении переглянулись. Возмущение, разогревавшееся внутри них, словно в печи обуглившийся картофель, застряло, не давая возможности им сказать что либо. Справившись с собой, они встали, ещё раз посмотрели друг на друга, словно не верили, что они существуют или всё ещё находятся в реальном мире.

Первой не сдержалась Арина, её дыхание участилось, в словах было заметно волнение, вызванное крайнем возмущением.

– Боже! Какой ужас! – произнесла она, – я не верю своим глазам.

– А это действительно щенок Акита-ину? – спросила София, никогда не видевшая живую эту породу собак.

– Да, кажется, так сказал мой знакомый, у которого родилось четыре таких щенка, – простодушно, не задумываясь над словами женщин и не обратив внимания на их покрасневшие лица, сказал молодой человек. Он лишь потёр лоб, поправил очки, и пододвинул стул к Арине.

- Присаживайтесь, я угощу вас чашечками кофе или... – сказал молодой человек.
- Нет уж, спасибо, – отозвалась Арина, перебивая молодого человека. – Он давно у вас?
- Кто?
- Шенок.

– А, нет, относительно... – молодой человек пытался вспомнить число, – около трёх недель, кажется. Вы знаете, я каждый день хожу на работу... – только теперь он разглядел уже бледные лица молодых женщин, – щенок очень красивый. Мне сказали, что вы... – продолжил он неуверенным голосом, – хотите посмотреть его... Кушает он регулярно, гуляет...

- Откуда вы знаете, как он... – не выдержала София, – вы же каждый день на работе?
- Ну, я возвращаюсь вечером, – осторожно сказал Пётр, глядя на Софию каким-то виноватым взглядом напугавшего школьника.

Несколько капель воды выглянуло из крана и упало в раковину. Это заметила Арина.

– М-да, – многозначительно и с нетерпением произнесла София. – В Японии за ним лучше бы приглядывали, – она посмотрела за реакцией подруги. Та намёк поняла.

– В Японии? – удивился Пётр. – А вы будете чай или кофе? – спросил он Михаила, который был внешне спокоен и ещё ни слова не проронил.

– С удовольствием, чай, если можно, – неожиданно для женщин согласился Михаил.

– Моя жена и ребёнок с ним, – сказал Пётр, поднимаясь и подходя к чайнику.

– А где они? – спросила Арина, глядя на подругу, которая взглядом предлагала ей обследовать всю двухкомнатную квартиру.

– Должны скоро прийти, они у мамы, – пояснил Пётр, наливая чай в чашку и ставя её перед Михаилом.

– Я смотрю, что у вас рамы не плотные, – заметила Арина, – зимой, наверное, сквозит?

– Да, бывает, немного, – согласился Пётр.

Михаил сел за стол, словно его это не касалось, и стал совершенно спокойно похлёбывать из чашки, где поднимался пар.

– У щенка должен быть мягкий домок, с утеплённым полом, – не выдержала София.

– Хм, по-моему, ему и так не плохо, – ответил Пётр.

– Это вам не плохо, а щенку нужен особый уход. Вы его хоть выгуливаете? – спросила Арина с иронией.

– Да, конечно, иногда он ходит на балкон, там у нас для него место для этого есть.

– Ужас, – только и вымолвила София.

– А кормление? – спросила Арина.

– Да он особо непривередлив, – ответил Пётр.

– Непривередлив, – как вам это? – возмутилась София, не пытаясь сдерживаться от эмоций переполнявших её чувствительное сердце.

Арина, видя, что хозяин не понимает, решила внести ясность:

– Вы хоть понимаете, что это особая японская порода. Вам предстоит обучать её. Нужно прививать её: первая вакцина – в десять дней от рождения, вторая – в двадцать восемь, третья – в год и потом ежегодно.

– Её первый хозяин привил, – ответил на это молодой человек, опускаясь на стул и соображая, к чему клонят эти две женщины.

– А прогулки – два раза, минимум по два часа, – продолжила натиск Арина. – Это для физических нагрузок, чтобы она не набрала лишнего веса и не стала ленивой.

– Да я и сам не гуляю столько ежедневно, – возразил молодой человек. – А лень мне только на пользу идёт, – сказал он, глядя в глаза Михаила, который его понял.

Но Арина не поняла иронию и продолжила:

– Собаке нужен сложный уход: вычёсывать шерсть два раза в неделю.

– Специальной щёткой и рукавичками, – поддержала её подруга, с возмущением глядя на молодого человека и удивляясь его спокойствию и равнодушию.

– Купать лишь специальными моющими средствами, – продолжила Арина, – шерсть надо хорошо просушить феном.

Пётр вспомнил, что у них нет фена, а старый, поломанный, где-то валяется на шкафу в одной из комнат. Он уже забыл, когда жена им пользовалась.

– К его питанию надо отнестись особо, – сказала Арина, пробуждая молодого человека от воспоминаний, – ответственно и внимательно. Ни в коем случае не кормить собаку с вашего стола.

– Да? А я частенько ему даю кусочки со стола и вы знаете, он не жаловался. Кстати, это единственное, чем можно его задобрить.



На последнюю фразу женщины не обратили внимания, но она не ускользнула от психолога, внимательно слушавшего и изучавшего.

– Кормить его нужно сухим сбалансированным кормом, – продолжила Арина.

– Вы что, отравить его хотите?! – возмутилась София.

Михаилу показалось, что если бы его и Арины здесь не было, то София набросилась бы на молодого человека, как проголодавшаяся тигрица.

– Ему ваша пища не подходит, вам же говорят! – сказала София, поглядывая на подругу.

– Что же, по-вашему, он ест? – спросил Пётр, поглядывая сквозь очки на Арину.

– Нежирный творог, кефир, постный кусок мяса, овощной бульон, чистая и свежая вода, – сказала Арина, поглядывая в небольшое пустое блюдо, лежащее у ножки стола, рядом с коробкой, где спал щенок.

– Вы хоть воду меняете? – спросила София, проследив взгляд подруги.

– Конечно, меняем, – ответил Пётр, почёсывая нос.

– У него же нет воды в блюде, – заметила Арина.

– Да, в самом деле, наверное, выпил. Я налью. Ест он хорошо.

– Не сомневаюсь, – сказала София тоном, который отражал сомнение.

– И корм у нас есть, он в шкафу.

– Надеюсь, он со специальными добавками.

– С добавками? – удивился Пётр. – Не знаю, корм для собак, какой продают в зоомагазинах.

– Эти добавки нужны для хорошего роста собаки и здоровой шерсти, – пояснила Арина.

– Ясно.

– А мне не всё ясно, – сказала София, уводя подругу в коридор. – Вы позволите осмотреть всю квартиру, где обитает щенок?

– Да, пожалуйста, – приветливо сказал молодой человек.

Женщины проследовали в коридор, открывая двери то в туалет, то в ванную, посекундно охая и ворчливо, негативно выражаясь. Осмотрев санузел, от которого парочка, привыкшая жить и видеть лишь комфорт и евроремонт, была в ужасе, дамы с опаской вернулись в коридор, откуда осторожно заглянули в комнату, приоткрыв дверь.

Мужчины остались одни и невозмутимо наслаждались чаем. Первым заговорил Михаил, выводя хозяина квартиры из раздумий.

– Скажите, Пётр...

– Анатолевич.

– Пётр Анатолевич, вы где работаете?

– В школе, преподаю географию, девятый и десятые классы, – ответил Пётр.

– Вы школьный учитель.

– Да, совершенно верно.

– Скажите, а как к вам попал этот щенок?

– У меня есть ученик из десятого. Я готовил его по своему предмету. А он мне предложил щенка, сказал, что он очень красивый.

– Вы знаете, что это необычная собака?

– Вы имеете в виду, что она дорогая, породистая?

– Да, это редкая японская порода. Таких собак в городе очень мало.

– Кажется, он что-то говорил такое, но, сами понимаете, дарёному коню в зубы не смотрят, – ответил Пётр. Моему сынишке недавно исполнилось девять лет. Я и решил ему подарить его.

– Что ж, отличный подарок, – улыбнулся Михаил.

– Да, я тоже так думаю, и вы знаете...

В этот момент вошли женщины, у которых на лицах Михаил прочитал какое-то сложившееся решение, которое они вывели для себя, делая осмотр квартиры.

– Ты ещё балкон не видел, Миша, – выпалила Арина.

– Там какие-то доски, ржавые инструменты, – добавила София, почти задыхаясь от волнения.

– Да, понимаете, там я держу... – решил оправдаться Пётр, но в этот момент едва послышалась какая-то возня под столом и слабый визг.

Арина жестом прервала пояснения молодого человека. Женщины осторожно и с любопытством, проснувшись в них, подошли к столу, и присели на корточки. Щенок чёрными глазками уставился на женщин, потом завизжал и сел в своей коробке, не отрывая взгляда от новых лиц.

– Привет, маленький, – ласково сказала София, протягивая щенку руку.

Но вместо взаимного добродушного интереса к незнакомому существу, так нежно глядевшему на него, он опустил голову, не сводя своего внимательного взгляда, а потом внезапно залаял, чем напугал от неожиданности наивное сердце молодой женщины. София быстро отняла руку, вспоминая слова Арины о сторожевых возможностях и необычности характера этой породы собак.

– Она что, хотела меня укусить?! – удивлённо, всё ещё улыбаясь, сказала женщина.

– Не думаю, он просто вас вежливо предупредил, – сказал Пётр.

– Ты сейчас необдуманно поступила, – заметила Арина.

– Но мне так хотелось к нему прикоснуться.

– Я и сам подхожу к нему лишь с каким-нибудь кусочком еды, – сказал Пётр.

– Он у вас какой-то недружелюбный, – заметила София. – Вы его бьёте, если он не слушается?

– Нет, ну что вы.

– Тогда почему же он такой...

– Не приветливый? – спросил Пётр. – Он довольно добродушный и весёлый, когда играет с моим мальчиком.

– С ребёнком?! – как-то странно, недоверчиво удивилась София.

– Да, с моим Сашей, мальчику недавно исполнилось девять, вот мы ему и сделали такой подарок.

– М-да, лучше бы какую-то игрушку ребёнку купили, а не живую собаку, – пробубнила София.

– Ну что ж, – сказала Арина, – мы всё у вас осмотрели, нам всё ясно...

– Как, вы уже уходите?

– Да, о своём решении мы сообщим председателю общества.

Мужчины поднялись и все четверо проследовали один за другим, по узкому коридору к входной двери.

– Я чувствую, что вы негативно настроены, – тихо, нерешительно сказал Пётр. – Обстановка, может, уход вас смущает, но поверьте, что мы его любим и ему у нас нравится. Он привык к нам, хоть и так мало времени прошло. Это удивительно...

– Да, нравится, – с какой-то иронией повторила София, – я не сомневаюсь.

– Понимаете, он так привык к нему, – сказал молодой человек, чувствуя в разговоре с молодой женщиной её недовольство и какое-то раздражение.

– Спасибо за чай, всего вам доброго, – сказал напоследок Михаил.

Из-за Софии, не терпевшей странное жужжание и скрип в лифте, они стали спускаться по ступенькам.

– Я просто возмущена, – сказала Арина. – Такое содержание, обстановка, это кошмар, как в фильмах ужасов, ты ещё не видел их комнаты.

– Ничего удивительного, – ответил Михаил, который, казалось, был невозмутим и спокоен. – Здесь, на Таирова многие живут в таких скромных условиях.

– Да это их дело, как жить, – возмутилась София. – Но при чём тут собака?!

На это Михаил ничего не ответил.

– Арина, а ты уверена, что получится? – вдруг спросила София, когда они подходили ко второму этажу.

– Немного надавим, кое-что прижмём, есть ведь законы, и они на нашей стороне, – ответила подруга.

– На стороне несчастного щенка, – добавила София.

– Да, ты права.

– Боже, мне даже не верится, – её глаза просияли каким-то ожидаемым счастьем, – он такой славный.

А вы видели, как играет его красный пушок на спинке и мордочке? Просто очаровашка, так и зацеловала бы его.

В этот момент, когда они спустились на первый этаж, в подъезде вошла молодая женщина и ребёнок. Пропуская двух дам, молодая женщина и мальчик, лет девяти, прислонились к стене.

Михаил подождал на площадке, когда его знакомые выйдут из парадной. Он пропустил женщину и мальчика к лифту, а сам стал медленно спускаться к входной двери. Позади себя он услышал восторженный голос мальчика, который, по-видимому, был чему-то несказанно рад. От детского счастья, которое, несомненно, переполняло мальчика, он становился на носочки и даже подпрыгивал от радости, говоря матери:

– Мама, мама, давай скорее... он же соскучился, он ждёт меня... – говорил мальчик, прыгая вокруг неё от нетерпения.

– Подожди, Сашенька, будь терпеливее, твой друг никуда без тебя не уйдёт.

Михаил проводил до машины дам, а сам сказал, что у него в этом районе есть дела.

– Надеюсь, Миша, вы тоже составите отчёт для Владимира Петровича, – сказала Арина, садясь в машину.



– Не сомневайтесь, как психолог я обязан сделать отчёт и дать его председателю, – ответил Михаил.

– Ты не откладывай это, всё надо завершить в три дня, не более, – сказала Арина, заводя мотор.

Машина укатила, скрывшись за поворотом, а Михаил остался стоять, он как будто чего-то ожидал. И действительно, не прошло и пяти минут, как из парадной выбежал мальчик, держа в руках красно-белого щенка. Мальчик опустил его на травку и стал с ним играть. Мужчина, стоявший в одиночестве у парадной, внимательно наблюдал за мальчиком, лицо которого сияло от счастья, и щенком, который резвился вокруг мальчика, то бегая между его ног, то приносясь к траве, то забавно лая, то облизывая мальчику руки.

Спустя полчаса Михаил стоял на остановке, в ожидании маршрутки, а маленький Саша со своим юным другом влетели в комнату, где сидел отец за столом, работая с книгами.

– Пап, пап! Погляди, что мне дал дядя, – мальчик держал в руках кожаный ошейник и поводок. Щенок не отставал от своего девятилетнего хозяина, к которому он так крепко привязался и которого полюбил всем своим собачьим сердцем, навечно преданным лишь ему.

ЕМЕЛЬЯН МАРКОВ

СОСНОВЫЙ ДОЖДЬ пьеса-буфф в четырёх действиях

Действующие лица:

Марина Узлова, в начале пьесы двадцать семь лет, во 2, 3 и 4 действиях за сорок.

Первый художник (*Александр Узлов, художник, муж Марины; Аркадий Подойников, успешный художник. 45 лет, – двойник Узлова, только другой формы борода и внушительный живот. Играет тот же актёр, пародийно загримированный.*)

Второй художник (*Митя Протазанов, художник с рыжей бородой, друг Марины и Узлова; Некто, огромного роста мужчина с рыжей бородой, – двойник Протазанова, только много крупнее и грубее. Играет тот же актёр на платформах и с подложенными плечами.*)

Гена Платков, кладбищенский сторож. В 1-ом действии восемнадцатилетний юноша. В 3-ем выглядит старше своих софок.

Эринния (*Юля, разбитная девушка двадцати семи лет; Женщина в очках, атлетически сложенная дама высокого роста, – двойник Юли, только крупнее и в очках. Играет та же актриса на платформах и с подложенными плечами.*)

Зинаида Даниловна, respectable дама лет шестидесяти, соседка Марины и Аркадия по даче.

События первого действия разворачиваются в конце 70-х годов, остальных – в 90-е.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена первая

Кладбищенская сторожка. Стол, табуретки, полусломанное старинное кресло, в котором сидит сторож Платков. Узкая тахта. Большая синяя лампада горит в углу перед образом. По периметру декораций спроектированы верхушки заснеженных сосен.

Гена Платков, Митя Протазанов, Марина Узлова, Саша Узлов.

Митя. Лампаду зажжё?

Платков. Спасенья нет вне Церкви.

Митя. Спасенья от чего?

Платков. От смерти.

Митя (*задушевно*). Ты очень боишься смерти, Гена?

Платков. Я боюсь Бога.

Митя. А я, как ты думаешь, боюсь Бога?

Гена молчит.



Митя. Я знаю, почему ты молчишь. Ты молишься, и этим самым хочешь поставить меня перед необходимостью бояться и любить вашего еврейского Бога. А почему я должен его любить? Любите его, молитесь ему, но почему я должен?

Он распахивает свою чёрную вязаную кофту, обнажаются муляжные нацистские ордена.

Митя. Мне так милее фюрер. Что ты морщишься, Платков? Да, дядя Адольф. Я хочу его любить и бояться. Ваш еврейский Бог весьма...

Платков (*с досадой*). Зря вы, Митя, на Бога нападаете, ведь вам первому из нас придётся предстать перед ним.

Митя замирает, потом улыбается.

Марина (*мягко*). Жалко, что ты свою картину на этот киношный муляж обменял. Ладно бы настоящие ордена, хоть какой-то был бы шик. А так просто жалко картины. Представляешь, Гена, они (*указывает на Узлова и Митю*) устроили мне сюрприз. Прихожу домой из института. Они в нашей тесной проходной комнате стол раздвинули. Тут тебе бутылки, какая-то раскисшая закуска, окурки. Словом, дым коромыслом. Но главное, распаренные полуголые бабы с огромными грудями. Я подумала: верно, натурщицы. Тем более что ребята-то мои, хоть и лыка не вяжут, но зато прилично, хоть и очень скромно, одетые. Сидят, никого не трогают, верные своим рюмкам. А бабы, наоборот, словно не водку, а третий самовар чая уговорили. Красные, в испарине, хоть полотенца подавай, платья из джерси полурасстёгнуты. Но нет, оказалось, не натурщицы, а костюмерши с киностудии. А праздник – по случаю обмена Митиной картины на эти вот ворованные со студии бутафорные ордена.

Митя. Марина, ты забыла, что по обучению я театральный художник. У нас своя кухня в свете рампы и софитов.

Марина. Это я как раз понимаю, поэтому не выгнала вас вместе с костюмершами.

Митя. Если мне память не изменяет, ты нас как раз выгнала.

Марина. Выгнала, но не прогнала. Я выставила вас с вашими полуголыми бабами в воспитательных целях. Ведь ты помнишь: когда вы вернулись, я тебя в угол поставила, а Сашке порку ремнём задала.

Митя (*Узлову*). Я, Саш, не видел, я строго в угол смотрел.

Марина. Конечно, ты в угол смотрел. Потому что ты сложнее Гитлера. Притом ты любишь Достоевского, а Достоевский ведь психолог, ведь так?

Митя. Достоевский психолог? Как можно! Достоевский не психолог. Это Зигмунд Фрейд выдумал психологию, а Достоевский совсем не психолог. И как тебя угораздило такое сказать? У тебя же такие арийские ноздри!

Узлов особенно не слушает шуточный диалог, внимательно смотрит на Гену, словно выслеживает его. Разговор прерывается тем, что Узлов падает перед Геной на колени.

Узлов (*неграмко*). Святой!

Он меняет позу, садится на пол по-турецки.

Узлов. Но войну-то Гитлер проиграл.

Митя (*как-то доверчиво*). Он не проиграл войну, его просто победили. Дядя Адольф был художником, он пытался остановить распад. Гляньте в окно – мир распадается, художник не может этого терпеть.

Узлов. У высокого тополя ветви растут под таким углом, что – вот они сейчас отпадут. Но они же не отпадают.

Митя. Иногда отпадают, от сильного ветра.

Узлов. Но это красиво.

Митя. Нет, это ужасно.

У всех ликующее выражение лиц, все очень счастливы, смотрят друг на друга почти благодарно.

Марина. Проведи нас по кладбищу, Гена! Ты странный человек, с тобой по кладбищу ходить – счастье.

Платков. Охотно. А в других местах со мной ходить не такое уже счастье?

Марина. В других – не такое.

Все поднимаются, возбужденно разбирают в углу свои: Марина – дублёночку с белым каракулем, Узлов красивое коричневое пальто, Гена сторожовский ватник, Митя потёртое драповое пальтецо. И всегело удаляются. Лампада плавно потухает.

Сцена вторая

Явление 1

Узлов и Марина.

Квартира Узлова. Мольберты и подрамники. Горит множество свечей, потому что квартира тёмная, да ещё лампочка перегорела. Узлов вбегает с Мариной на руках. Ставит её.

Марина. Ну мы даём, Саш! Ушли, а свечи не потушили! Хорошо, ненадолго. Как только пожар не случился?

Она снимает варежки на резинке, расшнуровывает высокие сапоги.

Узлов. Я потому тебя и взял на руки, чтобы быстрее, я спешил потушить свечи.

Марина. Саш, на девятой этаж, наверное, быстрее всё-таки на лифте, а не по лестнице.

Узлов. Ты что, ведь лифт как всегда сломан.

Марина. А ну да, конечно. Но свечи-то теперь зачем тушить? Тебе писать надо. А мне *(вздыхает)* бороться с режимом.

Узлов. Что это значит?

Марина. Как что? Когда же ты поймёшь? Тебя просто подкашивает асоциальность. Мне надо бежать на подпольную сходку в Царицыно. А ты, Саш, работай. Главное, побольше социальности. У тебя есть всё в картинах, кроме острой социальности. Ты же русский художник. Равняйся на передвижников.

Узлов. Не такие они ровные, чтобы на них равняться. Вразброд идут. Да я вроде как и равняюсь.

Марина. Не в том ты на них равняешься. Не на штюфы их надо равняться, а на боль их за народ.

Узлов. Равняться на боль?

Марина. И никак иначе! Я из Царицына Митю заберу. Они, конечно, сидельцы, борцы, герои, но Митю они не понимают.

Узлов. А надо ли его понимать? Хочет ли он, чтобы его понимали? Тебе, Марин, не страшно его понимать?

Марина. Мне нет. А тебе что, медведю, страшно?

Узлов. А может быть, на вас донести в органы? Чтобы вас там всех и накрыли? Органы вас всех поймут, вникнут в дело. Надо ввериться профессионалам. Мне, положим, ваша хозяйка, седая красавица Зоя, тоже как женщина нравиться, я бы сам к вам чаще заживал, чтобы с ней пофлиртовать. Но у вас там в Царицыне каждый другого подозревает в стукачестве, нет доверия соратникам. Придёшь так хозяйке невинно клинья подбить, а тебя сразу в стукачи записывают. Я вот действительно стукну на вас, сделаю звонок, и люди в штатском всех быстренько разъясят, чтобы отпали у вас любые обоюдные подозрения.

Марина. Беззубые у тебя шуточки. Никуда не годятся.

Надевает дублёнку. Узлов ей бережно помогает надеть варежки, сапоги на шнуровке.

Марина. Сокурсницы позавидовали, как ты мне трепетно варежки в институте надевал. «Как Сашка тебя любит! – говорят, – как дочку». Видели бы они, как ты мне снимал эти шнурованные сапоги первый раз. Умилялась уже я до слёз. Шнурки не для твоих лап, для твоих лап только шедеры.

Узлов. Ты, Марин, сегодня вернёшься?



Марина. Конечно! Надо же Митю привезти. А то он там монашество задевает. Монах там есть. Герой, духовный красавец, его из монастыря за твёрдую позицию выгнали. Так Протазанов его с восьмым марта поздравил. Представляешь?

Узлов. Здесь он разве по-другому себя ведёт?

Марина. Здесь, конечно, так же. Но – ты знаешь, что я его на днях из-под машины выдернула? Идём мы по улице. Он раз под машину! У меня богатырская силаща в такие моменты просыпается, как у богатырш на его картинах. Я его – хватя! А он улыбаётся злобно: «Спасла!». Советский Мефистофель! Он меня извинил только потому, что у меня арийские ноздри, и потому, что со мной можно в охотку помечтать о всеобщей стерилизации. А для Красной армии, которая его в младенчестве и мать его спасла от расстрела фашистами, перед самой казнью в числе пленных их освободила, у него не находится каких-либо извинений. Он в восторге от той силы, хотевшей его убить сразу в пелёнках. Для него, кстати сказать, женская ласка и смерть едины. Потому он сторонится женщин, как смерти, и тянется к женщинам, как к гибели.

Узлов. У всех мужиков так.

Марина. Не совсем. Так да не так. Митя, в конце концов – выбирает. И пишет на своих картинах небесных дев валькирий, уносящих поверженных героев отнюдь не в Рай, где вечная жизнь, а в сверкающую Валахалу, где вечная дивная смерть. Но дело в том, что одновременно Митя Протазанов постоянно готов к самопожертвованию. Потому он, сколько бы не вскидывал руку, – не национал-социалист, а так называемый певец русской природы. Ну и всё-таки Советский Мефистофель, разумеется.

Узлов. А почему ты о нём так беспокоишься?

Марина. Дурачок. Тебе, гению, нужен гениальный друг, тоже гениальный художник. По отдельности вы измелчаете. Или погибните. Третьего не дано. Я не о нём, я о вас обоих забочусь. Ладно, хватит лясы точить. Я скоро прибуду вместе с Митькой.

Марина стремительно выходит. Все свечи от дверного сквозняка гаснут сами собой. Обнаруживается луна за окном. Луна уходит из окна. Продолжительная темнота. Вдруг в ней зажигается спичка. Это Узлов неловко, обжигаясь, теплит поочередно свечи.

Явление 2

Узлов и Митя Протазанов.

Входит в габардиновом чёрном пальто Митя Протазанов. От дверного сквозняка свечи снова тухнут, остаётся одна. Протазанов входит в полумраке. Он ставит посередине сцены стул, стаскивает разбитые ботинки, оказываясь сразу без носков. Залезает на стул, достаёт из кармана пальто электрическую лампочку, ввинчивает её в абажур. Абажур вспыхивает сочным красным цветом. Митя слезает со стула, обречённо садится на него же босой. Ботинки стоят рядом криво. Узлов тоже садится. Пауза.

Митя. На лагеря наговорили, как обычно у них. Их хлебом не корми, дай лагерной баланды поесть. То бишь хозяйка тамошняя Зоя сразу готовит гостям лагерную баланду, авансом. Пустые пщи с серой мукой. Она то ли старуха, то ли девушка, не могу понять. Седые волосы, горбится под серым пуховым платком. И вдруг из-под старушечьего платка юношескую грудь даёт своему младенцу. Девичий профиль в старушечьих космах. Вздёрнутый носик, эмалевый взгляд. При младенце у Зои ещё жених есть, одноногий, на костылях. Отец он младенцу или нет, непонятно. Конспирация! Этот жених, когда Зоя предлагает ему расстаться, отбрасывает посреди улицы костыли и падает прямо в лужу. Так и я. Прихожу к ней и падаю прямо на пол. А Маринка меня начинает зачем-то поднимать. Я ей по-человечески объясняю: «Не хрюкнул, значит, не вышил». Но она не понимает. И сегодня зачем-то стала меня с пола соскребать. А зачем? Усадила за стол. Ух! До сих пор цветной постный сахар назойливо стоит в глазах. Чай – крепчайший! От белой отсыревшей скатерти больничная оскомина. Такие в этом бараке и простыни, как скатерть. Поэтому я всегда выбираю там для ночлега половицы. Ну вот... А потом мы, я, Маринка и Платков, своей компанией отправились к нему на кладбище в сторожку. Помнишь его? В батнике узорном ходит. Ты ему: «Святой!». Он, конечно, не святой. Меня – в шею, хохот. Конечно, на кладбище я ему не конкурент. Марина пальцем в меня тыкала, нежная такая, изумительная, как всегда перед изменой бывает. Меня – прочь, не нужен. Я у них напоследок в отместку лампочку на крыльце выкрутил (*кивает вверх на абажур*). Конечно, им лишний свет не нужен. Выходит что – легла!.. Вот так, так...

Митя что-то неслышно шепчет, шевелит губами. Узлов вскакивает.

Митя (*тоже вскакивает*). Ты туда? Нет? Я с тобой!

Узлов. Нет, подожди, тут кое-что.

Митя. Что?

Узлов. Да нет, ничего.

Митя. Говори – что?

Узлов. Надо замести следы.

Митя. Обыска ждёшь?

Узлов. Обыска пусть они ждут. А я сам шухер наведу.

Митя. Как?

Узлов. А вон... Тут везде надо прибраться. А то я наследил. Её портреты.

Митя. Да! Её портреты!

Узлов вытаскивает одну за другой отовсюду: из-за шкафа, из-под тахты – свои картины. Горюливо, словно спешит на поезд, ставит их на мольберт и режет острым, наполовину сточенным ножом, отбрасывает обрезки. Мольберт повернут к публике задником, Узлов обращен к ней лицом. Митя отстраняется в светлый дверной проём прихожей, наблюдает и корчится, то ли глумливо, то ли страдальчески, скрючивается на одной ноге. Покончив с четырьмя картинами, Узлов смотрит на Митю, ловит его взгляд. Митя этот взгляд сразу прищипывает. Начинает нарочито суетиться, хлопотать, ходит взад-вперёд.

Митя. И то сказать!.. Нужен ли ей Платков? Нужен ли ей Платков?

Силы резко оставляют его, он садится на тахту, фазуется, постепенно ложится набок.

Митя. Сегодня ей его шитый батник понравился, завтра понравится человек в лиловой рубашке...

Засыпает. Узлов гасит свет. Темнота.

Явление 3

Узлов, Митя и Марина.

За окном потихоньку светает. Включается верхний свет. Его включила Марина. Она энергично входит, стягивает врезки. Митя по-прежнему спит. Узлов сидит в тёмном углу.

Узлов. Значит, всё?

Марина. Что «всё»?

Узлов. Легла с другим?

Марина. Почему «легла»? Я сегодня вообще не ложилась. Очень спать хочется. Всю ночь проговорили. Наговорили на лагерь.

Узлов (*в сторону Мити*). Он сказал.

Митя спит, во сне улыбается, как ребёнок.

Марина. И ты ему поверил? Как ты мог ему поверить? Как ты мог хоть на секунду представить...

Узлов вскакивает, падает перед ней на колени.

Узлов. Прости, прости! Действительно, как я мог... Как я мог!

Марина. Встань. Как ты можешь так унижаться? Жена действительно, так или иначе, не ночевала дома, а ты перед ней ещё на коленях ползаешь.

Узлов вскакивает, выбивает дверь ногой и исчезает. От грохота просыпается Митя, садится на тахте.



Митя. Скажешь, не легла?

Марина. Какой ты забавный, Митя! Ты так многозначительно, таинственно спрашиваешь... Сразу понятно, что ты не знал женщин. Тебе кто-нибудь нравится? Зойка, наша вчерашняя хозяйка, хотя бы нравится?

Митя. Она тебе нравится, это ты ей руки целуешь.

Марина. Я ей целую руки, как ушедшей России.

Митя. Как покойнице, что ли?

Марина. Скажешь тоже!.. Она тебе нравится? У неё же нордическая красота.

Митя (*неопределённо*). Ничего... Ноги-руки есть.

Марина замечает изрезанные картины. Поднимает обрезки, разглядывает их.

Марина. Что же он натворил... Это же были его лучшие работы. Он их уже никогда не повторит, никогда. Ты ведь меня любишь, Митя? Я спрашиваю, потому что это то единственное, что может хоть немножко оправдать...

Митя. Ну что ты... Как можно. На кого бы я был похож, если бы я тебя любил?

Марина. На себя, наверное.

Митя. Нет, на себя я как раз похож бы не был.

Марина. Ты боишься себя?

Митя. Нет.

Марина. Гордый ответ. Но можно ли жить без страха перед собой? По-моему ты просто в ужасе от самого себя. Поэтому в ужасе от своей любви ко мне. Ты – в ужасе. Ты смеёшься от ужаса и подстраиваешь роковые обстоятельства тоже от ужаса. От мании преследования. А преследует тебя... Что тебя преследует? Тебя преследует приговор дяди Адольфа? Ведь он тебя ещё в младенчестве приговорил. Ты приговорён к смертной казни в младенчестве, вот в чём дело. Ты занесён над костром и унесён от костра. А ты хотел бы умереть в младенчестве. И добрый дядя Адольф почти исполнил твою мечту. Но Красная Армия смазала картину твоей жизни. Мы с Сашкой как раз говорили об этом вчера, когда эти картины были ещё целы. Вчера они были ещё целы. Но ты не оставляешь надежды умереть в младенчестве. Поэтому корчишься, поэтому любишь меня, поэтому соблазнил Сашку изрезать его картины. Это судорожное стремление к чистоте, к небытию. Или просто ты Сашке завидуешь? Но теперь уже нечему завидовать. Лучшие картины свои он разрезал. И мы теперь, я так чувствую, наверняка разведёмся. Хоть я ему и не изменяла.

Митя. Да, Марин, с тобой есть о чём помечтать, это точно. Но меня ты не соблазнишь разрезать мои картины. Меня ты не возьмёшь в оборот, не заведёшь в обстоятельства. Я не бегу и не догоняю, я просто вываливаюсь из обстоятельств. Но, чтобы из них вывалиться, их надо сломать. Я ищу обстоятельства, только чтобы их сломать. Это священный бой с обстоятельствами, для которого им надо идти навстречу.

Митя натягивает на голые ступни свои покоробленные башмаки.

Марина. Ноги-руки есть – говоришь... А вот у тебя, Митя, у самого ножки на загляденье, щиколотки поленькие, ну прямо как у Марики Рокк!

Митя яростно и метко бросает ботинок в Марину. Марина хватается за ушибленное место и смотрит насмешливо. Митя замирает: одна нога обута, другая босая.

Сцена третья

Летний свежий день, после дождя. Узлов и Марина сидят в липовом сквере на лавочке. Узлов в рыжем замшевом пиджаке с выпущенным кружевным воротником белой сорочки, Марина одета будничной.

Узлов. Мы же – так... Это не настоящий развод... Это чтоб материну квартиру за собой оставить. Мы же опять играем во взрослых людей, которые разводятся, изменяют друг другу. Это ведь всё игра. На самом деле, мы не такие. Разве мы можем с тобой всерьёз развестись? Нам чувство юмора не позволяет. Мы наслушались пережили эту комедию со свадьбой, а водевиль с разводом мы просто не осилим. Мы же не для всего этого познакомились.



Марина. Конечно, Саш, конечно.

Узлов. Нет, я серьёзно. Я не собираюсь с тобой разводиться. Это глупо. Ты мне не мешаешь. Не сковываешь меня в моей творческой свободе.

Марина. Более того, я тебе её обеспечиваю. Но тут надо поаккуратней.

Узлов. Куда уж аккуратней?

Марина. Вот именно, поаккуратней надо. Мите Протазанову я вот тоже обеспечивала творческую свободу. Более я ему ничего не обеспечивала, но зато творческую свободу он от меня получал в полном объёме.

Узлов. Я так понимаю, ты вообще по части распределения творческой свободы?

Марина. Да, я по этой части. Так вот, чуть Митя вышел из-под моей опеки... Очень уж я на него обиделась из-за того его розыгрыша, из-за которого мы сейчас и разводимся... Чуть он отдалился от меня, как сразу попал в обстоятельства. Неспроста он так их боялся. Чуть попал в обстоятельства и сразу погиб.

Узлов. Какие же обстоятельства в лесу? Митя вышел из чащи с этюдником, и тут лесовоз его накрыл. Вот и всё.

Марина (*упрямо*). Нет, не всё. Он и по лесам, и по квартирам как беглый каторжник бегал. Бегал от обстоятельств. Но они его и в лесу наступили.

Узлов. Он просто потерял равновесие. Это бывает.

Марина. Равновесие?

Узлов. Да, равновесие свободы. В свободе надо соблюдать равновесие, как на проволоке канатоходец.

Марина. А ты соблюдал равновесие, когда резал свои картины?

Узлов. Разумеется. Именно как канатоходец на проволоке. Я и разрезал картины – для равновесия. Идём пива попьём.

Встают, отлучаются за занавес. Пустая сцена. Возвращаются с кружками пива.

Узлов. Хорошо, правда? Будто и не разводились. Они, те, что в очереди за пивом, думают про нас, что, наоборот, жених и невеста, коль скоро ЗАГС рядом. Здорово мы их разыграли?

Марина. Они о нас вообще не думают.

Узлов (*с вызовом*). Может быть, ты знаешь, о чём они думают?

Марина. О пиве.

Марина протягивает дружественно кружку. Чокаются. II продолжительно пьют.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Прошло десять лет.

Сцена первая

Явление 1

Комната Платкова в коммунальной квартире. Книжные стеллажи, софа, крепкий буковый стул с высокой спинкой посередине. Жена Платкова Юля, ладная, но утомлённая, девушка с недлинными разломчачеными волосами стоит возле стеллажа и довольно безучастно листает толстую книгу.

Явление 2

Юля и Платков.

Входит Платков. Он выглядит немного постарше, чем был в сторожке, в курчавой чёрной бороде.

Платков. Почему ты касаешься моих книг?

Юля (*вздрагивая*). Какая у тебя тихая поступь, Гена!.. Насколько я понимаю, у нас теперь всё общее.



Платков. Ты ошибаешься, Юля.

Юля. Но ты же сам говорил, что муж и жена одна плоть, а если одна плоть, то...

Платков. Плоть плотью (*забирает у Юли книгу*), Юля, плоть плотью, но зачем тебе Кант?

Юля. Может, я хочу полистать Канта...

Платков. Ты хочешь полистать Канта, понимаю. Но почему именно Канта?

Юля. Как ты смеешь меня так страшно унижать!

Платков. Ладно, пусть Канта. Но сначала надо спросить разрешение. Ведь это мой Кант... Это мой Кант.

Юля упрямо садится на софу, Платков стоит, придерживаясь за спинку стула.

Юля. Объясни, Гена, почему ты женился на мне?

Платков. Я хочу счастья.

Юля. Вот тут ты не ошибся. Я как никто способна обеспечить счастье человека.

Платков. Дело не в том, на что ты способна.

Юля. А в чём тогда?

Платков. Дело в том, на что способен я.

Юля (*кокетливо*). О! Ты способен на многое.

Платков. Нет, я не способен ни на что.

Юля. Но при чём тут женитьба, зачем была свадьба? Я так и не поняла.

Платков. Как при чём? Считается, что людей объединяет дело, тогда как в действительности людей объединяет совсем обратное, то есть отсутствие дела, другими словами – общая неспособность. А так как мы оба ни на что не способны (*подходит, кладет руку Юле на плечо*), нам и следовало пожениться. Мы изгой, мы выброшены за борт.

Юля. Я медик!

Платков (*ласково*). Ну что ты городишь, Юля, какой ты медик? Медсестра с тёмным прошлым, тёмным настоящим и ещё более тёмным будущим.

Юля (*с размеренной яростью*). Хорошо, ты ещё узнаешь, на что я способна.

Платков блаженно прикрывает веки. Но быстро сводит брови печально.

Платков. Ты любишь вокзал, я понимаю. Он будоражит, приятно тревожит тебя, да?

Юля (*успокоившись и томясь*). Наверно.

Платков. Хорошо. Но зачем там пить?

Юля. Я пью пиво.

Платков. Ты пьёшь слишком крепкое.

Юля. Я пью «девяточку».

Платков. «Девяточка» очень крепкое пиво. И когда девушка стоит с бутылкой «девяточки» у вокзальной стоянки, это...

Юля. Ты зачем врезал замок во вторую комнату?

Платков. Там будет моя комната.

Юля. Хорошо, пусть она будет твоя, но зачем её запираешь?

Платков. Согласись, Юля, имею я право запираеть свою комнату?

Юля. Пойду прогуляюсь.

Платков. На вокзал?

Юля встаёт.

Юля. Да хоть бы и на вокзал. Что ты привязался к этому вокзалу? Какая разница, где дышать весной?

Платков. На вокзале совсем не та весна, что везде.

Юля. Весна везде одна.

Платков. Знаю я твою весну. Оттого, может быть, и врезал замок.

Юля (*подступая*). Ты на что намекаешь?

Платков. Мне слишком больно, чтобы на что-либо намекать. У тебя очень странный график работы, очень странный.

Юля. Я подменяла. Сумасшедший, на тебя плохо действует весна.



Платков. Ох уж эта весна! Мне хочется плакать.

Юля. Я пойду. Тебе кушать пивка?

Гена подходит к Юле и – неразборчиво: то ли толкает её, то ли даёт ей несильную пощёчину.

Юля (изумлённо). Ты что?

Гена толкает ещё раз.

Юля (разъяренно пятясь). Как... как ты смеешь? Как ты смеешь меня бить? Ты ответишь за это! (Останавливается на мгновение в задумчивости). Ты меня совсем не любишь...

Платков. Кто поклоняется любви, тот поклоняется дьяволу.

Юля с подхваченным наотмашь плащом выбегает. Платков истова хватается за лицо, падает на софу и рыдает. Платков лежит некоторое время неподвижно, потом нетвёрдо встает, берёт гитару, садится на стул и поёт.

Я тебе ничего не скажу,
Я тебя не встревожу ничуть
И о том, что я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть.

Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдёт,
Распускаются тихо листья,
И я слышу, как сердце поёт.

И в большую, усталую грудь
Ветв влагой ночной... Я дрожу.
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу.

Явление 3

Платков, Юля и Некто.

Возвращается Юля.

Юля. Всё поёшь? Всё витаешь в облаках? А я пришла поставить тебя перед лицом реальности.

Гена (не оборачиваясь). Где она, реальность?

Юля. Вот она.

Юля делает широкий шаг в сторону. Гена нехотя оборачивается. Рядом с Юлей стоит Некто в плаще, острого роста со шкиперски подбритой, жёсткой бородой. Этот человек подходит к Платкову, забирает у него гитару, передает её Юле. Потом снимает Платкова со стула, ставит его перед стулом на колени, надевает ему на голову вытасенный из кармана плаща чёрный мешок.

Некто. Убить его?

Юля. Да нет, пока не надо. Но проучить его необходимо.

Некто. Если не убить, он по-другому не поймёт.

Юля. Ты прав, Миш, до него плохо доходит. Он перед своим носом не видит, а выдумывает то, чего нет. Признавайся! Приходила к тебе покойница в сторожку на кладбище?

Платков (сквозь мешок). Приходила.



Юля. А зачем она к тебе приходила? Она твоя любовница?

Платков. Она жила в восемнадцатом веке.

Юля. Ну и что, подумаешь! Самое развратное времечко. И что, могилка у неё имеется?

Платков. Да, имеется могилка.

Юля. Так зачем она к тебе приходила?

Платков. Ей показалось, что я позвал её.

Юля. А ты?

Платков. А я не звал.

Юля. Врёшь! Звал!

Платков. Нет.

Юля. Приведения не ошибаются. Раз пришла, значит, звал. Чем вы занимались?

Платков. Разговаривали.

Юля. О чём?

Платков. Об императрице. Только я говорил о нашей императрице, о нашей Зое из Царицына, мастерице пустых кислых щей, а она о своей, о Екатерине Великой. А мы думали, что одну императрицу нежно чувствуем.

Юля. А потом?

Платков. Потом она ушла. Я уже с утра сообразил, кто она, когда по её маленькому снежному следу до могилки восемнадцатого века дотопал.

Юля. И ведь всё врёт. Он всю жизнь в Маринку Узлову влюблён. Она к нему от мужа художника убежала. С тех пор и бегает. А он её для развлечения то за богиню, то за покойницу принимает. Игры у них такие! Развратные люди! Они не способны заниматься честным развратом, как мы, честные люди. Они флёрю на разврат нагоняют и плачут от умиления и восторга. Для них ничего святого нет! Так, признавайся: Маринка к тебе приходит?

Платков. Маринка может прийти только при роковых обстоятельствах. А где я ей возьму роковые обстоятельства? Я на них не способен.

Юля. То есть ты хочешь сказать, что на них не способна и я?

Платков. Почему же?

Юля. Ну как же! Ты же сам мне сказал, что людей объединяет общая неспособность. И если ты считаешь себя неспособным к роковым обстоятельствам, то, значит, ты намекаешь, что и я к ним не способна?

Платков. Сама по себе – нет. Поэтому ты привлекаешь исполнителей роковых обстоятельств. Теперь, вот тоже привела исполнителя.

Юля (*к своему ступнику*). Ну вот, Миш, видишь, как он меня унижает? И так постоянно. А поначалу я подумала, что он святой. Он всем морочит голову, что он святой! Точнее, поначалу я подумала, что он герой. А он, оказалось, добывает роковых обстоятельств на стороне. И что с ним делать?

Некто. Ну, если он хочет оказаться в роковых обстоятельствах... (*Угрожающе поправляет манжеты*).

Юля. Да нет, не пойдём у него на поводу. Он жаждет роковых обстоятельств. Но он их не получит. Мы, наоборот, избавим его от роковых обстоятельств.

Некто. Как мы это можем сделать? Просто уйти? Но это не в моих правилах – просто уходить.

Юля. Нет, конечно. Так мы его не избавим от роковых обстоятельств. Мы за порог, и он сразу опять начнёт корчиться в мечте о роковых обстоятельствах. И к нему опять придёт девица из позапрошлого столетия. Но я знаю, как его привести в чувства и поставить на место.

Юля подхватывает гитару, размахивается ею, как колуном, и наскофо разбивает о стул, что позади Платкова.

Некто (*разочарованно*). И всё?

Юля (*с сожалением*). Ты, Миша, ничего не понимаешь в музыке.

Некто срыгает чёрный мешок с головы Платкова, но на голове Платкова остаётся белый мешок. Некто и Юля выходят. Платков замирает на коленях.



ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Прошло ещё десять лет.

Сцена первая

Марина.

Марина выходит изнутри на сцену, волосы всклокочены, косметика смазана.

Марина. Страшна любовь чужих людей, страшна и пронзительна. Кажется уже: ближе нет никого, чем чужой человек. О, это коварство с чужим человеком! Спрятал любовницу на балконе, а сам забрался в шкаф! Пришла, в квартире ни души, только нагая сквозь мутное стекло смотрит внутрь моляще, чтобы выпустил. А он – в шкафу! Я услышала его тяжёлое дыхание. На него и священники спокойно смотреть не могут, хочется им снять епитрахиль и спрятаться в алтаре. Приходит он в храм, говорит с достоинством на исповеди: «Нарушал седьмую заповедь». Священник начинает растерянно считать в уме заповеди, которая из них седьмая, и оправдывается перед Аркашей: «Но вы же художник...». Аркаша и доволен, считает себя безгрешным. Куда мне теперь? Он в моей квартире с любовницей. Я не выдержала позора, не выдержала очевидности зла. Но нет, надо возвращаться. В конце концов, моя квартира!

Уходит.

Сцена вторая

Марина и Аркадий.

Та же квартира Марины, только на софе лежит художник Аркадий Подойников. Входит Марина.

Марина. Убирайся из моей квартиры.

Аркадий. Мариш...

Марина. Пошёл отсюда!

Аркадий. Мариш, на что ты обижаешься?

Марина. Обижаясь?! Я диву даюсь! Извалялся тут с любовницей, ещё задаёт вопросы!

Аркадий. Что ты выдумываешь, детка, с какой любовницей?

Марина. Ты её с балкона спихнул? Куда она делась?

Аркадий. Ты о ком, я не понимаю.

Марина. На балконе была женщина голая, а ты в шкафу прятался.

Аркадий. Я – в шкафу? Что ты чепуху говоришь? Я был в уборной, занимался туалетом.

Марина. Унитаз, что ли, ставил?

Аркадий. Ну что ты, своим туалетом занимался.

Марина. Меня сейчас вырвет... Где она, я спрашиваю? На верхнем этаже на лестничной клетке?

Аркадий встаёт, открывает балконную дверь, вытаскивает большой в человеческий рост холст на подрамнике. Поворачивает его к Марине.

Марина *(в ужасе)*. Кто это?

Аркадий. Это ты, Мариш.

Марина. Это урод какой-то, а не я. Обнаженный урод. Испуганное голое пугало.

Аркадий. Не выдумывай, я повезу эту работу в Париж.

Марина. Ты хочешь опозорить меня на весь мир?

Аркадий. Прославить... Этой картиной я смогу тебя только прославить, но никак не опозорить.

Аркадий прислоняет картину лицом к стене, опять ложится на кровать вверх животом.



Марина (*плача*). Дурак ты, Аркаша, и больше ничего.

Аркадий. Не расстраивайся, Мариш, я понимаю, трудно жить с гением.

Марина. Да какой ты гений! Лучше бы меня в Париж взял, это тебе никогда не придёт в голову.

Аркадий. Почему же, я свожу тебя в Париж. Но сейчас поедет – она (*указывает на повернутую к стене картину*).

Марина. Её надо уничтожить. Я её разрежу.

Аркадий (*вальяжно, элегично*). Этим ты уничтожишь меня.

Марина. Это ты был в шкафу, ты... Свёл меня напрочь с ума своими изменами, я уже ничего не соображаю. Признайся, что это ты был в шкафу.

Аркадий. Ну, если тебе так больше нравится, хорошо, это я был в шкафу. Абсурд...

Марина. Хорошо. А зачем ты её на балкон выпихнул? А, поняла, ты и картины свои хочешь унижить.

Аркадий (*с небрежным одухотворением*). Возможно. Считай это суеверием. Картина должна пройти стадию отверженности, пусть символически, но должна. Это своеобразный ритуал. У каждого мастера своя кухня. Символика, символический обряд очень важны в жизни, посредством символического обряда, символической жертвы можно избежать дурных обстоятельств, избежать настоящих непоправимых жертв. Древние это чётко понимали.

Марина. Древние, да? Тогда объясни, зачем ты картину теперь перевернул лицом к стене? Тоже ритуал? Просто ты – не картине, ты мне мстишь, что я умней и талантливей тебя. Одну пенсионерку так недавно свели с ума. Позвонили в дверь, поставили перед дверью большое зеркало. Она открывает, а за дверью она же. И свихнулась. Ты хочешь от меня избавиться, а квартирой моей завладеть. Поэтому и спрятался в шкаф.

Аркадий. Ну не выдумывай, Мариш. Я даже не помещусь туда.

Марина. А мы сейчас проверим. Полезай в шкаф!

Аркадий. Это как-то ниже моего достоинства, Мариш.

Марина. Лезь, тебе говорят.

Аркадий поднимается с кровати, подходит степенно к шкафу, сует туда одну ногу.

Аркадий. Абсурд!

Марина. Давай-давай, полезай. Погубил мою молодость, красоту, ум, психическое здоровье. Мне уже не вечернее платье нужно, всё равно ты со мной никуда не выходишь, мне смирительная рубашка нужна от Купор! Лезь в шкаф.

Аркадий втискивается в шкаф. Марина прижимает за ним дверь, поворачивает ключ.

Аркадий (*из шкафа*). Маринчик!

Марина. Ничего, терпи! Посиди, подумай о своих безобразиях, выйдешь другим человеком... (*В зал*). Выпущу его не сразу, к ужину. Сидит там, молчит, обижается. Его всё равно не исправишь, а поучить надо. У него на венчании даже венец набок съехал, заломился ухарски: не впервой! Многоженец! Мне он не простил моей царственности. Буржуа великодушны, они могут простить всё, не могут простить только царственности. Прекрасное должно быть величавым, вот этого он не способен так оставить. Уж казалось бы, на что величав! А венец съехал набекрень. Всё потому, что царственность близка к мученичеству, она по краю ходит, на облако ступает. А они, вот эти, не хотят мучиться. Не умеют, что ли?

Аркадий (*из шкафа*). Маринчик! Мы будем любить друг друга всегда-всегда, правда?

Марина замирает в хмурой растерянности.



ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сцена первая

Явление 1

Марина.

Двухспальная кровать посередине сцены. По периметру спроецированы ветки сосен, тёмные от обложного дождя. Звук дождя. Марина лежит на кровати в свитере поверх ночной рубашки с книгой.

Явление 2

Марина и Платков.

Входит Платков. Он сед, очень худ, это не столько старость, сколько непоправимое изнурение. Одет под стать Марине, шерстяная кофта поверх подтяжника.

Платков. Марин, у тебя реланиумчика нет?

Марина. Куда, Гена, тебе реланиумчик... Присядь. У тебя такой вид, что, не шуми дождь, я подумала бы, что на дворе заморозки. Ты словно инеем покрылся. Почему ты спал на террасе с собакой на подстилке, я же тебе нормально постелила?

Платков. Не знаю, как-то вынесло меня туда ночью. Наверное, двери перепутал. Пошарил в темноте, чувствую что-то доброе, тёплое, и прилёг. У нас всегда большие собаки были. Ты знаешь, мне не привыкать.

Марина. Юлька тебя с собакой на коврик клала?

Платков (*с достоинством*). Почему же... Я сам с собакой на коврик ложился.

Марина. Ну да, какая разница. К тому же – на коврике та собака повернее будет. Я тебя, Гена, понимаю. У меня та же дилемма. Тем более что Аркаша с нашим псом Фокой, с которым ты ночевал, – они на одно лицо. Я иногда их путаю. Думаю, пёс Фока в комнату заглядывает, я ему: «Пошёл вон, вонючка!». Приглядываюсь, это на самом деле Аркаша заглянул. Или заглянет Аркаша, я ему: «Наконец в твоём лице я вижу что-то человеческое, живое. Что с тобой сегодня?». Приглядываюсь в потёмках, а это Фока есть просит.

Платков. Мы вчера как-то мало поговорили.

Марина. С тобой, думаешь, вчера можно было поговорить? Ты пришёл как призрак. А я уже привыкла. Ко мне постоянно тут призраки навешиваются. Просыпаюсь, Митя Протазанов сидит на кровати. Я уже привыкла. И тут я подумала: что если призрак ко мне пришёл, как обычно? Весь вечер вчера не покидала эта мысль. Ты сидел и всё время пытался начать разговор, очень многозначительно собирался с мыслями и делал решительный вид. Я наблюдала за тобой и думала: «Так призрак передо мной или не призрак?». Только когда ночью я выглянула на веранду и увидела тебя спящим с собакой в обнимку, я поняла, что ты не призрак, а вроде как живой человек. Хотя, знаешь, с другой стороны, мне и сам Фока показался сначала призраком, когда приблизился поздним вечером ко мне возле речки. Мелькнул тенью к моим ногам. Это потом я ему уши лечила, простреленную лапу...

Платков. Да, я понимаю... Но я всё-таки намереваюсь с тобой переговорить. Вчера я просто был слишком утомлён с дороги.

Марина. Больше скажу. Ты был так вчера утомлён, как будто шёл пешком от Печерского моря или совершил перелёт с Марса. Это было какое-то пространственное утомление, утомление космических пространств. Вряд ли реланиумчик тут поможет.

Платков. Реланиумчик – не уверен. Но ты мне можешь помочь. Ты всегда умела помочь в таком положении.

Марина. А какое у тебя положение?

Платков. Марина, ответить на вопрос. Неужели меня невозможно полюбить?

Марина. А почему ты сомневался?



Платков. Ну ты меня не полюбила в своё время, ушла, сбивая одуванчики.

Марина. Ой, я вообще не по этой части. Меня не бери в расчёт. Ты помниться говорил, что когда тебя повысили до алтарника, в тебя влюбилась девушка из церковного хора. Она же – влюбилась!

Платков. Не было никакой девушки из церковного хора.

Марина. Да нет, думаю, она-то была. Но тебе она была без надобности. Тебя с юности влечёт к чудовищам. Что поделаться? Ты от чудовища ждёшь любви, а это совсем другой коленкор.

Платков. От порядочной женщины не знаешь, что ожидать. Постоянно чувствуешь себя, как на иголках. А чудовище более-менее предсказуемо, и это даёт некоторую уверенность в завтрашнем дне. И потому, порядочная женщина нарушила бы мои планы. Я ведь собираюсь уйти в монастырь.

Марина. Так в чём проблема? Что ты от меня хочешь?

Платков. Понимаешь, прежде чем окончательно отрешиться от мирской жизни, мне необходимо испытать простое человеческое счастье. Хоть на минуту, но во всей его полноте.

Марина. Ты его разве никогда не испытывал?

Платков. Никогда. Я испытывал дивные минуты, уникальные состояния. Но простое человеческое счастье всегда обходило меня стороной.

Марина. А почему ты решил, что именно я способна дать тебе рецепт этого счастья? Пойди к простым счастливым людям и они тебя научат. Ты же пришёл к совершенному антиподу простых и счастливых людей. Впрочем, ты в своём репертуаре. К чудовищу ты идёшь за любовью, ко мне за простым человеческим счастьем. Или ты действительно призрак, или у тебя не все дома. А знаешь что, поезжай в Царицыно. Ты давно бывал у Зои? Вот кто способен научить счастью. Только хлебнёшь её пустых кислых щей, сразу чувствуешь это самое счастье.

Платков. Нет. Раньше я ездил к ней за запрещённой литературой. Нас объединял подвиг и взаимные подозрения, то есть конспирация. А сейчас в каком жанре я к ней заявлюсь? Нет, это невозможно. То счастье возможно было только в обстоятельствах режима. Теперь же режим пал.

Марина. А ко мне ты на каком основании заявился?

Платков. Я уже объяснил. Недавно я виделся с Сашей Узловым. Мы пили пиво в уличном кафе. Я решил с ним переговорить о счастье. Он взял с блюда перышко воблы, поднял его к солнцу и сказал мне: «Смотри, какая красота!». Тут я понял, что его научила простому человеческому счастью ты. Митю Протазанова ты тоже ему научила, поэтому он спокойно завершил свой жизненный круг, он получил от тебя завершающее звено. Даже его гибель не смогла тут помешать. Но от меня ты почему-то скрывает этот секрет. И я ввязался во все эти обстоятельства. Открой мне его теперь! Теперь он мне не сможет уже повредить.

Марина. Теперь ты сам его знаешь. А сюда ты притащился только за тем, чтобы удостовериться, что ты сам уже знаешь секрет счастья. И чтобы я это засвидетельствовала. Я не столько давала людям счастье, сколько всегда констатировала счастье в человеке. В этом моя ценность и моя главная роль. Посмотри на себя. Да, вот такой ценой ты получил счастье. Тебе изменяла Юля, тебя били её любовники, ты нищенствовал, но такова цена твоего счастья. И ты настолько сам знаешь, что такое счастье, что уже мне впору обратиться к тебе за советом. Ты, на самом деле, не за советом пришёл, а наоборот, пришёл дать мне совет. А не хочешь себе в этом признаться из скромности. Поэтому давай, друг, говори ты мне, что такое счастье и как его достичь? Вообще, ты был вестником счастья, а не я. Это перед тобой Саша стоял на коленях, это ты предсказал скорую гибель Мити Протазанова. Поэтому тебе слово.

Платков *(улыбается)*. Так я ведь уже сказал. Ты не заметила?

Марина. Что ты сказал?

Платков. Я сказал, что – ты ушла, сбивая одуванчики. Это о твоём счастье.

Марина. Да. Это о моём счастье. Ты прав.

Платков. Мне пора ехать.

Марина. Пойдём, я тебя провожу.

Марина встаёт, выходит вместе с Платковым. Мокрые сосны чётче проявляются, звук дождя усиливается.



Сцена вторая

Соседняя дача. В кресле сидит Зинаида Даниловна, грузная женщина, на лице следы явной, но давней красоты. Входит Марина в песочном пончо и юбке с накладными цветами, с мокрым зонтиком-тростью.

Зинаида Даниловна. А... Мариночка! Я как раз о тебя сейчас всё думала. Ты вчера спрашивала про турмалин...

Марина (*раскрывает автоматически зонтик, ставит его сушиться на пол*). Ага, Зинуль, я всю свою молодость носила кольцо с вишнёвым турмалином и не знала, что у меня за камень на руке.

Зинаида Даниловна (*вяло и царственно*). Ты в своём духе, разве можно носить неизвестный тебе камень?

Марина. Что, турмалин сломал мне жизнь? Очень возможно. Золотое кольцо с турмалином. Я его никогда не снимала, чтобы ни случилось. Я думала, оно меня в последний момент выручает из всех передряг, я тянула его к свету, чтобы оно меня к свету вытягивало. И мне казалось, что так и было. Теперь выясняется, что, наоборот, оно-то и довело меня до такой жизни. Да?

Зинаида Даниловна. Ты же не оказалась на панели. Турмалин вызывает нездоровые эротические стремления. А у тебя, Машенька, всё сублимировалось в творчество, вишнёвый турмалин – камень художников и поэтов.

Марина. Скорее так, Зин: эротические стремления у меня сублимировались в творчество, а творчество в эротические стремления, и ничего не осталось, всё сублимировалось. Вообще, у меня сегодня какое-то плохое предчувствие с утра.

Зинаида Даниловна. Это оттого, что ты вокруг запястья обмотала гранатовое ожерелье. Разве можно с твоими нервами? Для таких, как мы с тобой, гранат – тяжёлый камень, тут и предчувствия, и всякие патологические страхи. Вечно ты накликаешь проблемы. Вместо того, чтобы заняться аутотренингом и послать всё к чёрту, ты пьёшь кофе чашку за чашкой и не расстаёшься с гранатом! Разве можно!

Марина. Но он мне идёт.

Зинаида Даниловна (*медленно и ровно*). А говоришь, ничего не осталось. У тебя остался вкус. Да... идёт... особенно к этому тёмно-песочному пончо.

Марина. А что это у тебя, Зина, за новые серёжки? Лазурит?

Зинаида Даниловна. Нет, это голубая бирюза.

Марина. Прелесть какая.

Зинаида Даниловна. Не то слово. Я увлеклась последнее время сочетанием зелёного и синего, вот ношу серьги из голубой бирюзы и кольцо с зелёной бирюзой.

Марина. Оригинально до последнего предела. Дай-ка примерить. (*Глядится в зеркало, стоящее на столе*). Ой! Как мне идёт, фантастика!

Зинаида Даниловна (*чуть-чуть раздражённо*). Нет... не очень, они тебя простят. И потом, хоть ты и декабрьская, но козерог, а не стрелец, бирюза не твой камень.

Марина. Почему? Бирюза предохраняет от падения с лошади.

Зинаида Даниловна. С лошади?..

Марина (*невесело*). А что надо носить козерогам?

Зинаида Даниловна. Яшму. У тебя же есть клипсы из яшмы.

Марина. Они слишком скромные. Я привыкла в нашей глуши и в моём крошечном одиночестве одеваться, как на бал. Надену вечернее платье, колье, перстни и иду через сосняк на шпильках за молоком в магазин. Аркаша меня ведь никуда не берёт. Сопровождает меня только мой хромой пес. Уже две недели не прекращается этот сосновый дождь. Аркашка не едет. Если бы я хотела, чтобы он приехал, было бы проще ждать. А я уже не хочу, по-моему.

Зинаида Даниловна (*наставительно*). И потом, Мариш, каменная палитра это, конечно, прекрасно, но для меня бирюза, прежде всего, медикамент. С моей стенокардией, сахарным диабетом, печенью и геморроем надо сидеть с утра до вечера в бирюзе и не делать лишних движений. Я так и поступаю.

Марина. А какой камень помогает от кашля? Ты же знаешь, меня замучил кашель, то ли нервический, то ли процесс начинается. Прокашляться не могу.

Зинаида Даниловна (*больше раздражаясь*). Агат, опал. Ещё можно курить фимиами, то есть жечь янтарь.

Марина (*вставая*). Да, фимиами бы мне не помешал. Я уверена, что это – лучшее средство от моего кашля.

Складывает зонтик, уходит.



Сцена третья

Явление 1

Марина.

Марина возвращается к себе. Вечер, в доме глущая темнота. Марина пробирается почти на ощупь.

Марина (*сама с собой*). Кофе купила вчера отвратный, от него и депрессия.

Слышит странный звук. В тревоге прислушивается.

Марина. Аркаша?!.. Что у него с голосом...

Явление 2

Марина и Женщина в очках.

Марина подбирается к тумбочке, зажигает свет. На её кровати сидит крупная женщина в очках. Марина от неожиданности вздыхает и замирает.

Марина. Что вам угодно?

Женщина в очках. Я принесла Аркадию Андреечу материалы для иллюстраций.

Марина. Да, но он в отъезде.

Женщина в очках. Я его подожду.

Марина. Сколько... неделю, две?

Женщина продолжительно смотрит в упор сквозь очки на Марину.

Женщина в очках. Я знаю, что он приедет сегодня.

Марина. Удивительная осведомлённость. Я не в курсе, когда он приедет, а вы в курсе. Но, видите ли, в чём дело, не знаю, как Аркадий Андрееч, но я с вами незнакома, вижу вас впервые в жизни. И соответственно – если вы сию минуту не уйдёте, я вызову милицию.

Женщина не уходит. Так же сидит, расставив мощные ноги, глядит на Марину в упор через очки. Марина переходит в другую часть сцены посредством двухмаршевой лестницы: поднимается и сразу спускается. Женщина встает и следует через лестницу за ней. Марина садится за стол, Женщина садится перед ней.

Марина. Вы, наверное, одна из тех женщин, с которыми мой муж переспал? Что ж, он больной человек, у него сатириазис. Это мой крест. В юности у меня были друзья, которые стремились к небытию. Они стремились к небытию, но находили смерть. А это не одно и то же, учтите, смерть и небытие! А вот Аркаша во всём преуспел. Он сорвал лавры и одновременно достиг того самого небытия, к которому так наивно и доверчиво стремились те, другие художники, и которого они не обрели. И теперь он живёт в небытии. А я живу здесь вместе с ним. Понимаете? Неужели у вас нет жизни, воспоминаний, вещей, фотографий, которыми вы дорожите? Неужели вы готовы к небытию? Бегите отсюда, дело вам говорю, бегите. Я это всем любовницам своего мужа советую.

Женщина в очках (*примирительно*). Марина, мне надо с вами поговорить.

Марина. О чём?

Женщина в очках. Об Аркадии Андреевиче. Вы же понимаете, он не просто мужчина. Он типр...

Марина (*кричит тонко и пронзительно*). Пошла отсюда вон, мартышка!

Женщина встает и направляется к выходу. Марина зачем-то спешит за ней. Перед самым выходом женщина вдруг разворачивается. Она выше Марины на полголовы. Женщина берёт Марину за распущенные волосы, упирает её голову в свой живот, тащит за занавес. Раздаётся звук разбитого стекла. Хлопок двери и скрежет ключа снаружи.



Марина нетвёрдо возвращается, держась за голову. Хватает свой сложенный зонт-трость, кидает его через разбитое окно, как копье.

Марина. Фока, взять её!.. *(говорит с собакой через окно).* Да не зонт! Зонт оставь в покое. Ну что же ты такой трус и идиот? Она же твоей хозяйке шею свернула, её головой окно выбила. А ты забился в конуру, одна лапа наружу робко торчит. Теперь зонт обслюнявил. Заперла меня, бонится погони! И ведь сам скорбишь от своей бестолковости, всегда не знаешь, куда глаза спрятать. Но ничего поделать со своим идиотизмом не можешь, вонючка! И с трусостью. Мизерную собачонку увидишь, конечно, сразу с безмозглым лаем понесёшься за ней, а если она не робкого десятка окажется, сразу спасуешь. Болван, плакса, заплаканные глаза! Ты просто на стороне этого подонка, с которым ты на одно лицо. Те же близко поставленные глазки, носяра, седые усы на подбородке. Конечно, он балдеет от твоей вони, берёт тебя, верзилу, к себе на кровать. В том и есть тайна Аркаши, что он такой же, как и ты.

Явление 3

Марина и Аркадий.

Скрежет ключа. Входит Аркадий.

Марина. Приходила твоя любовница, избила меня.

Аркадий ничего не отвечает, тяжёлой с дороги поступью проходит по осколкам разбитого стекла в дом.

Явление 4

Марина, Платков, Митя Протазанов, Саша Узлов.

Темнота сгущается. В ней вспыхивает огонёк. Марина зажигает синюю лампаду, горящую вначале. Опять возникает сторожка. Тут сидят Платков, только опять юный, с чёрными кудрями, Митя Протазанов, Шура Узлов на полу по-турецки. Марина зачарованно подсаживается к ним. У всех безмятежные лица. Сосновый дождь.

Занавес.

ЕЛЕНА ВАДЮХИНА

ОТКРОЙ ОКНО

сказка

Пётр часто задумывался в детстве, откуда в их роду такая фамилия – Крыловы. Видимо, предок его любил летать, может быть, даже крылья себе делал из перьев. А может быть, просто летал в своих фантазиях. Пётр любил чувство полёта, которое возникло у него в периоды влюблённости, но в последний раз полёт этот был давно и как всегда одиноким. Сейчас он обречённо чувствовал, что никогда уже летать не будет, а будет ползать всю жизнь с работы домой и из дома на работу. Он ехал в поезде в сидячем вагоне домой после внезапной поездки, связанной с тяжёлым событием. Пётр ездил хоронить отца в далёкий город, в котором бывал до этого только раз давно ещё студентом – навещал отца в каникулы. В детстве отец огорчал его пьянством, в подростковом возрасте своим отсутствием после того, как родители развелись, а во взрослом возрасте он стал для него чужим человеком. Умер отец при странных или, наоборот, закономерных обстоятельствах: выпил много снотворных таблеток. С причиной смерти так и не определились: то ли не рассчитал количество, то ли специально принял заведомо большое количество таблеток, чтобы уснуть навечно, улететь в иной мир от одинокой жизни никому не нужного человека. Пётр ехал в поезде и думал о том, что и он со временем никому не будет нужен. Пока он был нужен дочери, чтобы просить у него денег на всякие девичьи дела. Но скоро она будет полностью самостоятельной, а он со временем будет пенсионером, и будет, наверное, также в душевном одиночестве пить снотворные таблетки. Сын с ним не разговаривал уже год, обидевшись на то, что отец подарил автомобиль дочери, а не ему, хотя ей автомобиль сейчас был нужнее, а сын со временем мог бы купить машину самостоятельно, что он вскоре и сделает. С женой он сам старается не разговаривать, потому что кроме критики в его адрес и полного пренебрежения его мнением, он вряд ли мог бы на что-то рассчитывать. Когда-то он вздрагивал при её приближении, испытывая приступ страха от заранее предсказуемой агрессии, а теперь у них почти мирное сосуществование на одной жилплощади. Оба они проводили много времени на работе, встречались изредка на кухне или в прихожей, старались проскочить мимо друг друга без лишних разговоров, только привет-привет. А ведь он был влюблен в неё, в её глаза, полные озорства, звонкий голос. Он добивался взаимности не один год, проведённый на одном курсе университета, и добился, в конце концов, её руки, но не сердца, сердце её отчаянно сопротивлялось ловушке брака, в которую загнал её разум. Жена ещё до замужества прозвала его Пятак. Почему Пятак? На поросёнка он не был похож, нос тоже не курносый. Прозвище это подхватили все однокурсники, и оно закрепилось на всю жизнь. Мать звала его Петрушей, уменьшительные имена прилипали к нему везде. На работе его звали Петей, даже начальница, будучи младше, звала его Петей. Выглядел он и вправду моложе своих сорока девяти лет. Между тем возраст упорно подбирался к круглой дате, которая всегда его пугала.

И вот сейчас он ехал по снежной равнине с унылыми строениями, бескрайними тёмными лесами. Пассажиры дремали, лампочки в ночном режиме светили тускло и неудобно. Всё одно и то же на бескрайней русской равнине, всё безнадежно и пустынно у него в душе. Об отце он старался не думать, это было больно, а собственная жизнь казалась ему однообразно безнадежной. Пётр был материалистом, но сейчас задумался: что же так тупо и упрямо болит у него, это ведь не сердце, не нервы, это болела душа, и эта-то душа была тем самым его Я, не имеющим отношения ни к внешности, ни к имени, а к тому, что так хотело летать, но не могло. Казалось, что жизнь проехала по нему катком и придавила в серые будни, похожие на однообразный асфальт. Он забыл, когда в последний раз смеялся, испытывал мгновения счастья, даже во сне он уже много-много лет не летал. Все свои желания он изгонял из себя изнуряющим бегом по выходным дням и нередко вечерними выпивками. Все его «возлюбленные», не отвечающие ему никакой взаимностью, напоминали по внешности и характеру его жену в том возрасте, когда он ещё

её любил. Он, словно игрок в карты хотел переиграть партию, но не решался, боясь снова проиграть.

За окном пошёл мокрый дождь, оконное стекло покрылось сначала снежинками, а потом каплями, пробегающие мимо фонари превратили траектории капель в бриллиантовый волшебный рисунок. Это было какое-то чудо, мрачные мысли покинули Петра, и он с восхищением наблюдал за превращениями оконного стекла. Хотелось поделиться увиденным чудом с кем-нибудь, но пассажиры спали. Петр неотрывно смотрел на чудо-орнамент, как вдруг заметил среди капель надпись – «Открой окно». «Всё, я переутомился...», – подумал Пётр и закрыл глаза, усталость напала на него, переходя в дремоту. Проснулся он от какой-то прохлады, как будто от движения воздуха. Пётр открыл глаза, женщины напротив него не было. Наверное, было остановка, и она вышла. Но присмотревшись, Пётр увидел, что сумка её на месте. Значит, просто пошла в туалет или в тамбур покурить. А что же с окном? Петр посмотрел на окно: надпись стала ещё более чёткой, а красный кружочек, на который надо было давить в случае необходимости аварийного выхода, стал мерцать. Пассажиры продолжали мирно спать, спросить некого, реальна ли надпись или это какая-то иллюзия зрения. «Всё, надо завязывать с выпивкой, глюки начались», – решил Пётр и вдруг встав, неожиданно для самого себя нажал на мерцающий кружочек. Окно опустилось, внезапный порыв ветра приподнял его из вагона, закружил в снежном вихре. Несмотря на испуг, Пётр успел подумать: «Всё-таки, удалось полетать», и вдруг приземлился на вершине высокого берега.

Вокруг были сосны, вниз уходила ледяная горка, освещённая мерцающими среди высоких сосен огоньками электрической гирлянды. Снизу навстречу ему шла девочка, везя за собой санки. Таких девочек он видел только в далёком детстве: в валенках, драповом пальто с меховым воротничком, белой кроличьей круглой шапочке и белом шарфике. Увидев его, девочка помахала ему приветливо рукой. Пётр помахал в ответ и вдруг заметил, что и сам он в валенках, в одежде родом из его детства, да и ростом он с десятилетнего мальчика.

– Привет, мальчик! – крикнула девочка. – Как здорово, что ты появился, вавоём будет веселей с горки кататься, – она произнесла это с какой-то певучей интонацией. «Видимо, на каком-то местном диалекте», – подумал Пётр.

Пётр переминался с ноги на ногу, не зная, как же ему реагировать на происходящие чудеса. «Наверное, я сплю, – решил он, – а почему бы и не покататься во сне».

Девочка поднялась на горку. Щеки у неё были румяные от мороза, носик тоже порозовел, золотистые волосы выбивались из-под шапки.

– Меня зовут Февраль, – сказала она, улыбаясь. От улыбки на её нежных щечках появлялись ямочки, а голубые лучистые глаза светились весёлыми огоньками. – А тебя как?

– А меня Декабрь, – нашёлся Петр. Сказка так сказка.

– Санки у нас одни, – сказала Февраль, – садись сзади меня. Уселся? Помчались! Эгей!..

И они полетели с ледяной горки, подпрыгивая на трамплинах. Петя почувствовал радостное возбуждение, давно забытое с тех пор, как он в последний раз прокатился в детстве с горки.

– Здорово? – спросила Февраль. – Теперь твоя очередь санки везти.

Они поднимались на горку, Петя тянул за верёвочку санки.

– Декабрь, а ты умеешь делать цветным снег?

– Нет, а как это?

Девочка растянула пальто и вытащила из кармана байкового платья целую гору фантиков.

– Бери, какие хочешь.

Петя вытащил малиновые и зелёные. Февраль закопала в мокрый снег свои фиолетовые и синие фантики, и он окрасился в аналогичные цвета, также поступил и Петя со своими фантиками.

– Давай сделаем цветные снежки, – предложила девчужка.

Они налепили снежки и стали бросать их в засохшее дерево, то попадая, а то промахиваясь. У Февраль получалось хуже с попаданием, но она не унывала, а весело комментировала свои промахи. К этому времени Пётр уже совсем забыл своё взрослое прошлое, оно представлялось ему сейчас плохим сном, который лучше не вспоминать. Будущее взрослое тоже не имело значения, главное было то, что есть сейчас, а сейчас было очень весело.

– А давай в сказку играть, – предложила Февраль.

– Как это?

– Ну, мы будем идти к Бабе Яге, будто бы мачеха послала нас к ней за огнём. Возьмём огонь, а потом удержим от неё.

– А где это баба Яга наша живёт?



– Видишь домик? Окна светятся, вот там Баба Яга и живёт.

Домик светился где-то недалеко между деревьев. Они пошли по глубокому снегу в сторону домика, проваливаясь чуть ли не до пояса.

– А давай, как будто мы уже пришли, – предложила Февраль, – а то чего-то дальше идти не хочется...

Она взяла валявшуюся ветку, подняла её высоко и сказала:

– Смотри, какой факел! Это светящийся череп, понесём его к мачехе.

Потом, посмотрев вверх с ужасом, вскрикнула:

– Ой, смотри, Баба Яга догоняет.

Она попыталась побежать. Пётр поднял голову. Ему и вправду показалось, будто бы наверху летит Баба Яга в ступе. Он хотел бежать, но тут же они оба увязли в глубоком сугробе и упали.

– Бежать надо! – кричала Февраль. Но как только они поднялись, упали опять. Они засмеялись.

– Ну, бежим же! – крикнул Петя сквозь смех, но от смеха они совсем обессилели и, стараясь подняться, падали снова и снова, и продолжали смеяться так ещё минут десять. Как только один переставал смеяться, начинал другой.

– А давай ещё прокатимся, – предложил Петя, когда смеяться стало больно щекам, и они смогли, наконец, спокойно вздохнуть. – Только я, чур, первый сяду.

Они добрались до горки, уселись на санки и стали скатываться. На этот раз в середине горки санки развернулись поперёк. Пытаясь их вернуть в прежнее положение, дети упали, на скользкой горке было невозможно удержаться, и как только они пытались встать, тут же соскальзывали вниз, наконец, они скатились до конца ледяной дорожки без всяких санок и долго хохотали, лёжа в снегу.

– Ну, и навалялись мы сегодня. У меня все варежки мокрые, – сказала Февраль.

– И у меня тоже, – откликнулся Петя. Раскинув руки и ноги, он лежал на снегу. На лицо падали снежинки, и он слизывал их языком. Потом снял варежку, подставил ладонь для снежинок, и на неё упало лёгкое пёрышко.

– Смотри, Февраль. Пёрышко упало с неба. Это пёрышко Финиста Ясна Сокола, и я смогу с ним взлететь.

– И ко мне тоже пёрышко прилетело, – откликнулась Февраль. – Давай летать.

Они взялись за руки и взлетели. Они парили в небе легко и радостно. Стоило чуть взмахнуть перышками, как они поднимались выше сосен, страшно не было, а было только весело. Освоившись в небе, Петя направил полёт на реку. Дети плавно летели вдоль русла реки, снег здесь лежал нежным ровным покровом, они снизили высоту и полетели, почти касаясь земли, а потом снова поднялись выше деревьев.

– Я всегда знал, что буду летать, – сказал счастливый Петя. – У меня фамилия Крылов.

– А давай кувыряться, – предложила Февраль.

Она отпустила его руку и стала делать пируэты в воздухе, вращаясь и делая кувырки. Петя тоже попытался, хотя у него не так ловко получалось. Зато ему удавалось взлетать очень высоко, наконец, он завис, расставив руки, лицом вверх. Облака куда-то исчезли, небо стало бархатным, усеянным множеством ярких больших и маленьких звёзд.

– Смотри! – закричал вдруг Петя, показывая на небо. Над ними из звёздочек сложилась надпись: «Ищите клад у речки».

Они прочитали надпись, обрадовались и задумались, как же этот клад найти.

– Давай приземлимся, – предложил Петя, – на лету думать не получается.

Они мягко опустились на землю, а пёрышки решили спрятать в карманы.

– Ой, а у меня, оказывается, в карманах варежки запасные есть, – обрадовалась Февраль, – замёрзли же у меня руки.

Она растирала красные ладошки.

– Давай, я согрею, – предложил Петя и стал дышать на её ладони.

– Ой, сразу согрелись, – обрадовалась его подружка. – А куда мне эти мокрые варежки девать?

– У меня карманы большие. Хочешь, я поношу?

Петя полез в свои карманы проверить, что же в них лежит. В них тоже лежали сухие вязаные варежки и какая-то записка.

Петя раскрыл её, было темно, но вдруг взошла яркая луна и они смогли прочитать послание:

«Идите к большой берёзе».

Дети обернулись по сторонам и увидели единственную берёзу. Они решили к ней полететь и прилетели, покружились над ней и приземлились.



– А что же дальше делать? – спросила девочка.

Петя внимательно осмотрел дерево и заметил надпись на коре: «Идите в сторону луны – 20 шагов». Они дошли до кустарника, дальше знаков не было.

– Может быть, покопаем? – предложила Февраль.

Они снова надели мокрые варежки и стали разгребать снег и руками и ногами. Добравшись до мёрзлой земли, ребята обнаружили коробку, завернутую в суровую ткань. Сердца их замерли от предвкушения неизвестной находки. Они с силой развернули замёрзшую ткань и увидели деревянную шкатулку. Шкатулка открылась, заиграв чудную мелодию, на дне лежали не драгоценности, как они предполагали, а ледяное сердечко. Девочка положила его на ладонь. Петя погладил ледяное сердечко пальцем, а оно тут же засветилось красным цветом, стало тёплым, но не растаяло, а разъединилось на ровные половинки. Каждый взял свою половинку.

– Я всё время хотела тебя спросить, – сказала Февраль, – отчего у тебя такое странное имя – Декабрь, как твоё полное имя?

– Ты сказала, что тебя зовут Февраль, ну я и сказал, что меня Декабрь.

– Моё полное имя Феврония. Знаешь сказку о Деве Февронии?

– А моё имя на самом деле Пётр. Я знаю, что в сказке говорилось про Петра и Февронию.

– Значит, ты моя половинка, поэтому нам и сердечки дали. Как мы станем взрослыми, ты меня постарайся найти. Ладно?

Петя нежно поцеловал девочку в холодную румяную щёчку, и вдруг снежинки опять налетели, закружились. Он попал в снежный вихрь, и оказался на своём кресле в поезде. «Ну и сон, – подумал Пётр, снова ощутив себя взрослым. – Однако я счастлив, сам не знаю, почему». Он закрыл глаза, пытаясь заснуть, но спать не хотелось. Открыв глаза, он заметил, что женщина на сидении напротив появилась снова. На щеках у неё был румянец, словно она пришла с мороза. Подошла проводница и сказала женщине, что через десять минут её остановка, и что она уже приходила разбудить её раньше, но той не было на месте.

– Странно, я, кажется, всё время спала, – ответила женщина со знакомой певучей интонацией, торопливо одеваясь и собирая свои вещи.

– Да, здесь, места заколдованные, – ответила проводница, – вечно кто-то исчезает, а потом появляется.

Пётр вглядывался в лицо женщины, пытаясь сопоставить факты, но женщина уже пошла к выходу. Пётр полез в карман, надеясь на чудо, и оно действительно было – в кармане лежала половинка стеклянного красного сердечка, правда, оно не светилось и не согревало руки, как то, что было на снежной опушке, но оно не могло попасть к нему обычным путём. А ещё в кармане была записка – та самая – о кладе. Но когда он раскрыл её, там почерком отца было написано: «Иди за ней». Пётр быстро оделся, схватил сумку и побежал в тамбур. Вот и остановка, женщина уже выходит на перрон, и Пётр за ней, не обращая внимания на испуганный возглас проводницы.

– Извините, – Пётр подошёл к женщине и протянул ей своё сокровище. – У Вас есть такая половинка?

Она посмотрела на сердечко, потом внимательно на него, опустила руку в карман и достала такую же половинку. Женщина подняла глаза на Петра и улыбнулась столь же радостно и тепло, как там – в волшебной сказке за окном. Они соединили свои половинки, и сердечко ожило. Оно опять засветилось и стало тёплым.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА рассказ

Когда Иванко открыл глаза, небо уже пылало, и валялся он среди влажноватых зарослей ольшаника в заляпанных грязью шароварах и без шапки. Внюхиваясь в пронизывающий запах сырой земли, никак не мог он вспомнить, почему оказался здесь. Карый его жеребчик обмахнулся хвостом и тоже уставился на хозяина с недоумением. Кроме жгучего чувства какой-то потери, в памяти не всплывало никаких событий, участником которых он мог быть – ощущения имели бы место при обстоятельствах самых разных. Он опёрся на ладони и сел, глядя в нечто бугрившееся среди белесых корней. Не шапка ли? Нет, вроде как две руки – мужская и женская – тянутся друг другу. Дотянуться не могут. Чувство безотчётной скорби усилилось, мешая сосредоточиться. Стоп! Это же ятрышник. Одолень-трава! – схватился он за грудь, где висела ладанка с растёртыми головками сухих кувшинок. «А во чистом поле растёт одолень-трава, – возник в его голове знакомый шёпоток. – Одолей ты злых людей: лихо бы обо мне не подумали, скверного бы не помыслили...».

– Боже правый! Мотря! Как же это?! – его внезапный вскрик спугнул угрюмую тишину леса. Он упал в траву и завыл. Безнадёжно и горько. Так воют собаки...

А лес взирал на него с немymi безликим участием – дела людские его не касались. Паныча этого он знал – купался тот всегда голышом в здешней протоке. Он вообще любил купаться. В реке, в ставке, а чаще здесь, в озерце, заросшем жёлтыми кувшинками. В мае, на пасху, когда, надев мину благочестия, бурсаки рванули по хуторам за колбасами да крапешками, он со всех ног маханул сюда. На свой хутор, где ни жестокой «кучи-маль», ни незуитской игры «в камешки». Образование почиталось родителями важней подобных пустяков. «Терпи, казак, атаманом будешь!» – отмахивался от его жалоб отец, живший чаще в шатре, чем дома. «Кулаками махать и холоп умеет, – отговаривала Ивана от мести и мать. – Трезвым разумом действуй». И гордо вскидывала покрытую батистовым рантухом голову – сам король Сигизмунд II Август жаловал им хутор. «Тебе, сынку, не с чернью цапаться, а шпагой владеть». Вот и стал ему люб томик стихов Анакреонта взамен привычного бурсакам шинка. Да ещё эта благостная вода цвета забродившего кваса. Хотя с тех пор, как впервые увидел её, свою... Свою? Свою ли?! Ивану нет и тринадцати, а она – мужняя жена. Ещё и не кого-то, а самого гетмана! Равнодушный с тех пор к потехам однокашников, он укладывался на ночь с единственной мыслью – нырнуть в забытьё, куда тут же являлась она, в парче-золоте и в сияющей диадеме над белоснежным лбом. И, размахивая ветками лавра, начинала читать ему Анакреонта. А отважный единорог затапывал насмерть клыкастого дракона. Только одному Ивану известно – и единорога, и дракона он видел на бердыше казака-охранника той ясновельможной пани, что являлась ему теперь во сне.

Всего-то единожды зацепил он её глазом в путанице дворов Белой Церкви и с тех пор потерял покой. Бывало, в самый счастливый момент сна кто-то из шутников подносил к его носу увесистый кизяк, отчего у панночки вдруг отрастали копыта и хвост, и тогда он вскакивал и с яростью тузил обидчика. А тот, гримасничая и вихляясь, припечатывал его обидной латынью «*Aegri somnia*»¹ (сновиденья больного). И все покатывались со смеху.

Впрочем, так бы всё оно и забылось – любовь молодого что лёд весенний, тем более что видел Иванко свою панночку ещё на Святки. Но кто до срока разглядел узор на ковре Всевышнего?

... В тот раз он прибежал на озеро, когда проржавевшее за день солнце уже свалилось в листья кувшинок. В нагретом до отказа воздухе друг за дружкой гонялись стрижи и, хоть до темени далеко, в зелёной ярке уже бормотал докучный лягушечий хор. Иванко уже собрался скинуть сапоги, как вдруг... его глазам предстало нечто беломраморное, в сияющей копне волос, стянутых на макушке лентой. Совсем рядом. Диана? Леда?.. Нет, что-то знакомое. Тонкие брови, глаза... Неужели она?! Неужели та самая панночка?! Тонко выгнутые брови, точёный носик, достойный резца Фидия! «Здравствуй, владычица, в это жилище входящая! – забубнил он в восторге, стараясь придержать ухнувшее под колени сердце. – Лето, Артемида, Афина? Иль Афродите златая, иль славная родом Фемида?» (Анакреонт).

Он оторвал от неё глаза лишь на секунду, чтобы шугануть некстати расквакавшуюся лягушку. И в тот же миг кто-то, прежде скрытый зарослями, бухнулся в воду с шалым реготом:

– Попалась, голубушка!

Детина был мускулист и раж, даже одежда не помешала ему в два взмаха сграбастать лилейную богиню.

– Не смей!!! – неуклюже, по-собачьи, заплескал к нему Иванко, готовый загрызть его собственными зубами. Но несравненная уже извивалась большой золотистой рыбиной в жадных руках. Совсем непросто было одолеть эту могучую наяду, запутавшуюся, скорее, в своих волосах, чем в жилистых лапах обидчика. Незаметным движением она вывернулась и, толкнув несостоявшегося Лыбеда локтем, подхватила его тело в лягающихся бурках и – отшвырнула на отмель. Звонкий смех расколол повисшую над озером тишину. Обалдевший «Лыбедь» лишь моргал, глядя, как неспешно натягивает Леда на себя юбку и сушит тяжёлые, как плети водорослей, волосы.

– Пшёл вон, щенок, – будничным тоном кинула она ему, как если бы речь шла о чём-то несостоящем её внимания. Тот двинул прочь восвояси, что-то урюмо бормоча себе под нос. И только тогда смятённый Иванко и сообразил укрыться за валуном – мокрые штаны облепили его со всем непотребством.

– Ты весь в тине, – не замечая его смущения, присела она рядом, с интересом его разглядывая. – Иди искупнись.

А у него возникла мысль, что она всё поняла про него – иначе с какой бы стати в её глазах металась искорки смеха, и... он даже сапоги не скинул. Так и сидели они, пока, кромсая воду, тонуло в осоке усталое солнце. Она, отжимая волосы, он – рассматривая большую зеленоватую лягушку.

– Лягве-то хорошо. Её никто не принудит замуж идти, – закрепила, наконец, она лентой пшеничную копну на затылке и посмотрела на Ивана прищуренными глазами цвета лягушечьей шкурки. Он сконфузился. Может, потому что была она не в карете, да к тому же без парчи и золота, и казак в кумаче с бердышом на плече уже не охранял её... И сидела совсем близко... Если осмелиться, можно даже потрогать край её юбки... Да ещё и семечки из кармана вынула. И щёлкала их мелкими, словно у мышки, зубами... Она уже не казалась ни Ледой, ни Дианой. Осязательная, она была почти домашней, немного напоминавшей мать. С той лишь разницей, что в оголённое, как у этой паненки, матернее плечо не хотелось вгрызться, как в сахарную головку. Чтобы потом смоктать его долго и сладостно. А в это – хотелось.

– Кто же принудил тебя... серденько моё? – отважился на вопрос Иван, вспомнив родительский наказ – и в королевских покоях держать себя на равных. Но тут же похолодел, представив её мгновенно потемневшие глаза и губы, которые вместе с семечковой кожурой выплунут: «Пшёл вон, щенок!».

– Ах, дытынко, ничего-то ты про меня не знаешь, – с проницательным сожалением посмотрела она в его лицо, будто понимая, что пережил он в те короткие минуты, когда наблюдал схватку в озере. – Ведь тот молокосос всюду за мной таскается, от него не спрячешься, не убережёшься... – Брови её были сдвинуты, но произнесла она это тоном совсем негрозым, а как бы даже понимающим. – Да и не чужой он мне, Тимош-то. Он пасынок мой.

– Пасынок?! – Иванко вытер рукавом мгновенно вспотевшее лицо. Грызая семечки и бесцеремонно его, разглядывая, она засмеялась.

– Ну да.

И ему показалось, что она насмешничает – вот так-то, желторотик!

– Что ж ты... за старца-то пошла? Шла бы за молодого... – заставил он себя ухмыльнуться, жалея, что намочила в кармане люлька – вот взять бы да пустить ей дым в лицо. Но тут же сам себя одёрнул.

– За молодого? – она оценивающе прищурилась. – За тебя, что ли?

Стараясь не поднимать на неё глаз, хоть и очень хотелось, он стыдливо хмыкнул. Перед ним снова возникло её нагое тело, кое-где покрытое золотистым пушком.



– Пряткий ты, однако... – её голос приобрёл неуловимые нотки издёвки. Это рассердило, и он хмуро процедил, глядя, как лягушачьи шлепки разгоняют следы всё ещё бултыхавшегося солнца:

– Я, между прочим, тоже гетманом стану. И... – он загнулся, а потом неожиданно для себя брякнул: – И тебя у гетмана отыму. Вот те крест, отыму! – И сам испугался.

Её глаза плеснули смарагдовым огнём, и она опять показалась ему греческой богиней – наверное, такие же были у Афродиты.

– И что вы за народ? Все и всегда об одном – хоть стар, хоть млад... Или я макитра пустая? Или веник для горницы? – она горделиво повела плечами и воззрилась на него с вызовом. – Я вольная – кого хочу, того люблю, мне и ваш крест не указ.

– Это... чего-то не того... – опешил Иванко, хотя мысленно восхитился: «Ишь, какая!». Невольно пришло на ум вычитанное у Ксенофонта Коринфского: «Вы, жрицы богини Пито в богатом Коринфе! Возжгите благоухания перед изображением Афродиты и, призывая мать любви, умолите её не отказать нам в её небесной милости! И дай нам то блаженство, которым мы наслаждаемся, срывая нежный цвет вашей красоты».

– Да уж, отымешь! Подрасти только чуток. А как станешь гетманом, может, я и сама к тебе приду! – И озарила одной из тех улыбок, которыми так богаты знающие себе цену женщины.

– Подрасту, – хмуро пообещал он. И запустив в лягушку подвернувшейся под руку веткой, добавил: – Ты совсем молодая. А он старый уже. Отыму как пить дать.

– А ведь и то, – подняла она глаза, будто прикидывая, правду ли сказал. – От старых дураков молодым дуракам житья нет. Да вот беда – иной седой стоит кудрявчика, – и потрепала его по вихрастой голове. – А мне, если по правде, ни старый, ни молодой ни к чему – я и сама на многое гожа... – она взглянула на него уже без игры и вызова. – Если б не татарва да турки, меня бы в замуж никто бы не загнал. Да помочь мне, если что, некому. Я ведь сирота – никто не знает, откуда пришла, никто не знает, когда уйду.

От поугрюмевших облаков ниспадали тени, и вода, прежде медовая, укрывалась кисеёй голубиноного крыла. Уже забыв о паренке, панночка молча поправляла свалившийся с ноги черевичек, и стопа её походила на выгнувшуюся в танце басурманку – вернувшись с кордона, отец нарисовал такую на лабазе.

Он быстро перевёл глаза на тлеющую даль заката. День догорал.

– Куда ж уходить собралась, ясновельможная пани? – и поднялся во весь рост – одежда на нём высохла, теперь добру молодцу и себя показать не грех. Хоть ещё не вполне выкованный, был Иванко в мать-шляхтичку – кудрявый, ясноглазый, первый пушок над губой лишь подчёркивал нежность щёк. А чётко прорисованные мышцы уже кое-что да обещали – бурсаков бивал даже старше себя.

– Ой, не знаю. На Кудыкину гору! – она оглядела его с усмешкой, от которой ему почему-то стало жарко. – Может, назад вернуться.

Он шмыгнул носом и переступил с ноги на ногу.

– В Краков, поди? Говорят, ты шляхетского рода.

– Не в Краков, чего мне там? Католичкой-то меня Данилка-подचाпий сделал, когда у сотника отбил. А до того у меня своя вера была. Я Велесу огненное приношение носила – хлеб, молоко. Это Данилка принудил меня к католичеству. Потом уж после Данилки меня Богданка крестил – тот в свою веру. А мне чего артачиться, если у них сила? Перун-то всё равно главнее. Он и Данилкой правит, и Богданкой. И мной... Слышал, поди, как они тягались за меня? – в её словах проскользнула неприкрытая гордость – ей и лестно, и забавно было вспомнить двух дядек, что друг друга за чубы таскали.

– Ты не Данилкина, ты гетмана жена, – напомнил Иванко. – Полюбился, стало быть, сотник-то?

Она не отвечала долго. Он даже подумал, что ей не хочется рассказывать. Вообще-то, и он спросил просто, чтоб не молчать. Немного жутковато ему было. Скульптурное лицо панночки в угасающем свете казалось совсем смуглым. И глаза, что звёзды ранние. Ведьма-не ведьма... Прямо Агатоклея египетская. Иванко перекрестился. Впрочем, себя он тоже представил в роли Птолемея Филопатора.

– Мне не он, мне его жена полюбилась, – наконец отозвалась она просто и с неожиданной грустью. – Хворала она, бедная, а я к ним с Замковой горы пришла. В услужение. Ходила за ней. Травками всё отпаивала, – и замолкла, слушая всё более оголтелый лягушачий клир. – Сотник-то, сказывали, уж больно добрый да справедливый. А жена у него хворающая. Вот и удумала на ноги её поднять – я ведь много трав знаю: девясил, вербена, аир болотный... Меня на капище чему только ни учили. И заклинаний много переняла... Вот про одолень-траву, например. – Пальцы её мельтешили факелами кувшинок, и он невольно залюбовался их жёлтыми сполохами. – Ну как? Хороша работа? – накинув сплетённую диадему себе на лоб, то ли о венке, то ли о себе в венке спросила она, смотря в Ивана, как в зеркало.

– Хороша! – заверил тот, произвольно представив и себя героем-цезарем рядом с ней. В колеснице. Входящим в город, где ему навстречу несут венки золотые. Но, погружённая в свои мысли, она уже и за-была о нём. Глаза её потемнели, как колодцы в безлунную ночь, и будто в себя упали.

– Я и полы мела заговорённым венком, – прошептала она тихо, как если бы сама для себя. – И веток берёзы в купальские ночи для неё нарезала. И болезнь её на дерево перевела, – её губы зашептали что-то снова. Но сколько Иванко ни силился, не разобрал ничего, кроме «огневицы-трясовицы».

– Только... – она сокрушённо качнула головками кувшинок, обнявшими её волосы, – всё равно не уберегла. Не договорился ваш бог с нашим.

– Ты же крещёная, твоё имя в святцах есть.

– Не, я Мотроной записана, – запротестовала она. – Матушка меня Мотрей звала. А Еленой – Ганна, сотникова жена. В честь лягушки из сказки.

– Елена – то греческая царица была, в её честь.

– Не выдумывай, хлопче, – она почему-то заупорствовала. – Елена и есть лягушка. Царевна-лягушка. Мне ещё в детстве про неё сказывали. А... лягушки крещёнными не бывают! – Она рассмеялась, будто невесть что дурашливое сказала. Или монетки серебряные рассыпала.

– Да нет же, она дочка Зевса была, – Иванко решил тоже не сдаваться – всё-таки целый год в бурсе штаны просиживал! – Дочка Зевса и... и этой... царицы спартанской. Леды, – он покраснел и спрятал глаза – снова вспомнилось обнажённое тело панночки. – Та сотникова Ганна не про лягушку, она про настоящую Елену сказывала. Из-за неё даже война случилась. Один молодой, Парис его звали, отнял её у старого мужа. У Менелая. И тот на Париса того войной пошёл. Большая драка была. Долгая. – Иванко был горд, что и он горазд кое-что рассказать панночке!

– А у меня не война, – разочаровалась она. – У меня всего-то лях Данилка спалил хутор казака Богданки. И меня увёз. А потом Богданкины казаки меня отбили. Повертали.

– А ты что?

– А что я? Меня-то кто спрашивал? Это на Замковой горе я кого хотела, того любила. А у вас, хочу не хочу, а замуж иди. У вас я супротив хоть панов, хоть казаков – никто. Лях католичкой сделал, а казак – православной. А всё, чтоб в жены взять, – она хихикнула. – Я ведь, когда меня с Богданом-то венчали, и знать про то не знала. Без меня всё было.

– Это как же – без тебя? – оторопел Иванко. – Этак не бывает.

Она прыснула и, как малому дитю, взъерошила его волосы.

– Делов-то! Богдан тогда с брани как развертелся и пьянствовал с одним попом. К его войску поп прибился. Патриарх Иерусалимский Паисий какой-то... Не слышал? А и никто не слышал. Тыща золотых и шесть лошадей на дороге не валяются – чего не обвенчать, якщо гетман просит? И обвенчал. Без меня. Хотя я, вообще-то с Данилкой венчана и во всех книгах записана. Потому – двумужница я, – на этот раз она, как и подобает по чину, приложила усилия, чтоб усмехнуться сдержанно, но было видно, что внутри себя она изнемогает от смеха. – Брак-то мой с Богданом, выходит, ненастоящий! – пояснила она сбито-му с толку пареньку.

– Стало быть, ты вольная? – обрадованный Иванко чуть не заплясал на месте.

– А то как посмотреть, – ушла она от ответа, наблюдая быстро густеющие сумерки. И вдруг с задиристостью спросила: – А что, та царица... Елена которая. Неужто так хороша была?

– Некраше тебя, ясновельможная! – порывисто заверил её Иван. Вечерняя тень, скрывавшая их всё больше, придала ему смелости. – Был такой поэт. Цедрений. Он писал: «У неё большие глаза, в которых светится необыкновенная кротость». И ещё писал про её «пурпуровый ротик, сулящий самые сладкие поцелуи, и божественная грудь».

Она насмешливо фыркнула:

– Ротик. Глаза... Я лучше! – и стянула ленту с рассыпавшихся волос. С мгновенье, подержав возле своих губ свалившийся веночек, она водрузила его на голову Ивана. – Береги! Это Одолень-трава. Я сюда свою силу влила. Она защитит тебя, когда за булавой отправишься. Туда дорога длинная, охотников много. Дай-ка пядь.

Он несмело протянул ей ладонь, и её дыханье защекотало его запястье. Она долго глядялась.

– Плохо видно... Но одно скажу – гетманом тебе и вправду быть. И булава с тобой до смерти останется. И... – она окинула его протяжным, как бесконечная дорога, взглядом – так смотрят, когда прощаются навечно. И улыбнулась одними уголками губ: – И... много женщин любить тебя будут!

– Я не хочу никаких женщин! – пылко перебил он её, потому что от этих слов повеяло чем-то, от чего



волна жара поднялась к самому его сердцу – то ли мчащейся татарской конницей, то ли непробудной чернотой турецкого плена, то ли бешено пульсирующим кровотоком, который и застлал глаза.

– Ты ещё дытына, а года как вода, протекут – не заметишь, – произнесла она почему-то устало, как если бы было ей лет сто и уже давно знала она то, что ткут для людей слепые Мойры. – Вот только цену жизни узнаешь, когда её потеряешь. Но мёртвому ведь и могила не страшна.

Её плечи заколыхались от сдавленного смеха, но ему почему-то стало ещё страшнее. Он вдруг ощутил внутри себя тугую спираль, которая сначала как бы слегка шевельнулась, а потом стала медленно развёртываться, всё убыстряясь и убыстряясь, и придержать её у него не было уже, ни сил, ни времени.

– А ведь идти пора... – притянула она его лоб обеими руками к себе. И поцеловала, опять опалив его горячим своим дыханьем. – Ты только имя моё не забудь, Мотрей приду к тебе.

– Завтра?

– Не знаю. Может, и завтра, – она прислушалась к пузырящейся паром воде, где продолжали неистовствовать лягушки, и с долей лукавства пообещала, – Может, завтра. А может... через полвека. Жди. Приду.

Глаза её опять смеялись, и у Ивана отлегло от сердца, он снова ощутил все ароматы вечера. Вот шалфей. Лаванда. А это тысячелистник – солдатская трава. Она кровь останавливает...

– Прощай, Иван-Царевич.

– До завтра, Елена Прекрасная!

– Мотря я.

Но... не появилась она ни завтра, ни послезавтра. И через неделю не появилась. И уже казалось ему, что и не было той встречи на озере, что привиделась она ему, как было и до того много раз. Но... откуда же тогда венки из кувшинок, головки которого он засушил и схоронил в ладанке на груди?

...А этим утром и снегом сыпануло – май на исходе, а снег.

– «Жидовские кучки» вернулись, – греясь раскалённой трубкой, хохотнул старый казак из дозорных. В походы уже не ходил, только люльку курил да следил, куда ворона носом усядется. Если на север – жди непогоды.

– *Засвіт встали козаченьки*

В похід з полуночі, – дребезжал его надтреснутый, срывающийся в верхах тенорок. –

Заплакала Марушенька

Свої ясні во-о-о-очі...

– Когда вишни цветут, всегда холодно, – хмуро заметил Иванко, кутаясь в телогрейку. «Уж сегодня-то панночка точно не придёт». Глядя в усатый профиль казака, он прикидывал, сколько же времени займёт добраться до Суботова. Получалось не так много. Тем паче, что конёк у него из баских, то бишь лихих – отец этой весной подарил. Но вот ладно ли будет отправиться без дозвола – знай родители по головке бы, пожалуй, не погладили. Но, знамо дело, охота пуще неволи: нужны были большие усилия, чтобы не думать о том, чего могло бы и не быть. Он и убеждал себя в этом, пока его буцефал, оглашая округу ржанием, нёс его по мёрзлому крутояру. Но, странное дело, чем ближе к заветной цели, тем почему-то тревожнее становилось на душе. Необъяснимое чувство катастрофы, проникая во все поры, наполняло его какой-то странной пустотой, в которой не было места надежде и от которой холодела спина, да и сам он становился безрадостен и пуст, как ковш у казака после вчерашней попойки. И когда уже возле самого въезда в Суботов его конёк, всхрапнув, заартачился, он уже не сомневался в недобром, так велика в нём оказалась гибкая способность проникать в невидимое. Он привстал в стременах и, стараясь казаться уверенней, спросил у казака, охранявшего ворота:

– Проехать дашь?

Тот разублабался с хитрецей, быстрыми глазами ощутив кунтуш паренька.

– Отчего ж не дать, если горилка есть.

Иванко вынул предусмотрительно завернутый в тряпицу пузырёк и протянул его, стараясь преодолеть своё худое предчувствие.

– Только ты это... – казак с криком отхлебнул из горлышка. – С коняки-то, милок, слезь – понесёт, не дай Господь, – и бережно заткнув горлышко, сунул за пазуху. После чего пыхнул люлькой. – С той стороны там у меня баба висит. Вчера повесили. Прямо на воротах, сразу и увидишь. Конёк у тебя молодой, испугаться может.

– Что за... баба? – стараясь не выдать обрушившегося на себя неба, спросил Иванко, чувствуя, что не удержат его ослабевшие то ли от холода, то ли шут знает отчего ноги.

– Да лиходейка одна. – С мгновенье поколебавшись, казак снова выволок из недр кунтуша горилку и ещё раз пригубил. – С казначеем на пару казну воровала.

У Ивана отлегло от сердца. К панночке такое относиться не могло.

– Полубовницей его была, – словоохотливо выкладывал казак. – С её наказу и в грех вошёл – бес попутал. – Он смачно харкнул и выгтер рот рукавом. – Если б не Тимош, всю скарбницу у гетмана растащили бы.

– Дознание вели? – поинтересовался Иванко, отпуская жеребца и собираясь толкнуть калитку.

– А Тимош и вёл – кому ж ещё-то! – было видно, что казака распирает словесная энергия. – Гетман на Бар пошёл, а грошей в скарбнице – тю-тю. А где гроши? – он весело подмигнул, и глаза его скрылись между седым кустариком бровей и усов. – Стало быть как заведено – Тимош его на дыбу, а тот, прости Господи, всё как на духу.

– На дыбу? – содрогнулся Иванко.

– Ну а куда ж его? – казак удивился. – На дыбу, само собой, а куда ж! Дыба, она, братец, кого хочешь разговорит.

– Так может... Может тот казак оговорил её?..

Дозорный подкрутил усы и ослабился.

– Может и оговорил... Дыба штука сурьёзная. Тебя б туды, ты б и маму свою оговорил – жить даже пташке малой охота, – он опять сунул люльку в рот и демонстративно затыкнулся. – У нас, у казаков, все грехи от баб, – с видом самым глубокомысленным изрёк он. – А тут – ещё и ляшка поганая.

– Ляшка? – из-под ног Ивана сначала качнулась, а потом куда-то отпрыгнула земля.

– Ну! А я про что гутарю? Её гетман у пана Чаплинского отбил. Втюрился! Говорю же – ведьма. На неё и Тимош запал было. Но того не проведё-ёшь... Э-э, хлопче, – кинулся он к сползавшему по загороду пареньку. – Ты чего?

Казак засуетился, на ходу вытаскивая заветное зелье.

– Глотни-ко, милоч, сразу и попустит...

...Она висела прямо возле калитки, на неправдоподобно жёлтеньком, будто сегодня покрашенном, тесе толщиной метров в пять. Голая. Всё сдвинулось и растворилось в глазах Ивана. Прекрасное её тело, утратив точность форм, как бы расплелось, а глаза, зелёные её глаза, недавно полыхавшие волшебным светом, казались теперь жёлтыми стекляшками. В ней уже не было ничего ни от Дианы, ни от Леды. И вообще от богини. На нереально жёлтой, будто краской намазанной, доске висела измученная окоченевшая женщина, и волокна верёвки врезались в посиневшую её шею, вывалив из глазниц залитые кровью белки. Иванко с ужасом смотрел на них. «Одолень-трава, одолень-трава!..», а самой – что же?.. Никогда... не будет? Полно! Разве эта окоченевшая женщина когда-то была той? Разве это та Елена Прекрасная, что обещала прийти к нему Мотрей?! Это какая-то другая. И непохожа вовсе... А есть ли имя у этой? Кто она?

Он выхватил из-за голенища нож – женщину надо было немедленно снять. И одеть. Или хотя бы накрыть кунтушом – холодно же!

– А ну не трожь! – совершенно обалдевший казак наставил на Ивана бердыш. – Ты чего, хлопче? Сдуришь?

– Ей же зябко! Холодно же! – издал что-то похожее на всхлип Иванко, оборотив к нему мокрое лицо и тщетно сияясь перерезать тугую пеньку. – Озябла же! Дай ей глоток, пока я канат обрежу.

– А ну геть видсея! – казак решительно ухватил Ивана за шиворот.

– Что за шум, а драки нет? – усатое лицо с весёлыми глазами нависло над ними обоими.

– Ты... ты!!! – захрипел Иванко, рванувшись, чтобы вцепиться в его горло. – Ты!.. – чтобы бросить в эту наглуую рожу всё, что кишит в горячечном его мозгу, и... Но... с неба посыпались в клочья порванные, серые от стужи облака. И покатилося солнце. Мёртвое и стылое, как вчерашний блин...

– Пшёл вон, щеноч! – недобро скалясь, Тимош прикрепил к ремню украшенную резьбой пашку и, приметив, что ветер гоняет по кочкам сбитуую пашку, обронил обыденно:

– Его лошак? Посади – и пусть катится...



...Безотрадно и страшно выл Иванко. А лес всё смотрел и смотрел на него с немым участием. Он знал много историй про людей. Но у леса свои заботы. А у людей – свои. У этого же хлопчика, он знал, впереди ещё долгая жизнь. И булава. И встреча с Ней. С Мотрей². Он будет искать её в каждой. И она придёт.

Была эта любовь? Или не было её?? А кто может утверждать? Или опровергать? Может, была. Может, не было. Любовь... Это всего лишь слово, связка шести букв. Только мы и облакаем их в плоть. А что у нас на самом доньшке, право же, не всегда и самим нам известно. И сколько ни будет женщин у Иванки – будущего гетмана Ивана Степановича Мазепы, он не забудет её...

¹ Сновиденья больного (лат.)

² Елена (Мотрона) Чаплинская (ум. 1651) – вторая жена гетмана Богдана Хмельницкого.

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

ПРЯНЬ

ПРЯНЬ

Протяжный запах прелой травы возвышался над полем.

О, как угодливо пели бабочки-однодневки свою пряную песнь лугов и полей! До краёв наполненные виноградным соком, черепашьям шагом пробирались к заливным лугам виноградные улитки. Хрустящие свежие булочки, аромат корицы, тонкий запах свежего олеандра легковесно носились над сочной зелёной травой. Переполненная фруктами корзинкапряно порхала над дурманящей постелью сочных и душистых трав. Пчёлы вдохновенно жужжали, собирая в полях урожай золотисто-густого мёда, чтобы принести его красиво поданным в лилейных баночко-корзиночках. Дети, смеясь, кружили по полю, разбрасывая повсюду чудесные ноты ангельских песнопений.

Повсюду хрустели булки, шумел камыш, журчали ручьи, порхали мотыльки.

Словами, конечно, не передать всего великолепия того дня.

– Что вы можете сказать о поэте Тончайших?

– Поэт Тончайших был неплохим поэтом.

– Как жил поэт Тончайших?

– Поэт Тончайших жил неплохо. Даже хорошо жил. Иногда к нему заходил поэт Хлебников, и они вместе крылышковали. Однажды Тончайших изобрёл золотописьмо.

– Какие странности были у поэта Тончайших?

– У поэта Тончайших были вот какие странности. Он очень любил есть прибрежные травы. Частенько, крылышкуя золотописьмом, он укладывал в кузов пуза много трав.

– Что вы можете сказать о Зинзивере?

– С Зинзивером мы не встречались.

– Что ещё вы можете добавить к своим словам?

– Ничего. Это всё, что я могу сказать о поэтах Тончайших и Зинзивере.

«Справочник завистника» – книга с таким названием вышла только что из издательства «Connaisseur». В справочнике содержатся советы, нужные всем – как завидовать правильно, экологически чисто и эффективно. Как завидовать так, чтобы никто об этом не догадался. Как завидовать так, чтобы завидовали вам самому. Как наслаждаться завистью и делиться ею с другими. Как завидовать успешно.

Книга выпущена в нескольких версиях, в том для вегетарианцев и веганов, для феминисток, персональных пенсионеров и священников.



Как плодовые мушки, люди беспомощно возятся на кухне жизни.

Литература всегда сопровождает жизнь человека. Вот вы живёте, а она берёт и сопровождает.

Готовиться ко сну надо начинать заранее. Откинуть прядь волос со лба. Промокнуть испарину. Исполнительно вздохнуть. Перекреститься. Окинуть взглядом поле битвы. Выбрать правильную позу. Почистить зубы, можно веточкой дуба с сохранившейся на ней корой. Освежить память. Проветрить комнату. Почесать в затылке. Погладить того, кто подвернётся под руку. Зевнуть. Сделать глоток чаю. Экспортировать себя из кресла в кровать, минуя прикроватную тумбочку. Зажечь свечу или включить ночник. Потянуться, обнажая пупок и части пониже спины. Выдохнуть. Подумать о том хорошем, что произошло за сегодняшний день. Сделать три-четыре глубоких вдоха и выдоха с задержкой дыхания между ними. Облобызать соседа по кровати. Ровно поставить домашние тапочки – правый должен стоять на сантиметр впереди левого.

Теперь можно спать.

ЗВОНЬ

Звенит товар.

– Ау! Ау! – кричат матросы, перекидывая через головы тюки.

Товар звенит, шлёпается в воду, шлёпает грузчиков по щекам. Апельсиново-малиновый звон плывёт над гаванью. Порт гудит. Порт работает днём и ночью. Арбузные корки густым слоем покрывают воду. Прямо в них прыгают с причалов мальчишки. Догрызть арбуз, плюнуть косточкой прямо в глаз другу – высший шик.

Вот неподалёку всплыл тюлень. Тюлени – вечные спутники подводных лодок «Малютка». Название соответствует содержанию – в управляемую педалями лодку с трудом помещается невысокий мужчина. Мальчишки любят «Малюток» и часто просят приплывающих на них шпионов покрутить педали. Те отказывают редко. Шпионов всего три – два добрых и один злой. Именно он иногда и отказывает. Говорят, это потому, что после него в салоне душно пахнет, и он стесняется.

Звенит товар. Тюки шлёпаются на арбузные корки, на тюленей, на шпионов. Ярко в зените третий час стоит солнце. Зной. Мухи и пыль. Мошкара. Запахи. Волнение. Одесса живёт.

ГРИСОФОН

Группа учёных-детей из Одессы изобрела грисофон.

Изобретение потрясло человечество.

Суть его состоит в следующем. Каждый, одев на голову грисофон, внешне похожий на тфилин, может читать мысли окружающих. И это не всё – он может транслировать им свои мысли – явно или неявно. При неявной трансляции находящийся в поле действия грисофона человек принимает транслируемые мысли за свои.

Однако же, если грисофон включён у всех, этот трюк виден – ведь грисофон позволяет прочесть замысел отправителя.

Таким образом, грисофон объединит человечество, создав единое ментальное поле.

Огромные плюсы изобретения очевидны. Теперь нельзя будет лгать. Из жизни людей уйдут насилие, преступления, совершаемые из корысти, моментально утратят поддержку лживые политики-популисты.



В то же время увеличится скорость обучения и познания нового – знания и открытия будут распространяться моментально.

Сейчас одесские учёные-дети работают над увеличением поля действия грисофона. Пока читать мысли можно на расстоянии 3-5 метров, в пределах небольшой комнаты. Ребята полны оптимизма и уже опробовали действие прибора на своих родителях и учителях.

Неожиданный кульбит.

Евгений Онегин, будучи на гастролях с одноимённой оперой в Праге, в антракте был замечен в буфете концертного зала «Рудольфинум». По свидетельствам очевидцев, он поёдал бутерброды с тюлькой и требовал форшмак.

– Видимо, этот Онегин не из Северной Пальмиры, а из Южной, – шептались в курилке зрители.

О НАСТОЯЩЕМ

Настоящий писатель – тот, кто не написал ни одной строчки.

Настоящий композитор не знает нот.

Настоящий певец не спел ни одной песни.

Настоящий художник не различает цветов.

Настоящий военачальник никогда не нюхал пороху.

Настоящий философ не знает даже того, что ничего не знает.

Мастерство – в непроявленном.

ПО ТУ СТОРОНУ ЧАЙНИКА

роман

Два друга, выросшие в одном дворе, мочившие ноги в одной луже и носившие в школе памперс за одной и той же девочкой, после начала гражданской войны и последовавших за ней хаоса и турбулентности оказываются по разные стороны чайника. Они могут друг друга видеть, правда, плохо, но не могут ни слышать, ни прикоснуться друг к другу. В результате захватывающих приключений и психоделических экспериментов через некоторое время один становится чайником, а другой – писателем, описывающим этот чайник. Текст романа должен быть набран разными шрифтами.

ПРОКАЗУЛЬ

Любичи мои! Проказуйте съ мовильно, невсебяшно, кульбитяпно, ликуяльно и брьь. Весельнь-разливань хохотунически всеохватно-космически заполонит, залопочет, затупотит и засугреванит добродеев.

Брьь! Дрожалки-хохотулинки-муррашки! Онь!

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

в переводах Владимира Штокмана

ANDRZEJ GRABOWSKI
АНДЖЕЙ ГРАБОВСКИЙ

BALLADA WYCZEKUJĄCA

Bądźmy szczerzy panowie
na to stać nie wielu
bo już po wieczery
i strzelają drzwiami
ci co się spóźnili
wcześniej nie przybyli
ale to nie byli
Trzej Królowie.

Zapachniało wierszem od sieni
z mroku myśli wynieśli poeci
Ale przecież o każdej porze
słowem można izbę rozświecić.

Zawsze znajdują się tacy goście,
którym przyda się szczypta nadziei
Przecież po to powstają wiersze
aby inni tą drogą iść chcieli...

Bo nie każdy jest gotów do lotu
Ziemia często zbyt mocno przyciąga
i nie zawsze skrzydło Anioła
sięga do tych, co mruczą po kątach.

Odszukaj my od nowa słowa
jakich wyparli się politycy
Posłuchajmy, co mówią Poeci
w wierszach, których nie można zakrzyczeć.

БАЛЛАДА ОЖИДАНИЯ

Поговорим откровенно
лишь немногим это под силу
вот конец вечера
и хлопают дверями
те что опоздали
раньше не явились
но они не были
Тремя Волхвами.

Из сеней запахло стихами
принесли свои мысли поэты
Ведь годится любое время
дом словами наполнить как светом.

Здесь всегда отыщутся гости
те что примут надежду с любовью
Для того стихи возникают
чтоб других увлечь за собою...

Ведь не каждый готов к полёту
так сильно земли тяготенье
и не часто ангелов крылья
видят те, кто прячется в тени.

Так давайте отыщем слово
позабывтое сильными мира
и услышим стихи Поэтов –
их ничто заглушить не в силах.

FRANCISZEK KLIMEK
ФРАНЧИШЕК КЛИМЕК

CO JEST WAŻNE

Zrobilem listę moich braków
tych w remanencie i w dorobku:
w portfelu – tylko znak Zodiaku;
w majątku – myślник po dwukropku.

W lodówce bryndza, w szafie mole,
w barku – to już mnie nie dotyczy,
lecz za to w kuchni – KOT na stole!
I to jest ważne! To się liczy!



Ja przy talerzu, on przy misce,
czasami bywa, że odwrotnie,
a kiedy resztki już na łyżce,
obu nam robi się markotnie.

Ale to nic i mniejsza o to,
ja się nie żalę nad złą dolą:
jeżeli serce oddasz kotom,
one ci zginąć nie pozwolą.

Bo czy to w mieście, czy też w lesie,
kot ci okaże dobrą wolę,
zawsze coś złapie i przyniesie,
nawet położy ci na stole.

Morał wynika z tego taki:
nie załamujmy się w kłopotach,
nieważne, jakie inne braki,
ważne, żeby nie brakło kota.

ЧТО ВАЖНО

Составил список я своих нехваток
имущественных и всех прочих:
в наличных – знаки зодиака;
в недвижности – только прочерк.

Моль в гардеробе, соль в кастрюле,
А в баре, как в Сахаре, сухо,
зато на кухне – КОТ на стуле!
И это важно! В этом сущность!

Я при тарелке, он при плошке,
и в них порой бывает пусто,
когда кусок последний в ложке,
становится обоим грустно.

Но это пустяки, поверьте,
ведь не грозит мне злая доля:
если котам ты отдал сердце,
они погибнуть не позволят.

Ведь в городе и в тёмной чаще
тебе твой кот всегда поможет,
поймает что-нибудь, притащит
и даже сам на стол положит.

Мораль из этого такая:
в беде печалиться не надо,
пусть нам чего-то не хватает,
важно, чтоб кот всегда был рядом.

JOZEF BARAN
ЮЗЕФ БАРАН

BALLADA O ARENIE CYRKOWEJ

na koniec - rozwiązano teatr
więc cała w sztucznych ogniach teraz
kręci się arena cyrkowa
naszych czasów metafora

nic tu na pewno wszystko na niby
małpa jest cyrku idolem
karzeł podkreca szatańską korbkę
arena toczy się kolem

niczym pileczki w palcach żonglerów
duszyczki nasze wirują wkoło
życie przestało być sztuką
i stało się sztuczką cyrkową

dwie siostry syjamskie: prawda kłamstwo
wbiegają w zwinnych podskokach
nikt nie odróżni jednej od drugiej
są w jednakowych trykotach

Bóg gdyby nawet w krzaku ognistym
pojawił się między nami
mówilibyśmy że to magik
kolejną sztuczką nas mami

lecz dokąd można w cyrku żyć
pytamy stojąc na głowie
słyszymy drwiący błazna śmiech
i to jedyna odpowiedź

БАЛЛАДА О ЦИРКОВОЙ АРЕНЕ

под конец разогнали театр
и вот вся в бенгальских огнях
цирковая кружится арена
метафора нашего дня

здесь все понарошку все набекрень
в цирке мартышка – звезда
карлик крутит шарманку день в день
арена кружится ей в такт

мячами в ловких жонглёрских руках
наши души летают вокруг
жизнь уже не искусство а так –
всего лишь искусный трюк



сестрички сямские – правда и ложь
выбегают и скачут легко
отличий меж ними ты не найдёшь
ведь они в том же самом трико

даже если бы Бог посетил этот мир
и вновь кушину нам зажёт
мы сказали бы это всего лишь факир
новый фокус для нас приберёт

сколько ж можно вниз головою стоять
в цирке жить столько зим столько лет
но в ответ лишь смеётся ехидно паяц
и другого ответа нет

ANDRZEJ KRZYSZTOF TORBUS
АНДЖЕЙ КШИШТОФ ТОРБУС

ROMANS WERTYŃSKIEGO

Tak niewiele po tobie zostało
kosmyk włosów, ot nic wielkiego
i co wieczór grany za ścianą
stary romans Wertyńskiego

Jeszcze schody co wiodą na parter
suknia która z wieszaka chce sfrunąć
i to okno na oścież otwarte
z przywiedniętą już nieco petunią

Dziś znajomi wpadli na chwilę
małą kawę wypili i poszli
zapachniało po nich jesienią
jak po naszej dawnej miłości

Nie pytali mnie wcale gdzie jesteś
twego krzesła nikt jeszcze nie zajął
choć w pokoju innym powietrzem
perfumami innymi powiało

Tylko romans ten romans za ścianą
ciągle po czymś czy po kimś tak płacze?
Pan Wertyński między książkami
chciałby życie rozpocząć inaczej

РОМАНС ВЕРТИНСКОГО

Ты оставила мне так мало
 прядь волос, вот такая безделка
 да романс Вертинского старый
 что звучал каждый вечер за стеной

А ещё крутые ступени
 да в шкафу крылатое платье
 да петуний увядшие стебли
 на окне что распахнуто настежь

Приходили сегодня гости
 кофе выпили и ушли
 после них осталась лишь осень
 словно запах ушедшей любви

О тебе не спросили ни слова
 твоё место никто не занял
 только в комнате воздухом новым
 вдруг пахнуло другими духами

Но романс тот романс с пластинки
 ну о чём иль о ком он так плачет?
 Словно сам господин Вертинский
 жизнь хотел бы прожить иначе

DARIUSZ TOMASZ LEBIODA
ДАРИУШ ТОМАШ ЛЕБЁДА

NOC NA ZAKAUKAZIU

Jewgienijowi Czigrinowi

Nigdy nie przestawaj pytać
 granatowych gór ile jeszcze
 czasu zostało –

gdy słońce zachodzi za szczyty
 i noc czarnym tiulem okrywa
 drogi

nie przestawaj wąpić
 w uludę świata

gdy milkną barwne ptaki
 żbik kryje się w uskoku



i koziorożec ssie sól
ze skały

patrz na dalekie śniegi
i nie przestawaj czuć
tętna krwi w żyłach

wpatruj się w gesty
mrok i dotykaj
wieczności

każdym ciepłym
tchnieniem

Gandzasar, 2014

НОЧЬ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Евгению Чигрину

Никогда не переставай спрашивать
у синих гор сколько ещё
времени осталось –

когда солнце заходит за вершины
и ночь чёрным тюлем окутывает
дороги

не переставай сомневаться
в иллюзорности мира

когда умолкают разноцветные птицы
дикий кот таится в расщелине
и козерог слизывает соль
со скалы

смотри на далёкие снега
и не переставай чувствовать
пульс крови в жилах

всматривайся в густой
мрак и прикасайся
к вечности

каждым теплым
вздохом

Гандзасар, 2014

«ПУШКИНСКАЯ ГОРКА»

СОКРОВИЩА «ПУШКИНСКОЙ ГОРКИ»

С 21 по 23 сентября 2018 года в Кишинёве прошёл Пятый Международный фестиваль русской литературы в Молдове «Пушкинская горка». Впервые он был приурочен к дате приезда Пушкина в Кишинёв, совпадающей с праздником Рождества Богородицы.

Организовала и провела фестиваль Ассоциация русских писателей Республики Молдова при соучастии РЦНК и Белорусского культурного центра в Молдове. Нашими гостями стали поэты и прозаики из России, Белоруссии и Украины: Виктор Кирюшин, Светлана Василенко, Игорь Михайлов, Владимир Фёдоров, Станислав Минаков (Россия), Олег Зайцев, Валентина Поликанина (Республика Беларусь), Сергей Главацкий (Украина).

Как написал по возвращении на родину в своём материале **Олег Зайцев**, председатель Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», инициатор и куратор фестиваля и одноимённого конкурса «Славянская лира»: «В ходе трёхдневных поездок по местам пребывания великого русского поэта делегация не только выступила на площадках Российского центра науки и культуры и Белорусского культурного центра в Кишинёве, дома-музея А.С. Пушкина в столице Молдовы, а также музея-усадьбы помещика З. Ралли в селе Долна, где останавливался и некоторое время проживал великий поэт, Национальной филармонии им. С. Лункевича, историко-краеведческого музея г. Бендеры, но и организовала проведение мастер-классов для молодых поэтов и прозаиков, приняла участие в работе жюри турнира юных поэтов и чтении произведений Пушкина “Они родня по вдохновенью...”, деятельно участвовала в дискуссии “Пока сердца для чести живы...” о сохранении и развитии пушкинских традиций в современной русской литературе стран СНГ, презентациях литературных проектов (периодики, фестивалей, организаций и т.п.), возложила цветы к памятникам классика русской литературы в Кишинёве, Бендерах и Долне, посетила с экскурсией знаменитую старинную Бендерскую крепость, была в числе первых посетителей передвижной выставки Товарищества русских художников Молдовы “М-Арт” “Мой брат по крови, по душе...”, принимала поэтическую эстафету “Услышь, поэт, моё призванье...” от стихотворцев Молдовы и Приднестровья, передала в дар принимавшим организациям и учреждениям свои книги, была активно вовлечена в неформальные встречи и общение... Гостей из Беларуси, России и Украины горячо приветствовали и тепло, душевно принимали не только их собратья по литературному цеху председатель АРП Молдовы Олеся Рудягина и председатель Союза писателей Приднестровья Валерий Кожушник, но и руководитель РЦНК в Кишинёве Михаил Давыдов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Сергей Чичук, председатель Белорусского культурного центра Анна Бабин, уделившие максимум внимания и создавшие максимум комфорта для почётных гостей фестиваля»...

В самом деле, программа была разнообразна и насыщена, а добрых воспоминаний и совместных планов на будущее – хватит не на одну жизнь!

«Творчество – общее дело, творимое уединёнными» – писала Марина Цветаева. Фестиваль – общее дело, творимое *странными* уединёнными, вдруг пожелавшими посвятить в святая святых – творчество ближних и дальних, заразить им, поделиться этим чудом сокровенным, – с современниками!

...Я, наконец, поняла, почему всё не получалось у меня этот материал. Попробуйте написать о любимом ребёнке, – непредвзято, – получится? Уверена, далеко не у каждого. Тем более, что, находясь в «эпицентре» события, пока фестиваль набирает обороты, живёшь, колотясь сотней сердец в сумасшедшем ритме, стараешься успеть состыковать множество необходимых для существования фестиваля деталей, ничего не упустив, и вполне закономерно, что – к окончанию фестиваля – до такой степени исчерпана, что, по прошествии времени оглянуться, попытаться что-то проанализировать – всё равно, что море



переплыть. А на твой восторг, на твою радость кто-то посторонний может быть, раздражённо поморщится, или холодно улыбнётся. Подумаешь! Эка невидаль – фестиваль! Да таких на планете – множество. И по размаху – повлечательней, и по бюджету – внушительней. Очень даже может быть. И всё-таки, «Пушкинская горка» – единственная.

В разные годы гостями фестиваля были поэты и прозаики из России, Республики Беларусь, Украины и Болгарии, неизменно увозившие с собой особое очарование моей Молдовы и, смею заметить, некое лёгкое потрясение от того, как преданно почитают на моей земле думающие люди Александра Сергеевича. Сегодня «дежурная», захватанная и, к несчастью, часто обесцененная школьной муштрой и официозным бряцаньем любовь к Пушкину сменилась для одних – новым яростным желанием «сбросить Поэта с корабля современности», другим же посчастливилось осознать уникальность и значимость человека, создавшего русский литературный язык, впервые заставившего зазвучать его в полную силу необычайной красоты. «Милость к падшим приывать» ныне не актуально, однако, что бы ни придумывали ненавистники Пушкина и разномастные местечковые *дантесы*, а ничего не могут поделать со всё более очевидной – с бегом столетий – современностью и нерушимой гармонией его произведений.

Вот и мчится наш литературный кишинёвский год между двух дат – даты рождения А.С. и даты его ухода. Мы – счастливики! У нас, кроме уникального кишинёвского Дома-музея поэта, расположенного в городском районе «Пушкинская горка» («colina Puşchin»), ещё есть волшебное село Долна с восстановленной после перестроечной разрухи усадьбой помещика Ралли, где гостил молодой поэт, в окрестностях которого встретил цыганский табор, с которым ушёл кочевать, влюбившись в Земфиру и т.д., и т.д.

Когда-то сюда неслись официальные писательские делегации со всего СССР, когда-то дорогих гостей на самом, что ни на есть, правительственном уровне опекали и «угощали» красотою Молдавии. Многоавтбусная колонна до совсем недавнего времени вывозила 6 июня и горожан – преданных почитателей «к Пушкину» – люди ездили семьями и компаниями, проводили весь день в окрестностях усадьбы, устраивались на травке, отдыхали, закусывали, пели и пили. А параллельно шёл концерт – выступали фольклорные группы из разных районов, местные жители, обрядившись «цыганами», школьники и барды, чтецы из народа и профессиональные актёры – с утра и часов до пяти вечера. Игорь Михайлов и Юрий Юрченко ещё всё это буйное действо застали, Игорь тогда, поражённый, воскликнул «Да тут у вас просто *кустурица* какой-то!».

Официального же регулярного фестиваля у русских писателей не было никогда. И, может быть, самое чудесное из того, что я придумала в этой жизни – он, – наш фестиваль «Пушкинская горка!» Спасибо РЦНК, его руководителям – «крёстному отцу» фестиваля – Рыбицкому Валентину Евгеньевичу и сегодняшнему его доброму гению – Давыдову Михаилу Владимировичу, горячо поддержавшим идею фестиваля. Спасибо моим дорогим коллегам и друзьям по Ассоциации, – без их деятельного участия в работе фестиваля я никогда не смогла бы воплотить мечту в жизнь! А в 2018 году фестиваль состоялся уже у пятый раз. И его свет и тепло до сих пор освещают мне зимние сумерки и согревает душу.

...Пушкин спасает нас от амнезии. Нас кодируют: «Не было ничего до 90-го года! Всё лучшее начинается с Великого национального собрания». Вырубает повсеместно старые деревья, сносят исторические здания, дабы отшибить память, перекаладывают ежесезонно золотоносную плитку... и, вроде бы, и правда – ни прошлого, ни будущего, – зависли в безвоздушном пространстве... А откроешь томик Пушкина и – о, счастье! Да ведь было, было, да ведь есть! И мы с вами есть! И голоса наших мам и бабушек, читавших нам, маленьким, вечные его Сказки. И есть чем дышать!

Мы вместе пережили колоссальное потрясение – развал огромной страны. Мы вместе собирали себя из осколков разлетевшейся жизни. Мы вместе – каждый в своей стране – нащупывали в трясине лжи и мерзости безвременья острова твёрдой почвы под ногами. Мы хватались за воздух. Мы нашли! Самое прочное в этом мире, – то, что не предаст, не исчезнет, не покинет, то, что невозможно вырвать из сердца – Слово. Как оказалось, самое надёжное в этом ускользающем мимикрирующем безжалостном лукавом мире – поэзия. От колыбели – до последнего земного причала. «Но лишь Божественный глагол до слуха чуткого коснётся!»...

Мы едины в своём понимании и значения Александра Сергеевича Пушкина, как мерила достоинства и чести, служения Отечеству, сострадания и чуткости души. После «Пушкинской горки» «продолжение следует» всегда и непременно! Творческие дружбы. Публикации. Новые встречи. Мы открываем миру Молдову – не только в её самобытной национальной индивидуальности, но и в радостных вариациях – в произведениях её русских авторов... Мы открываем миру Александра Пушкина – нашего Пушкина. Русская литература Республики Молдова – замечательна и многогранна. Потерпев колоссальный слом в 90-х, когда чуть ли не все русскодумающие литераторы поуждали, или умерли, она возродилась и снова звучит!

Подборка произведений гостей и хозяев «Пушкинской горки», любовно составленная редактором «Южного Сияния» Сергеем Главацким, говорит за себя. Вот эти имена.

Виктор Кирюшин – поэт, публицист, Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Секретарь Правления СП России. Лауреат премии Ленинского комсомола, Международной премии имени Андрея Платонова, премии имени Бориса Корнилова, золотой лауреат фестиваля-конкурса «Русский Стиль» в Германии, премии имени Ф.И. Тютчева. Автор книг: «Стезя», «Чередование тьмы и света», «Накануне снега и любви», «Неизбежная нежность».

Виктор Фёдорович прилетел в Кишинёв во второй раз. Именно с него, с его великодушного визита за свой счёт, начинались три года назад по благословению настоятеля Свято-Георгиевской церкви, председателя Собора Русской общины Республики Молдова Николая Флоринского наши, теперь уже традиционные, Вечера православной поэзии. Ничего подобного прежде в Кишинёве не наблюдалось. Встреча с читателями в единственной русской библиотеке им. М.В. Ломоносова, стихи из удивительной книги Кирюшина «Неизбежная нежность» – запомнились и полюбились!

Светлана Василенко – прозаик, кинодраматург. Член Русского ПЕН-клуба, Союза кинематографистов России (гильдия кинодраматургов), Союза журналистов России и Союза российских писателей. С 1996 года – первый секретарь Правления Союза российских писателей. Автор книг «Звонкое имя», «Шамара», «Рассказы», «После войны» (в соавторстве с А. Яхнисом), «Русалка с Патриарших прудов», «Дурочка», «Дурацкие рассказы» и других. Переведена на английский, немецкий, итальянский, французский, исландский, голландский, финский и другие языки.

Светлана Владимировна впервые стала нашей гостьей около десяти лет назад во время проведения «Дней русской литературы и духовности», организованных тогда Ассоциацией совместно с Конгрессом русских общин РМ. И уже дважды восходила на «Пушкинскую горку». У С. Василенко здесь уже сложился крут почитателей и верных слушателей, неизменно ждущих и жаждающих общения, с надеждой и радостью её встречающих. Дело в том, что Светлана Владимировна не только читает свои произведения, не только наполняет пространство своим удивительным солнечным обаянием, но и неизменно проводит мастер-классы по прозе, бесконечно терпеливо и профессионально разбирая поданные на них произведения. Не было случая, чтобы кто-то остался без внимания, без слов ободрения, не было случая, чтобы кто-то ушёл обиженным, – не окрылённым. В то же время и ни тени столичной «снихождительности» по отношению к неискушённым нашим молодым, а, порой, возрастным авторам она не допускает. Даже если что-то не нравится, не близко, – Василенко умеет озвучить критику в такой доброжелательной, конструктивной и аргументированной форме, так поделится секретами мастерства, что непонимание, а уж, тем более, «сопротивление» невозможно.

Владимир Фёдоров – автор 24 книг, в том числе сборников стихов «Автограф души», «Красный ангел», «Формула любви», «Небесный пилигрим», «Восьмигранная Ойкумена» и других, повестей «Звезда голуболикой Жаннет», «Скрипка», «Гражданин №1 навсегда исчезнувшего города», романа «Сезон зверя», нескольких научно-популярных изданий о традиционных верованиях. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, член Русского Географического общества, лауреат Большой литературной премии России, международной премии «Триумф», Всероссийских премий им. Николая Гумилёва и Николая Лескова, действительный член Академии духовности, член-корреспондент Академии поэзии, заслуженный работник культуры Якутии, лауреат Государственной премии Якутии, лауреат региональной премии Кирилла и Мефодия... По итогам 2013 года стал лучшим автором журнала «Чудеса и приключения». По итогам 2016 года – обладатель «золотого пера» в номинации «Драматургия» международного конкурса «Золотое перо Руси». Награждён государственным знаком отличия «Гражданская доблесть», государственной медалью А. Пушкина, литературными медалями А. Чехова, М. Лермонтова, В. Шукшина, И. Бунина.

Владимир Николаевич – главный редактор Общеписательской литературной газеты Международного сообщества писательских союзов и в настоящее время готовится номер, полностью посвящённый русским авторам Молдовы.

Игорь Михайлов – прозаик, заместитель главного редактора, заведующий отделами прозы и поэзии прославленного журнала «Юность». Автор книг: «ЗАО Вражье», «Письма из недалека», «Купание в Чухломском озере», один из четырёх авторов книги «Марокко с первого взгляда», литературный редактор книги Корrado Ауджиса «Модильяни». Лауреат премии журнала «Литературная учёба» в номинации «Проза» за 2002 год, лауреат премии Валентина Катаева в номинации «Проза» за 2006 год. Отмечен международным литературоведением как «певец малых городов России».



С Игорем Михайловым, наиболее частым гостем Молдовы, у нас сложились особые дружеские отношения. Это именно он впервые в российском журнале, – в «Юности!» – опубликовал большую подборку русских авторов Молдовы под названием «Молдавская расподия». До этого наши подборки вырывались из-под надзора трёх таможен и выходили иногда в приложении к «Литературной газете» «Евразийская музыка», – благодаря Анастасии Ермаковой. А дебют наших авторов в русском толстом журнале – заслуга Игоря. А ещё с «Юности» началась в нашем единственном литературном «толстяке» «Русское поле» рубрика «Дружба журналов», где мы уже представили и дружественное нам «Южное Сияние»!

Трепетная, красивая, архипорядочная, строгая, весёлая и добрая **Наталья Родина** – поэт, член Правления Ассоциации русских писателей Республики Молдова, ответственный секретарь, правая рука председателя АРП РМ. Автор четырёх разножанровых сборников поэзии, книги сказок для детей. Печаталась в газетах и коллективных сборниках стихов, журналах и альманахах России, Украины, Молдовы и Казахстана.

Татьяне Волошиной 34 года, по образованию она антрополог. Родилась и живёт в Кишинёве. Поэт, прозаик, автор книг для детей. Одна из инициаторов Молодёжного литературного кафе при АРП РМ «Бродячий кот». Нежный и тонкий человек мудрой души, не способный на подлость и предательство. Куратор молодёжной секции Ассоциации русских писателей РМ. В журнале «Русское поле» отвечает за рубрику «Взлётная полоса». Лауреат литературных конкурсов (в т.ч.: 3-е место в конкурсе «Новая сказка – 2018» от издательства «Аквилегия-М», шорт-лист III конкурса рассказа имени В.Г. Короленко). Публикации в журналах «Юность», «Москва», «Русское поле», «Русское эхо», в сборниках «Новые писатели». Участник форумов молодых писателей от фонда СЭИП (мастер-класс по детской литературе). Автор книг «Перелётные буквы», «Вариации солнца» (сборник рассказов, вышедший при поддержке Министерства культуры в Молдове) и «Моя первая азбука» (стихи для детей).

Марина Сычёва – поэт, руководитель Рыбницкого отделения Союза писателей Приднестровья и литературного объединения «Родник», а также член Ассоциации русских писателей Молдовы. Родилась в р. п. Чаны Новосибирской области, закончила Новосибирский инженерно-строительный институт. Как молодой специалист была направлена министерством строительства СССР на строительство Резинского цементного завода в 1989 году. Так и осталась здесь. Работает на Молдавском металлургическом заводе.

С недавних пор Марина – член редколлегии литературно-художественного и публицистического журнала «Пушкинская горка», где отвечает за рубрику «Мосты – Берег левый. Берег правый», знакомящую читателей с литераторами и деятелями культуры Приднестровья. Более двадцати лет мы друг от друга были оторваны. Теперь, сблизившись – и при помощи «Пушкинской горки», – навёрстываем упущенное.

Татьяна Некрасова родилась и живёт в Молдавии. Закончила Технический университет Молдовы. Публиковалась в изданиях «Арион», «Литературная газета», «Москва», «Веси», «Белый ворон», «Зарубежные задворки», «Зарубежные записки», «Новая реальность», «Этажи», «Европейская словесность», «Южное Сияние», «Соты», «Каштановый дом», «Северная Аврора», «Русское поле», «Русское слово», «Книголюб», «Финбан». Шорт-листёр поэтического конкурса имени Н.С. Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2013). В 2016 году вышла дебютная книга стихотворений «Трудовая книжка». Юнна Мориц в переписке высказалась о творчестве Татьяны Некрасовой для чуткого сердца исчерпывающе: «Вапа Некрасова чем-то очень похожа на Ксению Некрасову, замечательную поэтессу, есть у них общее вещество тайны. ...обе Некрасовы знают, где лежит коврик, под которым – ключик от двери, которая – без стен, потолка и окон, есть такая знаменитая картина в музее живописи, кажется, её написал Магритт». Сомневаюсь, что Таня «знает». Она просто этим «бесстенным» воздухом вещества тайны дышит. Читайте, радуйтесь!

Павел Полищук родился в 1994 году в посёлке Фрунзе на севере Молдавии. Окончил Бельцкий музыкально-педагогический колледж и Бельцкий государственный университет. Работает учителем русского языка и литературы в селе. Публиковался в газете «Русское слово», журналах «Русское поле» (Кишинёв), «Зарубежные записки» (Москва). Серебряный и золотой призёр Республиканского литературного конкурса для молодёжи «Взлётная полоса». «Лучший молодой поэт года»-2016 по результатам конкурса «Под сенью Долны». Участник Международных литературных фестивалей «Пушкинская горка – 2016» (победитель турнира поэтов), «Бессарабская осень» (2015), «Не Липки» (2016), «Авторские мосты Мэрцишора» (Гириполь, 2016, 2017), «Время больших ожиданий» (2017). Член АРП РМ.

А я на прощание позволю себе процитировать известного поэта, эссеиста, литературоведа Станислава Минакова, почтившего нас своим присутствием и написавшего замечательный материал по завершению Фестиваля: «...несмотря на бум коммуникативных технологий в современном литературном процессе в значительной мере утрачена тонкая среда, эфир, в котором распространяются культурные волны. И такие фестивали в известном смысле способствуют возрождению этой среды. Благодаря активной деятельности Олеси Рудягиной в Кишинев стягиваются,

как в некую общую гравитационную точку, литературные пространства из Белоруссии, России, Украины. Для литераторов расширяется спектр публикационных возможностей, включая географические. Визиты известных писателей также дают возможность молдавским любителям русской словесности шире познакомиться с палитрой современной русскоязычной литературы. И гостям приятно и интересно пообщаться со здешними писателями и читателями».

Сокровища «Пушкинской горки» – это искреннее тепло, которое мы дарим друг другу, понимание и единомыслие, совпадение идеалов, веры, чувства долга, осознания своей миссии на этой земле русскими литераторами разных стран. Это круговая порука добра и пушкинский дух дружества, которые царят на фестивале! Это наши удивительные гости, одаривающие нас вниманием, интеллектом, неравнодушием, знаниями. Фестиваль по-русски щедр, по-молдавски гостеприимен, – здесь невкусно не накормят, не угостят третьесортным подобием вина или стихов, не оставят в одиночестве, не позволят печалиться. Будем надеяться, что у «Пушкинской горки» осенью впереди новая высота. Много новых радостных восхождений и открытий!

Олеся Рудягина

ВИКТОР КИРЮШИН

Москва

ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ЗАВЕСА

Заглохший сад.
Пугливых яблонь ряд.
В озябших кронах трепет лунных пятен.
Есть час, когда деревья говорят,
Но их язык для нас уже невнятен.

И остаётся только горевать
Как человеческий бесполезен опыт,
Чтобы понять или истолковать
Листвы живой и первобытный шёпот.

Превратностей земная череда
Для смертного, увы, недолго длится,
Но дерево и камень, и вода
Нас памятьвей на слова и лица.

Унылому забвенью вопреки,
Не принимая тленья и распада,
Они хранят касание руки
И трепет губ,
И безмятежность взгляда.
Мы разные, но мы одних кровей
Со всем преобразившимся однажды
В молчанье камня,
Музыку ветвей,
Глоток воды, спасающий от жажды.



Задыхаюсь от косноязычья,
Но уже не зайти за черту –
Слово рыбье, звериное, птичье,
Словно кость, застревает во рту.

Снова древнюю книгу листаю,
Чей волнующий запах знаком.
Вы, от века живущие в стае,
Не считайте меня чужаком!

Беззащитен и разумом смутен,
Смуглый пасынок ночи и дня,
Я такой же по крови и сути –
Муравью и пичуге родня.

Но природа, закрывшая двери,
Немотой продолжает корить.
О, свободные птицы и звери,
Научите меня говорить!

СТАРОЕ ДЕРЕВО

Красное зарево, логово зверево,
Ворона в чёрном на мёртвом суку...
Старое дерево, старое дерево,
Всё повидало на долгом веку.

Радость – нежданна, горе – непрошено.
В небе растаяли дни – журавли.
Как тебя гнули ветра заполошные!
Гнули да только сломать не смогли.

Варится варево, мелется мелево –
Вечности неистощимая снесь.
Старое дерево, старое дерево
Снова надеется зазеленеть.

Свежей корой затынуло отметину
Молнии, плоть опалившей твою.
Слышишь, за речкой кукушка ответила
Юному, в неге любви, соловью?

Кроне густой благодарны, как терему,
Птицы, птенцов сберегая в дупле.
Старому дереву, старому дереву,
Господи, дай устоять на земле!



ДОЖДЬ

Возникшая у кромки леса,
Плывёт над лугом, погода,
Полупрозрачная завеса
Живого, доброго дождя.

Плывёт, колышется, не тает.
Вся – нежность и полутона,
Как будто музыка витает
У отворённого окна.

А там, размыты и нечётки,
Вдоль мокрых улочек пустых,
Берёз растрёпанные чёлки,
Рябин рубиновые чётки
И липы в каплях золотых.

Остановлюсь и лягу у куста,
Пока легки печали и пожитки,
На оборотной стороне листа
Разглядывать лучистые прожилки.

При светлячках,
При солнце,
При свечах
Мир созерцать отнюдь бесполезно:
В подробностях,
Деталях,
Мелочах
Не хаос открывается, а бездна.

Вселенная без края и конца
Вселяла б ужас до последней клетки,
Когда б не трепыхался у лица
Листок зелёный
С муравьём на ветке.

ИСТИНА

Давайте о главном,
О сущем,
Чему и названия нет,
Как этим вот липам цветущим,
Густой источающим свет.

Что толку в раскладе учёном,
Ведь истина наверняка
В неявленном,
Ненаречённом,
Непонятом нами пока.



Как некая дивная птица,
Внезапно мелькнёт у лица...
И манит она,
И таится,
И гибнет
В руках у ловца.

ЖИЗНЬ

Просто ужин на плите,
Просто взгляды, встречи, лица...
Жизнь – прогулки в темноте
С тайной жаждой
Заблудиться.

Вот провал, а вот проём.
Дал же Бог такую ночку!
Оступаемся вдвоём,
Только падать
В одиночку.

Ветер вечности – реки
Продувает,
Злой и хлесткий,
Отношений тупики,
Заблуждений перекрёстки.

Наступает в свой черёд
То, что было многократно:
Даже двигаясь вперёд,
Возвращаешься в обратно.

Прорастает, как лоза,
Наше прошлое в грядущем,
Но раскаянья слеза
Не видна во след идущим.

Так бывает и притом
Понимать необходимо:
Человеческим судом
Только явное судимо.

Всё же тайного стыда
Малодушно не отриньте,
Чтоб не спинуть без следа
В этом странном лабиринте.

НОЧЬЮ

Густеет ночь у Девичьего вира –
 В округе полусонной
 Ни огня.
 Загадочнее сотворенья мира
 Грядущее возникновенье дня.

В крошечной тьме неясно отразятся
 Неровный шаг
 И сбивчивая речь...
 Подумаешь:
 Откуда свету взяться?
 Да и кому дано его зажечь?

И призрачным покажется вращенье
 Вокруг светила тверди и воды.
 И долго душу мучит ощущение
 Какой-то неминуемой беды.

Льнёт паутина к седеющим мхам.
 Свет убывает.
 Время рождаться грибам и стихам.
 Так и бывает.

Снова сгорают в багряном огне
 Тихие рощи.
 Время подумать о завтрашнем дне
 Строже и проще.

Что там в логоу, на ветру трепеща,
 Шепчет осина?
 Время прощать,
 Даже то, что прощать
 Невыносимо.

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО

Москва

ТАЙНЫЙ «ГАМБРИНУС»
 рассказ

В начале 90-х годов фильм по моему сценарию «Шамара» снимали в городе Николаеве. Причём снимали в два приёма: не управившись за одно лето, доснимали в следующее. В первое лето обошлись без меня. А вот во второе – не смогли. У режиссёра не получался финал фильма.



Дело в том, что уже в период написания режиссерского сценария, а потом и во время съёмок, сюжет настолько видоизменился и, дрейфуя, ушёл в свободное плавание, что опять понадобился сценарист, дабы собрать все сюжетные линии в пучок, вытянуть кинокорабль, терпящий бедствие, из бурных волн океана и довести его до какого-нибудь причала.

Мне позвонили со студии и срочно вызвали на съёмки фильма.

Это был мой первый большой фильм («полный метр», как говорят кинематографисты), и я кинулась на помощь.

На станции меня с радостью встретила помреж фильма, и тут же потащила на съёмки.

По съёмочной площадке ходило множество народа: художник фильма красил фанерные ящики в канареечный цвет, светотехники ставили свет, оператор, сидя на подъёмном кране и глядя в объектив, поднимался то вверх, то вниз, – всеми ими руководила кинорежиссёр, двадцатипятилетняя девушка небольшого роста, Наташа Андрейченко. Съёмочная площадка скорее напоминала судостроительную верфь, – ими, собственно, и славился город Николаев.

С Наташей мы обнялись, и она подвела меня к группе актёров, сидящих неподалёку от съёмочной площадки, на берегу реки. Они уже были готовы к съёмкам: в гриме и костюмах.

– Знакомься! – сказала она мне. – Это герои фильма: Лера, Рая, две Гали, Устин...

Пожимая руки актёров и глядя им в глаза, я пережила странное чувство. Чувство это было мистическим, не похожим ни на какое другое: ведь я пожимала руки своим героям, которых выдумала.

Которых создала почти из ничего, из праха пережитой жизни, вызвала из небытия. Может быть, с таким же чувством наш общий Создатель иногда дотрагивается своей дланью до нас, созданных им людей...

Самой последней подошла актриса, игравшая главную роль в фильме, – роль заводской заводной девахи Зинки – Шамары. Она, единственная из всех, не была похожа на мою героиню: слишком красива, стройна, как сейчас сказали бы – гламурна. Протянув руку, она назвала своё настоящее имя:

– Ира!

Я вежливо спросила её: «Где вы работаете, Ира?», и готова была услышать от неё что-то типа: в кино или театре.

– В заводе! – неожиданно сказала она.

Произнесла она это низким, сильным, каким-то необработанным голосом и дико, свирепо, совсем, как моя героиня, сверкнула на меня глазами.

В тот момент я чуть было не потеряла сознание, словно реальность – нет, сама земля – расступилась подо мной, и я рухнула вниз в какой-то провал, оказавшись в ту же секунду в реальности иной, существующей одновременно с этой.

В последующие дни я, чтобы потихоньку не сойти с ума, обходила актёров стороной, отныне считая актерскую профессию демонической, уносящей нас в иные миры и для души небезопасной.

Также вскоре обнаружилось, что я до тошноты ненавижу и святое святых кинематографа, его, кинематографа, основу основ, то есть – кинотехнику: все эти осветительные приборы, бьющие вам прямо в глаза, как на допросах, электрошнуры и кабели, чёрными змеями словно бы нарочно пересекающие вам путь к съёмочной площадке, если вы туда решитесь всё же пробраться, дымовые пашки, создающие туман, но с запахом серы, краны, тележки, всё эти камеры, «Бетакамы», линзовые насадки, видеоискатели, визиры, флешметры, фильтры, штативы, систенды и прочее, прочее, включая хлопушку и возглас «Мотор!»...

Мне, чтобы воплотить свой замысел, требовались лишь перо и бумага.

В кино между замыслом и его воплощением втиснулись все достижения технической мысли и технического прогресса человечества. Казалось, что режиссёру, сдавленному на съёмочной площадке со всех сторон этой громоздкой техникой, творить невозможно.

Но Наташа летала между железными конструкциями, как птица, то присаживалась в поднебесье на металлическую жёрдочку крана, поближе к оператору, и заглядывая в видеоискатель, выстраивала кадр, то стремглав бросалась к актёру, и, прижавшись к его груди, что-то тому внушала, и опять поднималась высоко в небо, вскрикивая в мегафон: «Приготовились!».

На съёмках у меня была одна отрада: любоваться, как трудится режиссёр, Наташа, как она, словно домовитая ласточка, строит фильм, будто лепит свой домик на склоне скалы, как она, летая, напевая и танцуя, творит. Я считала её гением.

Но вскоре я поняла, что написанная мною реалистическая история про заводскую жизнь становится всё больше и больше похожа на балет, чем на кино, и свести её к какому-то финалу будет совсем не просто. Времени дописать финал тоже не хватало.

День мы проводили на съёмках: этого требовали Наташа и законодательство, за которым следил директор фильма, выплачивающий нам зарплату за кино-трудодни.

Ночью я сидела в номере у Наташи, где она вместе с оператором рисовала кадр за кадром будущей – завтрашней – сцены. Вслед за оператором наступала моя очередь: до четырёх утра мы с Наташей обсуждали этот треклятый финал, который мне никак не давался. Обсуждение мы запивали ликёром польского производства. Ликёр был ядовито-зелёного цвета и ядовитого же, как укус змеи, вкуса.

В восемь утра начинались съёмки.

Я ходила, уже качаясь от вечного недосыпа, и в перерывах на обороте листов сценария писала финальный монолог главной героини.

Ночью Наташа в очередной раз его отвергала.

Оставалась одна неделя съёмок, а финал так и не был мною написан. Вся группа смотрела на меня враждебно: так, наверное, единая дружная пчелиная семья смотрит на трутня.

В тот день между директором и оператором зашёл разговор о кране. Что он уже не понадобится, так как съёмки кончатся, и его надо бы отвезти обратно, где брали, – в Одессу на киностудию.

Замирая, я спросила, далеко ли Одесса.

– Рядом. Несколько часов на автобусе, – ответил директор и насторожился. – А тебе зачем?

– Просто, – соврала я.

Не знаю почему, наверное, от отчаяния, я вдруг решила уехать в Одессу. Вот так: всё бросить, сплунуть и уехать. Хотя бы на один день. Вырваться из этого ада. Из этого кино.

Честно говоря, я тайно надеялась, что, увидев легендарную Потёмкинскую лестницу, знаменитый одесский Привоз и, особенно, давнюю литературную достопримечательность Одессы – бессмертный кабачок «Гамбринус», я, насмотревшись на всё на это и, можно сказать, впитав, назло всей съёмочной группе обязательно напишу финал фильма.

Рано утром, никому ничего не сказав, я купила билет, села на автобус и уехала в Одессу.

Об Одессе было написано так много всего разного, что я вполне серьёзно считала её городом придуманным, как мы, сценаристы, придумываем сценарий, городом, которого, может быть, и не существует на свете. И поэтому ехала туда в роли сталкера и в предвкушении непредсказуемых чудес.

И непредсказуемое началось, как только я приехала и вышла из автобуса.

У выхода из автовокзала стояла бабуля и продавала варёные креветки в газетных кулёчках. Креветки тогда были большим деликатесом, и в Москве продавались только в элитных пивных барах. А тут: в кулёчках, как семечки!

Я купила волшебный кулёчек и, как драгоценность, осторожно уложила его в сумку. Наверное, я хотела отвезти кулёчек Наташе, чтобы и её приобщить к чуду.

Распросив бабулю о том, где находятся знаменитая Потёмкинская лестница, памятник Дюку и пивной кабачок «Гамбринус», я, расправив крылья, полетела легко и свободно, словно эта бабуля у входа автовокзала была не старой каргой, а феей, выпускавшей в сказочный город Одессу только тех, кто кушит у неё заветный кулёчек.

И только отошла я от неё, моей доброй бабули, как тут же хлынул дождь. Но и дождь был здесь необыкновенным. Он лил как из ведра, но был тёплым, будто я стояла в летнем дощатом душе, и на меня из бака лилась нагретая за день солнцем вода, – видимо, там, на небе, решили меня искупать и очистить, прежде чем впустить в город.

Мокрая, я бежала по улицам и разглядывала дома. От дождя краска на стенах проступила, дома стали яркими: красными, синими, жёлтыми, зелёными, – и словно бы живыми, участливо наблюдавшими за мной своими глазами-окнами. Улицы были совершенно пусты, все попрятались от дождя. Город принадлежал только мне.

Завернув за угол, я подняла голову, чтобы посмотреть, как называется улица.

– Дерибасовская, – прочла я и возликовала.

Я вошла в тихий дворик и разглядывала его, как старинную картину: деревянные терраски, болтающиеся на веревке разноцветное белье, свисающие сверху мокрые гроздья чёрного винограда...

Я вошла в подъезд дома, и он меня поразил своей чистотой, обширностью и мраморными подоконниками, на которых можно было даже лечь, если что, и поспать.

Наконец я зашла в знаменитый кабачок «Гамбринус», где седой, сердитый старик в лапсердаке зло и



вдохновенно сыграв для меня одной – в такую-то рань – на скрипке, тут же потребовал с меня какую-то фантастическую сумму в долларах. Суммы у меня не было. Денег хватало только на кофе.

Но в кофе старик мне резко отказал и даже вызвал из недр кабачка некоего «Васю». «Вася», то ли официант, то ли вышибала, похожий на молодого непроспавшегося бычка, молча выслушав брань старика («на халяву музыку не кушают!»), вытащил меня из-за стола за шкуру и выставил из заведения. Романтичная легенда, за которой я, собственно говоря, и ехала в Одессу, скандально рушилась. Демократический кабачок, куда собирались моряки и босяки всей Одессы послушать скрипача Сашку, превратился в пошлое буржуазное заведение.

Униженная и оскорблённая в своих лучших чувствах под бешеный ритм фильма Эйзенштейна, засевший в голове, я сбегала по Потёмкинской лестнице сломя голову. Чтобы успокоиться и прийти в себя, я ещё раз взлетала – по 192-м ступенькам – вверх, и опять стремглав понеслась вниз. Как та, одинокая детская коляска из фильма...

Потом я побежала по набережной и, встретив там памятник Пушкину, заплакала, жалуясь ему, словно живому человеку. Я представила Пушкина, который бежал по этой набережной, молодой и чем-нибудь раздосадованный, как и я. Мне хотелось расцеловать памятник прямо в губы.

Потом я побывала на одесском Привозе, разглядывая лица торговков и слушая их речь. Рынок был залит в приличные бетонные одежды и мало похож на тот Привоз, о котором я читала в книгах. Речь же торговков была довольно уныла и не отличалась от речи, скажем, базарных торговков из родной мне Астрахани. Уже второй миф после Гамбринуса – миф об одесском Привозе был мною развенчан в течение одного дня.

Рядом с Привозом стояли хрупкие древние старушки интеллигентного вида и продавали такие же хрупкие и древние вещи: бокал тонкого стекла, дамскую шляпу с развевающимся над нею, словно белый парус, страусиным пером, костяной веер, гусиное перо с чернильницей. Чернильница и гусиное перо вполне могли принадлежать самому Пушкину. Стоило всё копейки. Я купила, конечно. И ещё зачем-то шляпу. И веер.

Шляпу я тут же нахлобучила себе на голову. Дождь продолжался, и она служила мне вместо зонта.

На Молдаванку я не пошла, это было далеко. И вообще уже никому не нужно. Запал мой пропал. Я ещё по инерции без всякого энтузиазма немного покружила вокруг огромного серого здания оперного театра и пошла к морю. Море было последним пунктом моего романтического путешествия. Море могло бы ещё спасти легенду.

Но к морю мне подойти не удалось, там что-то строилось, или грузилось, или разгружалось, подъёмные краны крутили своими жёлтыми жирафьими шеями, то наклоняя их вниз, то поднимая вверх.

Так и не найдя выхода к морю, я решила вернуться в город и начала подниматься по лестнице, но уже не по той, главной, а по другой.

Эта лестница предназначалась для простого народа: матросов, докеров и рабочих, вкальвающих в море и в порту, – без фонарей, с обшарпанными ступенями, а иногда вовсе без них, с выбоинами, ямами, с торчащей из разломанных плит арматурой, и шла параллельно той, парадной Потемкинской лестнице, по которой ходил, как правило, праздный народ.

Поднималась я уже в темноте, на ощупь, проваливаясь в колдобины, натываясь на какие-то штыри и проклиная эту чёртову Одессу с её чёртовой лестницей и чёртовым «Гамбринусом». Пройдя половину пути, я уже стала подумывать, не вернуться ли мне обратно, как вдруг рядом с лестницей я увидела освещённое помещение. Я устремилась туда.

Это была простая пивнушка, где пили пиво как раз те матросы, грузчики и рабочие, для кого была предназначена и эта тяжелая работа в порту, и эта раздолбанная лестница, и, наконец, этот – посреди дороги – шалман.

Я вошла в пивную и обомлела. Все стены её были зеркальными! Количество матросов и рабочих, находившихся в ней, зеркалами удваивалось. Думаю, что только в Одессе могли додуматься до такого, больше нигде!

Когда я вошла, то вся эта – шумная, краснорожая, матерящаяся рать, – тридцать три богатыря, вышедшие из морских пучин, – в тельняшках и бескозырках, бесконечно отражённая в зеркалах, обернулась на меня и изумлённо замолкла.

Видимо, кроме барменши, я была единственной женщиной, посетившей это заведение со дня его основания. Да ещё по бездорожью, в ночи.



Среди полного молчания я прошла к стойке.

За стойкой, как на капитанском мостике, в бескозырке, стояла красивая золотоволосая девушка. Глаза её были разного цвета: один глаз был, как у кошки, жёлтого цвета, а другой – зелёный.

Она улыбалась.

– Кружечку? – спросила она.

– Налейте, – сказала я.

Ласково глядя на меня, она нацедила мне кружку пива и, уже передавая её мне, вдруг увидела на ней шербинку.

– О, простите! – сказала она. – Даме из такой кружки пить нельзя!

Как фокусница, откуда-то, то ли снизу, то ли сбоку она достала один-единственный высокий – дамский – с узкой талией стакан (тогда это было просто шиком, таких стаканов не водилось даже в Москве) и, налив в него пиво, торжественно подала его мне, словно в нём был не хмельной напиток, а вересковый мёд.

– У прекрасной дамы всё должно быть шикарно! – сказала она и, заговорщески подмигнув мне своим зелёным глазом, рассмеялась русалочьим смехом.

И всё сразу же задвигалось, заговорило, заходило ходуном.

Мне освободили столик, вытерли до блеска, я поставила на него свой драгоценный стакан, потом, вспомнив про кулёк с креветками, вытащила его и предложила всем угощаться.

Матросы захохотали, словно я сказала что-то очень смешное, и мне принесли дюжину огромных отборных креветок. Я ела их, отхлебывая пиво, и улыбалась им, – всем сразу, и они улыались мне тоже.

Улыбаясь, я вдруг увидела своё отражение на соседней зеркальной стене: в зеркале стояла промокшая насквозь курица с всклокоченными волосами, с лиловыми губами. Но, главное, эта курица была в шляпе! А над шляпой, как помятый парус, покачивалось страусиное перо!

– У прекрасной дамы всё должно быть шикарно! – сказала я своему отражению.

В этот момент раздалась музыка. Рядом с барменшей возник небольшого роста морячок в тельняшке с аккордеоном в руках и, растягивая меха, заиграл «Прощание славянки». Лица у всех просветлели. «Сашка! Давай нашу!» – крикнули ему, когда он закончил. И он заиграл «Шаланды полные кефали». Все запели. Хор из густых мужских голосов сотрясал стены. И как колокольчик рядом с колоколом бился звонкий голос жёлто-зелёноглазой барменши.

«Вот он, настоящий, тайный „Гамбринус“!» – подумала я потрясённо.

Из Одессы я возвращалась на поезде. Вагон был плацкартный с деревянными полками. Людей почему-то не было. Ночью я стала замерзать, и, стянув с верхней полки два матраса, укрылась ими.

Я была счастлива.

Утром я приехала в Николаев. Меня уже все искали. Я закрылась в гостиничном номере и за час написала финальную сцену. Как вы уже догадались, сцена эта была про моряка Сашку.

На другой день мы её уже снимали.

ГУСИ-ЛЕБЕДИ

Вчера ночью вышла в сад и услышала высоко над головой прощальный крик улетающих птиц. Задрала голову, но увидела только звёзды: птиц в чёрном небе не увидишь. Казалось, что это то ли звёзды гортанно кричат, то ли само неба от края до края: «Ге-ге!».

А сегодня утром вышла на улицу и увидела то там, то сям стоявших на тротуаре людей с поднятыми к небу лицами. С неба нёсся всё тот же прощальный крик. Только теперь можно было разглядеть высоко в небе птиц – то ли утки летели, то ли гуси.

Они летели не клиньями, а волнами: одна волна, вторая, третья... И так кричали, так плакали, прощаясь с Родиной, что сердце переворачивалось.

Мы, люди, стояли и тоже чуть не плакали.

**ВЛАДИМИР ФЁДОРОВ**

Москва

ПЕСНЯ ТРЁХ БЕЗДОМНЫХ ДОМОВЫХ

Ветра гиперборейские задули,
Их песне без привычки не подпеть.
И снег такой, что в нём завязли пули,
Что до меня пытались долететь.

Хранит мой дом ревущая отрада.
Или хоронит в снежной глубине?
Ушла в сугробы с головой ограда,
Часы навек застыли на стене.

Который день я в белом саркофаге
Не отличаю ночи ото дня.
Лишь строчки проступают на бумаге,
Когда её поддержишь у огня.

Зачем опять в озябший лес шагаю,
Куда смотрю с надеждой из-под рук,
Ведь чудеса давно собрались в стаю
И улетели с криками на юг.

Ведь волшебство давно легло в берлогу
И повернулось к прошлому спиной.
И даже тайна собралась в дорогу,
Не пожелав увидеться со мной.

И ближний мир лежит пустыней дачной,
Безлюдной и бездушной стороной.
И этот день, до пустоты прозрачный,
Как ледоставом, скован тишиной.

И лишь в чащобе, где таятся дымка
И где за воротник ползёт озноб,
Стучит тревожно дятел-невидимка,
Как будто гвозди забивает в гроб.

МАУГЛИ

А была такая стая дерзкая –
Не боялась ни огня, ни пуль.
И дрожала свора браконьерская,
И крестился егерский патруль.



Я не видел мускулов чугунное,
Я блее не встречал оскал.
А когда мы пели в полнолуние,
То озноб и мёртвых продирал.

И волчицы были – раскрасавицы,
Просто неумные в любви.
И хотела каждая понравиться,
И рычала нежно: «Позови...»

И была средь них одна особая,
С синевой огней из-под ресниц.
Может, я любил её до гроба бы,
Только нету гроба у волчиц...

Ах ты, стая, стая моя звёздная,
Мне такой уж больше не найти:
В час охоты – хищная и грозная,
В час любви – ангел во плоти.

Я втяну ноздрями память: мало ли...
Но в ответ не вспыхнет блеск клыков.
Я – один...
Я – старый горький Маугли,
Переживший всех своих волков.

ДОМОВЫЕ

За Чёрным Мысом, где клубятся ели
И смотрят звёзды в чёрный окоём,
Они устало у костра сидели
И что-то пели грустно о своём.

От песни этой сумрачной и древней
Сникали травы в тишине лесной,
И только где-то призраки деревни
Дрожали миражами за спиной.

И только где-то, на погосте старом,
Сокрытые годами и листвою,
Вставали тени белые по парам
И горько в такт кивали головой.

Их голоса кружил по долу ветер
Среди деревьев тёмных и чужих...
Нет ничего печальнее на свете,
Чем песня трёх бездомных домовых.



ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК

Он шагал через горы и годы,
Чтоб добычу свою отыскать.
От заката дошёл до восхода
И к закату вернулся опять.

Его злость и отчаянье гнули,
Неудача по свету несла,
Истомлённые чёрные пули
Прирастали к каналам ствола.

И когда уже не было мочи,
На краю запредельной страны
Он увидел дрожащий комочек
На иссохшей ладони сосны.

Выстрел,
Выкрик.
Счастливые слёзы.
Рот взметнулся, победно трубя...
Ночью долго он целился в звёзды,
Чтобы выстрелить утром в себя.

МАРТ

Ещё от ветра вытирают слёзы
Берёзы на обочине реки
И в подворотнях прячутся морозы,
Позёмки намотав на кулаки.

Но золотой уже распахнут улей,
И ворохнулись в омуте сомы,
И воробей серебряною пулей
Пронзает грудь растерянной зимы.

И что-то шепчет домовой на ушко,
И в голос входят утром петухи.
И сладкой тайной светится опушка,
Где в скорлупу снегов стучат стихи.

Перелётные души уплывают под звёзды,
Оставляя планете брэнность сброшенных тел.
Перелётные души, перелётные грёзы,
А ведь я не однажды в вашей стае летел.

Невпопад я рождался в окаянном столетье,
Невпопад погибал я в самых глухих боях.
И слепило до боли эпох разноцветье,
Но никак не встречалась эпоха моя.



Оставлял я потомкам завещаньем на небыль
 Арбалетные стрелы, эшафотную кровь...
 А душа уплывала с надеждой на небо,
 Забирая с собою лишь добро и любовь.

Перелётные души уплывают под звёзды.
 Как забытый подранок, я кричу на восток.
 Мне ещё для запястий не откованы гвозди,
 Мне ещё для распятыя не пробился росток.

Польхнёт под утро озаренье,
 Подарив пронзительный итог:
 Это ты моё стихотворенье,
 А не то, что сохранит листок.

Всё вместив от ада до эдема,
 Ослепляя белою строфой,
 Ты – моя великая поэма,
 В час безумства созданная мной.

Я испит до дна твоею ночью,
 И слова пустые не нужны
 Родинок плывущих многоточью
 На поляне золотой спины.

Как вести с тобой и небом битву,
 Если каждый слог настолько груб,
 Что не ляжет никогда в молитву
 Междометий опалённых губ?!

Что найти мне в словаре убогом,
 Что поставить в бесполезность строк
 Рядом с этой, выточенной Богом,
 Рифмой двух летящих к звёздам ног?!

Так давно известно людям это,
 Что не надо спрашивать волхвов:
 Чем на свете хуже для поэта,
 Тем и лучше для его стихов.

Такова поэту Божья воля,
 Чтоб платил он кровью за слова,
 Чтоб росли стихи из чистой боли,
 Всуе не плетясь, как кружева.



Чтоб его не баловали грёзы:
К звёздам вознося, бросали нищ.
И чтоб многоточия, как слёзы,
Прожигали всполохи страниц.

И чтоб лишь в последнюю дорогу,
Из-под сердца вынув горстку слов,
Дал Господь их, *радостных*, немного
Лучшему из избранных сынов.

ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

Москва

ПРАВИЛА ВОСПРИГУБЛИВАНИЯ ВИНА В МОЛДОВЕ

рассказ

– Превосходная лоза, прокуратор, но это – не «Фалерно»?
– «Декуба», тридцатилетнее, – любезно отозвался прокуратор.

Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита»

Питие определяет сознание. Хотя: обилие выпитого вина ведёт к болтливости! – говаривал Менандр. Даже воспоминание о вине способно развязать язык или вдохновить на безумный текст о вине. Бесконечный, терпкий и густой. С обилием цитат, цезур и пауз. Если, конечно, вино вкушать, а не пить.

Воспригубим! – этот тост Саши Соколова как нельзя лучше отражает отношение пьющего. Вкушающего, словно с каждым глотком вина познаёт мир, женщину, себя, космос или всё это вместе взятое.

Так пьют этот напиток королей, вспоминая итальянскую поговорку:

воду пей, как бык, а вино, как король! – в Молдове, в этой благословенной Богом земле виноградной лозы, Лидии и Изабеллы.

Вино пьют в городе по-своему, в деревне – по-своему.

В Кишинёве дегустируют, причмокивая, многозначительно округляя под глаза под размер стакана. Но всё же вино лучше всего вкушать там, где его выращивают.

В какой-нибудь в деревеньке, где винопитие – настоящий вековой неукоснительный ритуал. Вино – это жизнь. Просто мы не всегда совпадаем с этим током жизни, у нас не всегда в крови 220 вольт. Мы любим разбавлять жизнь водой.

А в Молдове вино в каждом дворе. Республика опутана виноградной лозой, как паутиной. В жилах настоящего молдаванина течёт каберне. В глазах молдаванки плещется безумный отблеск вакхического танца. Вакх живёт в Молдове. А Пушкин в глазах Земфиры.

Надо, наверное, разделить эти две полноводные реки: вино и женщины, – ненадолго, на две неравные части и участи. Разведём по разным углам. Рано или поздно они сольются в одно. В единый вихрь радости и страсти без нашего соизволения...

Даже если и не пью вино, я говорю о нём. Даже если я не пью, я уже вкушаю его аромат, выбираю бокал, думаю. Думаю о том, что вино – это молитва. Моя молитва, немного вакхическая, немного неправильная. Но когда я пью вино, я молюсь. О земле, людях, красоте, нежности, женщине, правде и любви. Словом, когда я пью вино, я люблю!

Даже когда ещё только задумчиво брожу по Дольне, куда приехал однажды двести лет спустя вслед за Пушкиным. Пушкин жил здесь в семействе помещика Ралли, бегал за Земфирой, которая курила трубку и пела глубоким грудным голосом (хочется добавить: цыганские романсы). Конечно, пела, как и каждая цыганка, сбросив сандалии, словно распутав клубок, всё лишнее. От любви к Земфире Пушкин лечился местным вином. Выпивал, как говорят всезнающие пушкинисты, по ведру в день.

И что же?

Земфира не верна?

Моя Земфира охладела?

Вакхический характер этих строк говорит сам за себя. Каждая строчка «Цыган», а вслед за ними музыка Рахманинова, словно напоены молдавской Изабеллой.

Как тут не заболеть? Не загрустить?

И вот я уже в деревне, где, наверное, бывал Пушкин. Табор стоял намного ниже. В тени дубрав. Цыган в деревню пускать боялись. Мало ли что!

Когда я ещё только задумался, то знающие люди говорили: первый двор направо, Георгий. И я иду на эту путеводную звезду, к человеку, названному в честь Георгия Победоносца. По иронии судьбы согласно святым святой Георгий побеждает змия. А я вроде бы иду служить Бахусу, то есть поклониться змию в доме победившего его!

В молдавской деревеньке об эту пору немудрено немножечко сойти с ума. Виноград созрел, пора делать вино. А в центральной России живых, а не этнографическую крестьянина и деревню, днём с огнём не найти. А если найдёте, то ничего кроме самогона и черноплодки здесь не делают. Это, конечно, вкусно, но не вполне вино. Настоящее вино произошло от винограда.

Деревня немножечко сваливается с горы, идёт или бежит под уклон, как будто она пьяна. Земля изрыта канавами, вчера прошёл дождик, и я увязано во всей этой картине: зелень, светлые стены мазанок, заборчики, огораживающие напоенный хмелем воздух, дворы с гусями и курами, и терпкую тишину горячего молдавского полудня.

Но Георгий отыскивается не сразу. Святой Георгий путает следы. Его конь скачет зигзагами. Я взбираюсь то выше, там пусто и никого, то спускаюсь. На крыльце сидит одинокая бабушка. По-русски она не понимает. Но если пальцем щёлкнуть по шее, то сразу показывает левее, туда, где у коренастого дрына, бывшего некогда колдуном с корявыми пальцами, привязан бычок. Бычок недовольно косит белком, в котором пока ещё ничего не закипает. Потому что он – молочный. Но через полгода он будет порох. Бычка я обхожу стороной. Зелёные железные ворота. Засов щёлкает, словно счёты. И я в тени каменного двора, увитого плющом и розами. На заборе – то самое ведро, которым исчерпывал своё одиночество Александр Сергеевич.

Хозяин обнаруживается не сразу, не вдруг. Он словно бы растворён во всём своём хозяйстве с бычками, гусями, утками с маленькими мохнатыми утятами, которые плавают в тазу и с любопытством обозревают нездешние ботинки. Мама сердито крикает на утят и заодно на чужака.

Тишина и спокойствие – тоже вино. И его можно пригубить небольшими глотками. Так хорошо, как будто при сотворении мира, человека ещё не придумали. Я не в счёт. Я – свидетель, я – литзаписчик времён, которые ещё не наступили. Сейчас появится Георгий, и всё начнётся.

Под пологом входной двери старой мазанки обнаруживается хозяин. Невысокий, приземистый, ширококостный, как будто нарисованный Ренато Гуттузо. Его руки привыкли к мотыге, ладонь крупная, грубая и сильная графика. Чёрно-белая. Весь молдавский крестьянин графичен и прост. Это сама живопись и природа. И мы говорим с ним, как будто были знакомы много лет тому назад. Ещё во времена Пушкина.

– Домнул Георгио, ваши соседи сказали, что у Вас есть вино?

– Есть! – коротко, как отдают честь в армии, чеканит слова домнул Георгио. И исчезает в сараюшке.

На свете покуда нас двое: домнул Георгио и аз грешный. Поэтому пауза просто необходима. Мне, чтобы насладиться созданным, а ему, чтобы поколдовать у себя в сарае. Поэтому появляется Георгий тоже не сразу. Лицо у него хитроватое и в то же время счастливое, как будто в руках у него дитя, а сам он напоминает роженицу.

В руках у Георгия полуторалитровая пластиковая бутылка, в которой бурлит красное вино, и два бокала.

Первый он наливает себе. Таково неукоснительное правило жизни. Хозяин пьёт первым. Если вино плохое и отравленное, он будет первой жертвой. Он будет один на этом свете, где нас всего пока двое. Потом наливает гостю.

Я пью вино неторопливо. Жарко, а вино охлаждает мой пыл.

Вино сухое, напоминает Изабеллу. Хозяин, улыбнувшись, пускается в пространные размышления на тему вин, купажа, кустов винограда, условий его хранения. Вино хранится в деревянных бочках в прохладном погребе. Потом, хитро подмигнув, домнул Георгио приносит ещё одну баклажку.

– Это вино другое, попробуй!

Густое, красное, как кровь, но маслянистое, готовое забродить, сделаться газированным.

Мы пробуем и его.



Словно огромная сочная дыня, солнце висит над головой. На камнях густые и черные, как кровь, наши тени, тени наших творений. За забором мычит голодный бычок. По двору, тревожно озираясь, бегает, словно утка, в цветастом сатиновом халате хозяйка, жена Георгия. И сотворил Бог женщину, и побежала она по двору домнула Георгию с полотенцем. И будет бегать вечно, куда не разрядилась батарея.

Теперь мой черёд. Я должен сделать выбор. Но я уже слегка охмелел и мне всё хорошо.

Мне хорошо, двор оплетён нитями судьбы, которые привязали меня ко двору домнула Георгию. Всё, что придумано не мной, свято. И вкусно. И всё замечательно. И я делаю свой выбор в пользу первой баклажки.

Теперь надо затанцевать здесь, застыть, раствориться в тени виноградной, в этой тёплой купели домашнего деревенского, очень простого, где всё понятно, быта. В этих запахах солнца, нагретой плитки, цветов, уток, коровы, навоза.

Жить значит пить!

На прощание мы выпиваем с домнулом Георгию ещё пару чарок доброй Изабеллы, и я слегка, а может даже уже и не слегка, пошатываясь, возвращаюсь в Долну, счастливый, как Пушкин, написавший «Цыган».

ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА

Кишинёв

МАКА БАБОЧКА ПОРХАЕТ

ЖАРКОЕ

какие там облака, господи, ах, какие..! –
сфинксы, грифоны, гарпии, крылья подняв тугие,
лежат на холмах, ловят лениво ветер,
на глазах превращаясь в зайцев, лисиц, медведей.

и ты на холме стоишь, плависься и сгораеть
все-то ветра твои – предвосхищенье края
сухо и на траве пыли тусклая позолота
на глазах превращается в искру и гром и воду

ДАЧНОЕ

приметы времени и места
и что там было неизвестно
и что там дальше не сказать
любовь не про мужчин и женщин
не про живых не про ушедших
а способ жить во все глаза

и жизнь твоя земля вот эта
и низким солнцем смерть согрета
и между ними свет как мёд
едва струится жуть лихая
и мака бабочка порхает
а всё никак не упорхнёт



СИНЕМА

облако прогорело, к ночи погасло, но
сквозь прожжённые дыры потусторонний свет
видится ясно, и долгая тьма слонем
тихо ступает, в летней густой листве
неразличима – пятна и пятна, но
кадр за кадром – вот же иная жизнь:
искрами звезда прожжённое полотно,
кино, тени и миражи –
вдруг показали то, что назвать бы сном,
да реальность позвякивает сверчком,
постукивает веткой, попахивает весной,
а ты перед ней ничком.

ПАТЕТИЧЕСКОЕ

а жизнь – то месиво, то крошево
всего плохого и хорошего,
там подсласти, а тут присаливай –
в инструкции всё расписали бы,
но нет, чёрт побери, инструкции,
лишь опыты чужие куцые,
а счастье личное-приличное –
как состоянье пограничное,
когда ни есть, ни пить не хочется,
а только выть от одиночества
и жить, и жить, и пить шампанское
под свисты ветра хулиганские

НАСТОЯЩЕЕ

это было недавно и было давно
это каждому было с рожденья дано
постучал – распахнулась заветная дверь
и за нею весь мир
а теперь – что теперь?

что осталось в тебе от того божества
для которого вмиг распускалась листва
проливались дожди польхали цветы
выходили слова за предел немоты

и трепещешь листом на вселенском ветру
и пеняешь – кому? – неужели умру
так не вспомнив за что и зачем и кому
выдыхать благодарное в жаркую тьму



ЧУТЬ ПАФОСНОЕ

музыка смертна – на время как мы, как все,
но прорастает снова и снова в каждом
сорной травой в ливневой полосе,
райской яблоней, облачной птицей, морским барашком

сколько в тебе музыки – на минуту? две?
до холодов, до осени старых мелодий хватит? –
соловьём заливаясь в кроне, сверчком стрекотать в траве,
горло драть на заборе, командовать войском в шестой палате

когда вдруг устанешь, эхо ещё звучит
в тех, кто тебя, перевирая, помнит,
а музыка умерла, но пробьются её ключи
в новорождённом – поить родовые корни

ПОКА

я рано или поздно научусь
чему-нибудь полезному, что кормит
и поит, но не притупляет чувств –
иных материй усики и корни

пока же – полдень, света озерцо
дрожит в ладонях с частотою пульса,
и клонится тяжёлое лицо
к нему сухим подсолнухом июльским

и оплетает дикий виноград
сухую вишню тенью и прохладой,
и гусеничке страшно умирать
рождённой ползать, воскресать крылатой

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

почти касаясь крышами друг друга,
росли, косили окнами, ветшали,
переживали соловьёв и ругань,
обменивались нужными вещами,

жилцами, тараканами, сиренью,
теплом и ржавчиной в чугунных венах,
дышали летом в форточки вареньем,
зимой – картошкой жареной и хреном,

и выпадали как-то незаметно
из окруженья – были и не стало –
освобождая солнечное место
стеклу и стали

САМОЗАБВЕННОЕ

любовь – не про мужчин и женщин,
не про кольцо разлук и встреч,
а про живых и сумасшедших,
и никого не уберечь –

когда, прекрасны и ужасны,
расплёскивая свет и жар,
легко взрываются и гаснут,
и этого не избежать –

отгородиться нечем, нечем,
и смерть ясна, и жизнь тесна.
а свет – он длится, безупречен,
и снова образует нас.

СОВЕРШЕННО А

шипящей волною прилива
затоplen по горло уже,
и море, как тёплое пиво,
горчит и течёт из ушей

а времени – бездна:
за что-то
присмертным и полуживым
достаточно соли и йода
на всякие раны и швы

смотри, оклемался – и даже
нащупал рапана на дне,
и, кажется, можно и дальше,
и дольше
а можно и не

ТЕРПЕНИЕ

женщина завязана узлом.
не сказать, что ей не повезло,
не сказать, что ей невыносимо,
просто что-то – ни добро, ни зло –
сквозь неё наружу проросло,
тянет, ноет, отнимает силы.

и пока его не разглядеть,
не представить, как оно – в беде,
в радости, в живом недоуменье,
кажется, что это навсегда:
и недоуменье, и беда
нервы плечи локти лоб колени



ПОКА НЕ ПЕРЕСТАНУ БЫТЬ

стоять в упругих струях сквозняка,
как рыбина в течении придонном,
в чужом воображенье возникать
негаданно, неожиданно, отрешённо,

все связи до азов упрощены
и времени течение умолимо,
и между нами толща тишины,
а кажется – дыхание залива,

и нет в нём лишних шорохов земных,
а только гул прилива терпеливый.
песчаные редуты снесены,
и отступление – удел счастливых.

СОВСЕМ ОСЕНЬ

это всё не про нас, почему-то опять не о нас,
если даже весна, на глазах проседающий наст –
или с нами – но так, что не ясно опять ни черта,
и пучок на пятак всех чудес – мимо рук, мимо рта:

это лист золотой, паутина, бессонный комар,
и молочный орех, и плывущие в дымке дома,
лошадь в белом пальто – и в минуту сводящий с ума
человек – чебурек, масло по подбородку, дырявый карман –

потому что мы есть, но так редко сейчас или здесь,
что не видим чудес – а их поле, и речка, и лес,
и сквозь всё это светится что-то с изнанки, со дна –
не сейчас и не здесь, а всегда, и везде, и о нас.

ПОБОЧНОЕ

на дорогу долгую нанизаны
путников тускнеющие бусины,
и порхают горлинками сизыми
между ними истины изустные.

кто их, пересчитывая, двигает?
что над каждой шепчет озабоченно?
рвётся нить – досада невеликая,
да ищи-свищи их по обочинам.

снова соберутся ли со временем
в четки бусы игровые камешки
нет дороге жизни повторения
так с дырой сквозною и останешься

РЕЧЁВКА

не так уж много в трудный час
простых да горьких
простых да горьких
и пусть останутся от нас
хвосты да корки
хвосты да корки

но мы стоим но мы горчим
не прокисаем
не прокисаем
и жизни нет иных причин
рецепт для женщин и мужчин
универсален

ТАТЬЯНА ВОЛОШИНА-ОРЛОВА

Кишинёв

*Рассказы из цикла «Времена блюд»***ЖАРЕННЫЙ АВГУСТ**

«Она уехала. Пе-ре-еха-ла. Переехала душу дочь».

Когда Лора пришла домой и принималась готовить ужин, эта мысль, как булавка, не давала разгладиться складке между бровями. Сегодня она купила перцы. Обычно они готовили их вместе. Кто-то жарил, а кто-то чистил. Вместе варили помидорно-луковую подливу, раскладывали перцы по тарелке, а потом сразу съедали. Перцы даже не успевали остывать.

Выгрузив мешок с перцами в мойку, Лора вытерла руку и, выудив засаленный пульт из-под вороха газет, включила телевизор. Пусть лучше бубнит вместо мыслей. Жарко. По телевизору говорили о лесных пожарах, о том, что горят торфяные болота, леса и поля.

Что-то странное для августа. На работе тоже одни разговоры о всяких аномалиях да о концах света. Сколько их уже было, концов этих? Все болтают, вот и по телевизору тоже, а потом, как ни в чём не бывало, расходятся по домам, думают о недоделанных отчётах, премиях, варят компоты и жарят перцы. А от неё уехала дочь. Да пусть бы уезжала! – Лора включила воду и принялась тереть специальной «овощной» губкой перцы. – Только красиво, достойно, а не как вор, пока никого дома нет. Спасибо, хоть деньги не тронула. Отношения с дочерью не заладились с детства. Ива считала, что мать давит, заставляет делать совершенно невозможные вещи. Но что такого невыносимого она заставляла её делать? Помочь приготовить ужин? Убрать в доме? Предупредить, что поздно вернётся? Улыбнуться и пожелать доброго утра матери, вместо того, чтобы хмуро проходить мимо. Сложный, строптивый и неласковый ребенок. Соседский Паша и то повнимательнее – очень воспитанный мальчик: и двери в подъезд предусмотрительно открывает, и сумки донесёт, и справится о самочувствии. А дочь у неё другая, равнодушная.

Даже на улице было жарко. Особенно во дворах. Из окон потянуло чем-то вкусным. «Чувствуешь, перцы жарят?». Ивина слегка кивнула своей приятельнице и жестом попросила остановиться, перевести дух. Пахло августом. Он жарился на раскалённом асфальте, под крышами бетонных домов. Лопался чьим-то терпением, сопел, пыхтел в панельных и котельцовых кастрюльках. Где-то уютно звенели столовыми приборами. Ивина подняла голову и словно увидела за занавесками в жёлтый горошек маму. Ей даже почудился её сверлящий высокий голос:

– Ива, я пожарила перцы. Почисть их.



– Ива, почисть перцы, как я учила: ножом, а не руками, ты же не свинья.

– Ива, девочка моя дорогая, знаешь ли ты, что нормальные люди жарят перцы на сковородке.

– Ива, пока не сделаешь перцы, никуда не пушту тебя.

– Ива! Во сколько нормальные люди домой возвращаются? Могла бы подумать, что мать ждёт тебя и ужинать не садится.

– Ива...

Ивина ненавидела перцы и занавески в горошек. Мать держала их всегда закрытыми, чтобы не видно было кухню. Манья преследования, что ли? Только по горящему там свету можно было понять, что мать вернулась с работы и готовит еду, а не морит себя голодом, как обещала, чтобы проучить дочь, заставить чувствовать себя виноватой. В течение трёх лет вечером Ивина приходила на это самое место и ждала, когда в окне зажжётся свет, и только потом, с облегчением вздохнув, возвращалась к себе. Мать не делала попыток выйти с ней на связь. Она не узнала, что Ива попала в больницу, что теряла работу, голодала... Ивина выдоровела, устроилась на новую должность и теперь вот уже двадцать лет была счастлива.

Приятельница, скучая, начала болтать о глобальном потеплении и конце света. Банально... об этом вспыхивают разговоры каждые десять лет. Ивина раздражённо прервала её болтовню под видом, что нужно позвонить. Прислонив телефон к уху и слушая длинные гудки, она видела: занавески в жёлтый горошек тонули в заходящем солнце, которое отражалось в окнах. Не было ветра. Воздух сгустился помидорно-луковой подливкой – горячей и вязкой. Не хотелось двигаться. Но всё же она постояла и пошла дальше.

В тарелке валяжно полулежали перцы. Изумрудные тюлени. Лора машинально оголяла их мясистую ленивую плоть. Кожура скручивалась, как обрывки полиэтиленового дождевика, в маленькие рулончики. Вытирая пот, женщина вдыхала их горячий запах. Это аромат августа и осени, думалось ей. Хотя осень была совсем неуловима.

Ближе к ночи пошёл мелкий дождь, и отключили свет. Ничего страшного, всего лишь маленький апокалипсис для продуктов в холодильнике. Устав будить аварийные службы, Лора смирилась, вынесла тарелку с перцами на балкон и легла спать.

Ей приснилось, что она открыла окно на кухне, высунулась и зовёт Ивину обедать, а дочь притворяется, что не слышит, играет в песочнице, как маленькая. Сыплет в зелёное ведёрко песок, а когда наполнит его, переворачивает и снова сыплет, сыплет, а песок яркий, жёлтый такой, будто солнце раскрошили.

Под окнами, громыхая, проехал грузовик. Лора проснулась, как всегда, рано. Тщательно умылась, оделась, заправила постель, размяла суставы и выпила стакан воды. Принесла с балкона жареные перцы. Они пахли августом. Ещё вчера было лето. Воспоминания о прошедшей жизни были холодными, остывшими. Лора села за стол и принялась завтракать. У неё всё было по-прежнему: старость, болезни, обиды... но если бы только Ивина позвонила ей!

ХОЛОДЕЦ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК ГРУШ

Одна половинка

Не включая свет, чтобы задержать послевкусие приснившегося полёта, Лера стянула со спинки стула старый мужской батник, накинула его и босиком прошлепала на кухню. Электронные часы, не мигая, уставились на неё своим магическим кошачьим глазом, в котором светилось круглое зелёное «5:35». Только посередке, выдавая напряжение, подрагивала точка. С холодильника за ней медитативно наблюдала прошлогодняя хэллоуиновская тыква, уныло всматриваясь в пространство своими пустыми глазницами. Лера подумала, что в этом году ей вряд ли будет до Хэллоуина... Да и не особо праздничное настроение. Трудно было дышать. Что-то вязкое никак не откашливалось. «Заболела», – обречённо подумала она и включила электрический чайник. Это у неё уже осеннее правило такое – подхватить простуду. Зимой правило другое – что-нибудь сломать, весной снова простудиться, ну а летом просто оказаться в больнице.

В окне тускло и призрачно белели щёки и нос. Сквозь них проступала обесцвеченная гаснущими фонарями улица. А в ней, как в холодце, застыли бока противоположных домов, крыши и белые рёбра берёз. Все это медленно покрывалась инеем наступающего дня. Чайник после шумного пыхтения вдруг притих, потом забулькал и выключился. Лера бросила в стакан пакетик чая и, приставив носик чайника к краю чашки, осторожно стала лить кипяток. Пакетик всплыл брюшком вверх, словно дохлый лягушонок. Лера усмехнулась, представив, что была бы она ведьмой, покупала бы вместо чая коробку с сушёными

жабами. В кафе для волшебников официант интересовался бы: «вам какую жабу заварить: зелёную или чёрную? А лимончик добавить?».

В холодильнике ещё с позавчерашнего вечера остался холодец. Надо бы доест. Холодец раньше всегда её забавлял: кладёшь на тарелку – он трясётся, как живой. Эдакий слизень-увалень. Сунув замёрзшие руки в карманы батника, она нащупала бумажку, аккуратно сложенную треугольником. Хмм... прошлогодний список продуктов. И первым по списку килограмм груш. В октябре она часто просила Глеба покупать груши. На прилавках их было в изобилии. А он покупал только килограмм. Экономил. Говорил, если купить больше – пропадут: не холодец же из них делать. И груш всегда не хватало. На самом деле, это был один из его прозрачных намёков, чтоб заканчивала кукситься и устраивалась поскорее на работу. Однажды он целый месяц с ней не разговаривал. Жили, как чужие в одной квартире. Она устроилась на работу, не долечившись, и попала в больницу. После того как вернулась, измученная и худая, он пожалел её, и они помирились.

В этом году груши дорогие. Они похожи на октябрь, который тоже не уродился, затуманился, скис и потёк дождями. Часы презрительно сузились в 7.11 – заскулил будильник. Лера вздрогнула. Пора на работу. В дороге ждал всё тот же холодец. Он был совсем несмешной и неаппетитный. Дома, деревья, люди застыли в промозгом желатиновом сгустке. Жизнь Леры тоже была в таком сгустке уже очень давно.

На работе, в желе монотонных голосов дремали люди, мебель и Лера. Совещание-летучка затянулось на целый час. Какая же это летучка? – думала Лера. Не летучка, а жвачка. Все эти разговоры, как споры двух людей, зашедших в своих отношениях в тупик. Под ложечкой сосало то ли от голода, то ли от горечи. Сегодня они с Глебом отметили бы пятый год знакомства. А может, и первый год брака. Она много раз говорила и близким, и подругам, что не жалеет о сделанном. Так, наверное, лучше. Ей спокойнее (даже болеть почти перестала) – не нужно обороняться от нападок его родни и напрасно ждать, что он защитит. А Глеб встретит ту, которая не будет портить ему жизнь своими жалобами. И она своего человека найдёт. Но почему Глеб не вернул её? Она ушла только за тем, чтобы он наконец-то услышал, о чём она просит его. А что если любви и не было? Размышления прервал долгожданный конец бесконечного совещания, и Лера отправилась обедать.

Другая половинка

На тарелке лежала груша – угостили родственники его новой девушки. А груша-то не очень спелая. Твёрдая и коричнево-зелёная. Порывшись в ящичке стола, Глеб нашел ножик и начал очищать кожуру. Отрезал кусок и отправил в рот прямо с ножа. Лера бы на это долго ворчала. Она и с родителями постоянно спорила, а могла бы потерпеть – они ж заботились о них, добра хотели. Но теперь ей всё равно. Так, видимо, и было всегда. Иначе она бы не спланировала свой уход заранее, пока его дома не было. Жестоко. Это ведь не один день нужен – найти квартиру, собрать и перевезти вещи, да ещё чтоб он не заметил. А потом в один день взять и, ничего не объясняя, свалить, даже не поговорив. А если бы у них уже были дети? Она бы их вот так тихо увезла от него, от его родителей. Во рту стало терпко и сухо. Глеб, морщась, доел невкусный плод. Надо бы нормальные груши купить. Леший с ними, что дорогие. Отложив бумаги, он вспомнил, как они с Лерой в прошлом году отмечали день их первой встречи и ели груши. Душевно было. Спокойно и радостно, сладко.

Глеб бросил взгляд на часы. Скоро обед. Пойти бы перекусить в городе. На улице распогодилось. Туман рассеялся. Сегодня день, когда они с Лерой познакомились. Он всегда старался отметить его по-особенному. Зато теперь напрягаться не надо. С новой девушкой всё проще и легче.

На углу стояла машина, с неё продавали яблоки, груши и тыквы. На обратном пути жёлтый и сочный килограмм постукивал по ноге. Пространство вокруг превратилось в огромную спелую грушу. Глеб шёл по аллее, шуршал листьями платанов и ощущал на языке шершавый вкус грушевой кожуры. Оранжево-жёлтая мякоть осеннего света сочилась и текла по его губам, подбородку и рукам. Он даже поймал себя на мысли, что боится прикоснуться к светлой рубашке, чтобы не запачкать.

Навстречу шли люди. Прохожие и... неожиданно он увидел Леру. Она остановилась на противоположной стороне улицы, напротив его офиса, у светофора, прижимая к себе пакет с грушами, и старательно не замечала его. Потом нерешительно подняла руку в знак приветствия.

Светофор переключился и тревожно застучал. Лера съёжилась и торопливо засеменила, переходя дорогу. Из-за поворота вывернула машина. Откуда она взялась?

Визг тормозов...



Остановилась.

– Вот урод! – выругался Глеб в след водителю. – Ты как? В порядке?

– Да, – ответила Лера, – всё хорошо.

– Ну, ладно, тогда пока! – сказал он, развернулся и заторопился к офису.

Там, не раздеваясь, вымыл грушу, разрезал и положил на тарелку. В открытое окно снова тревожно отстукивал зелёные секунды светофор. В животе затрясся противный ноябрьский холодец. Солёным густком он стоял в носу и глазах, мешая видеть. Бетонное желе города поглощало маленькую фигурку Леры. А в офисе, разрезанная на две половинки и ожидая чего-то, лежала так и не съеденная груша.

ОСЕННЯЯ КЛУБНИКА. СЕНТЯБРЬ

Порывы ветра настойчиво тормозили сентябрь, как лёгкий сухой лист. Каждое мгновение этот ненадёжный месяц мог сорваться из его жизни, улететь и оставить один на один с осенью. Сентябрь пах солнцем, пылью, влажным воздухом и клубникой. Крупные, с неочищенный грецкий орех, ягоды лежали, разрезанные на дольки, в тарелке, рядом с его кроватью. Он потянулся к ним, зажал одну ягоду в руке и поднёс ко рту. Сверху ягода была спелая, мягкая и красная, а внутри белая, твёрдая и безвкусная. Он жевал её, чувствовал, как перемешивается вкус и безвкусие. Это нравилось ему. Сегодня у клубники было больше сладости. Ему хотелось жить.

– Гулять! – попросил он и попытался приподняться в кровати. Его одели, посадили на «волкер»¹ и повезли.

...Она шла впереди, и он видел тёмную голову, рюкзак и смешные резиновые сапоги в красный горох. Такие сапоги носили тут многие. Считалось, что это модно. Она купила их. Для чего? Там, откуда она приехала, такое не носят. А вдруг она всё-таки останется? – разволновался он. И тут же почувствовал, как мимолётно и странно то, что она идёт впереди его коляски, оборачивается, улыбается, а потом наклоняется к нему и спрашивает, видел ли он розу у парадного.

– Да! – говорит он. – Да...

Красная мигающая ладонь – светофор. Она успела быстрее. Исчезла в толпе. Где она? Где!

– Рыбонька! Рыбонька! Майечка...

– Сидите, сидите, сейчас мы догоним её, – глушит его панику хаматенша², женщина, которая ухаживает за ним. Она похожа на мягкий диванный пуфик.

Светофор переключается. Теперь это белый, бесцветный человечек. Майя бы сказала, что светофор похож на клубнику.

Его коляска едет по бетонным плитам вдоль низеньких лавок с вывесками на английском, русском, китайском. «КА КА Бэкери» – в окне машет лапой китайский котик удачи. Мимо, визжа, проносятся машины и темнокожие дети, белые дети, дети с чёрными блинчиками на макушке. Навстречу пакистанка в оранжевом пенджаби катит большую тележку с продуктами.

– Тебе тепло? Хочешь, мы пойдём к океану? –

О! А вот и его рыбонька, какая же она красивая...

– К океану едем?

– Да. Везите!

Сколько здесь жили... всего пару раз океан навещали. Да и то без особого желания. А сейчас... Вот и Сабвэй³! Похоже, он опять заснул – не заметил, как очутился внутри метро.

...«Stand clear of the closing door please!»⁴ будто кашу во рту, без удовольствия жуёт слова машинист Двери поезда захлопнулись.

В метро он давно не ездил. Оно старое. И он такой же. Гулко стучит колесами поезда. Стук отдаётся в висках. Как собственное сердце. Тяжело стучит. Этот город болен чем-то или преждевременно состарился...

...Смотрите на океан! Мы приехали. Вы спите?

...Ты как себя чувствуешь? Ты устал...? Посмотрите-ка, он заснул!

...Не спи!...

Голоса. Нужно ответить им, иначе они никогда не замолчат.

– Нормально. Смотрю.

Океан где-то далеко. Его не слышно, почти не видно. Много песка. Наверное, он тёплый. Майя идёт по песку босиком. Держит в руках свои резиновые сапожки. Медленно идёт. Как будто прислушивается ступнями ног. И вдруг садится на песок, просовывает в него руки, словно под одеяло. Кричит:



– А песок сверху тёплый, а внутри холодный – одеяло шиворот-навыворот! Сверху лето, а внутри осень. ...Зайдёт солнце и лето остынет. Пора домой.

На обратном пути она идёт рядом, не убегает. Он просит держать его. Говорит: «Я падаю!». На самом деле боится отпустить Майю. Вдруг исчезнет? В поезде она садится на корточки перед ним и берёт за руку. Говорит, что у него ладони, как песок на брайтоновском пляже в сентябре. Дотронешься – тёплые, а обхватишь покрепче руками – прохладные.

А вот и его улица. Шестиэтажная кирпичная застройка, оббитая скелетом пожарных лестниц. Большие веранды, в которые вросли многолетние старики и старухи. Они отрешённо смотрят поверх пёстрых потоков проплывающей мимо них жизни и тоже чувствуют, как остывает лето. У них, должно быть, такие же, как у него, ладони.

– А чего ждут эти люди? – спрашивает Майя, когда они заходят в подъезд.

– Не знаю...

Она тоже замечает их. В лифте наклоняется к его уху и шепчет:

– Я поняла: это не дома, а корабли. Бабушки и дедушки ждут их отправления. Но никто про это не знает. Вот-вот – и что-то свершится.

– Держи меня, я падаю!

Опять кружится голова. Майя сжимает его руки, говорит, что на самом деле он не падает, а летит. Разве может воздух удержать его? Она улыбается. Прощается с ним до вечера. Уходит на кухню. Он и не заметил – они уже дома.

– Можно я полежу?

Его укладывают в комнате, где открыто окно и пахнет парниковым клубничным сентябрём.

Жёлтые, красные, чёрные... машины, светофоры... люди. Нет. Здесь люди больше бесцветные, как лёд. И здания, как лёд. Гигантские кубики льда в коктейле манхэттоновских улиц. От них холодно. Очень холодно. В них заморожено что-то...

– Человеческие души, – отчётливо говорят в ухо.

Бежать, бежать отсюда! Где Майя? Почему они опять отстают?

Он же просил. Он предупреждал.

– Майя!

Губы не слушались, будто он пил настоящий коктейль со льдом. Вдруг впереди мелькнула её каштановая головка. Она уходила. Он снова окликнул внучку. Майя повернулась и помахала ему рукой, а потом девочку заслонила толпа.

Он стоял на своей улице, перед собственным домом.

– Пустите меня. Там мой дом! – крикнул он всем этим, собравшимся тут.

Но его оттеснили. Сказали, что это корабль, а у него нет билетов.

– Майя! Майя! – звал он, думал, что она хотя бы выглянет в окно...

...В открытое окно смотрели окна противоположного дома. В комнате было тихо. Он потянулся к тумбочке, но тарелки с клубникой там не оказалось.

Он позвал. Сначала их. Потом Майю. Но никто не пришёл. Обида защекотала горло. Они пошли в ресторан и засиделись. Веселятся за его счёт. А он один. И клубники нет.

– Подойдите! – крикнул он ещё раз.

Его зов потонул в вое сирен. Как огромные коты, гнусаво подали голос улицы. По ним мчались скорые и пожарные. Шли- и-и, шли-и-и-и – шумел прибой мегаполисного океана. Прошла ночь. Никто к нему не подходил. Он начал волноваться. Вдруг они заблудились. Они же не знают город. Ухватившись за поручень ходунка, стоящего рядом с кроватью, сел. Голову потянуло вниз. Он снова лёг, но как-то неудобно. Долго не мог высвободить руку.

На минуту показалось, что он упал и лежит на полу. Потом снова увидел в толпе Майю.

– Майечка, Майечка! – крикнул он и, преодолевая толкающую его со всех сторон толпу, рванул к ней.

Рука была освобождена. Он снова ухватился за ходунок, поднялся в кровати и усилием воли заставил себя не повалиться обратно. Потом встал. Медленно передвигая ходунок, пошёл.

Жих-тум-м, жих-тум-м.

По старому скрипучему паркету ползла огромная гусеница, поднимая и опуская грузное тело. Порог. Коридор. Поворот. Свет.

Они сидели на кухне и смотрели телевизор.

– Где вы были? – сказал он им. – Я так волновался.



Они подбежали. Заохали. Повели его обратно в спальню.

– Мы тут! Мы тут!

– Что же вы пришли из ресторана и ничего не сказали?

– Какой ресторан? Мы тут были, на кухне, макароны варили.

– Я волновался. Вы же могли потеряться!

– Так мы не ходили никуда...

– ...А я думал, что вы в ресторане.

– Какой ресторан?

Они переглянулись, начали неуверенно извиняться. Он не хотел говорить с ними, но там стояла Майя.

– Уже утро? – спросил он.

– Нет, нет! Сейчас половина десятого вечера, – забубнили они, не давая ответить Майе. – Тебе надо спать.

Он закрыл глаза. Не хотелось слушать их. Не хотелось жить. И клубники больше не было. Но кто-то взял его за руку. Открыл глаза, а перед ним сидела Майя. Её духи пахли осенней клубникой.

– Майечка, ты хорошая девочка, – сказал он ей.

Она улыбнулась, поставила тарелку с клубникой прямо на его постель. Спросила, можно ли ей тоже угоститься.

– Можно.

Они ели клубнику, а Майя говорила про распустившуюся перед его подъездом розу. Что та похожа на принцессу, но уже сентябрь и ночи холодные, а вдруг роза замёрзнет?

Он удивлялся, что она может одновременно говорить с ним и думать о розе.

– Ты помнишь свою первую любовь? – вдруг спросила она.

– Не помню, – сказал он.

Так обычно он отвечал на все вопросы, которыми мучили его.

Но этот вопрос был приятным. Он задумался.

– У неё были каштановые волосы.

– А звали её как?

– Майя.

– Как меня?

Клубника на тарелке закончилась.

– Дайте попить, – попросил он.

Она поднесла к его губам пластиковую бутылочку с холодной, как он любил, водой. Он сделал глоток, закашлялся, вернул бутылку Майе. Потом они попрощались. До утра.

Вокруг была ночь. Густая и тёмная. Только окно светилось. В нём виднелся верх противоположного дома и кусочек неба. На небе появлялись и исчезали, превращаясь в звёзды, самолёты. Двадцать минут езды до аэропорта Кеннеди. Спать не хотелось. Вместо этого внутри была какая-то дрожь ожидания. Кого-то... чего-то...

– Пить! – попросил он.

Но никто не пришёл. И вдруг он вспомнил, что прошла не одна ночь. Они уехали. Вот уже целая неделя, как они уехали... или больше? Сны отступили. Значит, теперь нечего ждать? Он осязал под собой кровать, слышал: в ванной капает кран. Он ясно помнил каждую черту лица Майи. Высокий лоб, густые брови и между ними родинка. Её выразительные восточные глаза – как у персонажей его любимого Шагала. Повевало холодом. В окне виднелся дом. Два закруглённых окна и лепное украшение над ними, как родинка... Не дом, а лицо Майи проступало из вишнёвого сумрака.

– Дайте клубники! – крикнул он и вдруг увидел, как лицо внучки превращается в лицо Майи, его первой школьной любви. Её лоб был запачкан соком клубники. На день рождения девочки они всегда объедались ягодами. Клубника была сладкой-сладкой и внутри, и снаружи. В ней была уверенность лета.

– Дайте клубники!

В комнату тихо зашла хаматениша.

– Закончилась клубника. Завтра я вам сок куплю.

– Значит, сентябрь уже оторвался и улетел?

Женщина не поняла его. Тогда он спросил, какое сейчас число.

– Второе октября...

Да, так и есть. Дрожь ожидания в груди усилилась. Опять закружилась голова. Он откинулся на поду-

шку, закрыл глаза и представил, что воздух держит его. Так, как умела Майя. Эти два ощущения смешались во что-то вкусное и безвкусное, удивительное и непонятное, как осенняя клубника.

– Лечу! – сказал он...

Женщина пожала плечами и поправила одеяло. Это был секрет только его и Майи.

Он ждал утра. Того, до которого они попрощались. Кусочек неба светлел, там исчезали звёзды, превращаясь в самолёты.

¹ инвалидная коляска.

² хаматенша (хаматен) – социальный работник по уходу за больными и пожилыми людьми в США.

³ метро.

⁴ Осторожно, двери закрываются! (пер. с англ.).

МАРИНА СЫЧЁВА

Рыбница

ВСЁ УДЕРЖАТЬ В СЕКРЕТЕ

Жёлтым карандашом фраза из трёх слов.
 Было бы хорошо не ворошить основ
 и не менять суть, смыслы хранить, но
 это не наш путь (и не про нас кино).
 Мы – по губу в грязь, через великий труд
 выползем, чтоб смеясь вспомнить, как был крут
 выбор «идти назло и вопреки всему».
 Эвоно, как свезло – живы мы! Никому
 не разгадать о чём наша мольба в борьбе...
 Жёлтым карандашом: «не изменяй себе».

ДЕВОЧКА С ФОТОГРАФИИ

Старые фотографии в потёртых, крашенных рамках:
 устало-хмурые лица, смотрящие только прямо,
 в глазах напускная серьёзность, и девочка в сером платье
 строго сжимает губки, в своё грядущее глядя.
 Девочка верит, что «партия счастье дарит детям»,
 и в то, что сильнее папы нет никого на свете...
 Ещё она точно помнит все самые важные даты:
 семейные именины и дни, когда есть парады.
 Ей нравится праздник ёлки, вернее, его ожиданье,
 где разноцветных игрушек и серпантина сверканье,
 и запах смолистой ели в бликах огней неярких,
 и Дед Мороз шоколадный в шуршащем фольгой, подарке.



Потом – прикоснётся время к прядям её косичек,
а воспоминания детства заполнятся сыпью кавычек.
Исчезнет союз республик вместе с «огромной дружбой»
и то, что казалось главным, окажется вдруг не нужным.
Осыпается «твёрдая вера» пылью на транспаранты,
и люди легко забудут громоздкие фоллианты
о «направляющей силе», о «руководстве сверху»,
боровшиеся с капитализмом, вызовут к бою перхоть.
Изменяется мода, флаги, газеты, телепрограммы.
Однажды, по телефону страшная весть от мамы
сердце сожмет до боли: «Папы не стало. Утром».
... Девочка в сером платье, куда же ты смотришь хмуро?

ГАЙКИ

1.

Тихие, тихие люди в соседнем живут подъезде,
носят старые куртки, на «фордике» старом ездят,
совсем не бывают в салонах, не пользуются парфюмом,
идут по утрам на службу размашисто и угрюмо.
А в праздник с бутылкой пива под горстку солёной кильки
листают телепрограммы: события, Алки, Фильки,
слухи, кинопроекты, концерты, футбол, готовка,
хмельной разговор о работе, в которой «нужна сноровка,
нужен особый разум, чутьё с непростым подходом».
Тихие, тихие люди – безвольные гайки завода.

2.

Однажды проектировщик чертил эталоны гаск,
различные виды креплений (открытые и с потаем).
Под ключ – она «шестигранна», любой закрутит, кто хочет.
Системная, суть, «кузовная», чей статус и тонок, и точен.
Вот «гайка-барашек» доступна и временна (так уж назвали).
И много ещё – «нажимная», «квадратная», чтобы вращали
Болты, где она, не сдвигаясь, станет надёжнее спайки
(О, как же гордятся собою эти серьёзные гайки!)
А тихие, тихие люди угрюмо идут на работу,
И ждут, как всегда, зарплату и маются по субботам...

БЕГ

Воронье кони,
чёрные хвосты,
воздухом погони
задохнулся ты.
Воздухом погони,
вихрями дорог,
слышишь, ветер стонет
на разметках строк.



Слышишь, рвутся струны?
 Бегу нет конца.
 На пороге лунном
 контуры лица.
 И от звёзд дрожащих
 знаки на ладонь –
 в сумраке обрящешь
 таинства огонь.
 В сумраке холодном
 выбора печать:
 цепи иль свобода,
 солнце иль свеча.

Рассекает воздух воронья статья.
 ... Что ж ты выбираешь в табуне бежать?

ЗАМКИ

Дворец или хижина. Знаешь,
 всё превращается в замок,
 когда тишину листаешь
 под бликами звёзд-булавок,
 когда вместо неба омут
 суетно-вязких мыслей
 и мелочь любая знакома
 в шатком укладе жизни.
 И видишь безделиц груду
 заполонившую годы –
 игрушки, бельё, посуда,
 машина, квартира, мода...
 Миф о финансах. Впрочем,
 и бедные, и богачи
 каждой холодной ночью
 пустячки замки лелеют.

ПРЕДМЕСТЬЕ

Эти дома и люди,
 эти ночные бденья,
 словно сливовый студень
 синего настроенья.
 Эти глаза пустые,
 шляпы, плащи, котомки.
 Кто-то вздохнул: «Живые»,
 и выругался негромко.
 Кто-то ещё крестился,
 нервно дрожа перстами,
 лунный мотив струился
 шафрановыми листами.
 И обгонял прохожих
 ещё не рождённый ветер.
 И становилось, Боже,
 чище на целом свете.



И становилось легче
ультрамариновым душам.
А кованный семисвечник
тайны чужие слушал,
капая мутным воском
на тех, кто держался вместе.
...Слыли нелепым войском
жители тех предместий.

Переболеть не успела
и не сумела понять
как у мучительно белой
чёрную память отнять,
вырезать лезвием слова,
вырвать до запятой.
Падаю снова и снова
пылью на век ледяной,
сажею ветрено-чёрной
в тёплое молоко
падаю обречённо
и смешиваюсь легко.

*...II полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
II дольше века длится день,
II не кончается объятье.*

Борис Пастернак «Единственные дни»

Как безразлична тишина,
живущая в часах песочных.
Ни благочестье, ни вина,
ни святость дев, ни их порочность –
ничто не может повлиять
на глухоту песка. Напрасно
я поворачиваю вспять,
в ту зиму, где закатом красным
пылал холодный горизонт.
Пустые дни солнцеворота
как будто завершали год.
За понедельником суббота
вдруг приходила не спеша,
и дни терялись в сонной стуже.
Ночами плакала душа,
не ведая, кому кто нужен.
Дороги ледяной корой
мерцали в свете полусонном,
брели прохожие домой.
И одинокою, бездомной



Любовь стояла на пути.
Часов песочных безучастье
ещё могло их развести,
но вера в призрачное счастье
толкала путников туда,
где дольше века день струится.
И каждый понимал: зима,
как и объятие, прекратится...

Не лезь в мои сумерки, не дыши словами,
не рифмуй пространство между нами,
не ищи плоскости совпадений,
точек, граней и направлений,
сфер интересов, географии проживания,
статуса, вкусов... Это мироздание
не терпит вторжений иного порядка.
...просто скажи, что я психопатка,
инфантильна и не достойна любви...
Просто пока без меня живи.

Благовари судьбу, что листопад
тебе не интересен – всё вторично –
и дождь танцующий привычно
на крыльях умерших цикад,
и ветер, рвущий облака
на лоскуты из серой ваты,
и то, что нам с тобой возврата
не вымолить. Издалека
приходит дрожь осенних дней,
туман перерастает в морок.
И миг разлуки слишком дорог
циничной мудрости твоей.

Молчания скупая тень
едва скользит волной по лицам,
двум одиночествам случиться
настало время. Осень... День,
прошитый желтизной разлук,
мучительно прилип к дороге.
Скулит нечаянно-убогий
разорванного счастья звук.
Вторично всё. Лишь си-минор
дырявит скомканные нервы.
Любой из нас уходит первым,
а души – вместе до сих пор.



ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕМ

Мои вчерашние глупости
спрятаны за подкладку.
Прошлое, отпусти
девочку-верхоглядку.

Действие номер два
в странном театре судеб:
свергнуты все слова,
и говорить не будем.

Вышит стихов кувшин –
нынче день прост и светел,
а под ворчание шин
в рифму играет ветер.

Кто-то спросить забыл,
кто-то не смог ответить,
только б хватило сил
всё удержать в секрете.

НАТАЛЬЯ РОДИНА

Кишинёв

СЛЕЗА ЛУНЫ

рассказ

*...и приведи на небо все души, особенно те,
которые более всего нуждаются в Твоём ми-
лосердии.*

(из молитвы Венчика Божьего Милосердия)

– Опять? Что за хрень? Годами одно и то же! – Катерина возвращалась домой, грызя губы и злобно сверля глазами асфальт. Кокошить ненавистью ни в чём не повинных граждан нельзя, но, ох, как хотелось реветь в голос, орать от обиды и крушить всё вокруг.

– Катитесь вы все! Нехай! Уволюсь! Наглую пацанку, лядашую, нерадивую, безграмотную отправляют на курсы повышения квалификации, а меня, отбарабанившую три года, оставляют батрачить!

Она рискнула. Она подошла к директрисе. Она задала вопрос, который не даёт ей покоя много лет, верит ли та в торжество справедливости. И, кто бы сомневался, она ответила:

– Да. Но кто же будет работать? Кто, если не вы?

(Катя пересекла площадь, не испытывая приязни к пустому троллейбусу и свободному месту).

Она набралась храбрости, продолжая верить, что это дешёвый развод, спросила:

– Почему, скажите. Почему справедливость заканчивается на мне? Согласитесь, я заслужила пойти на курсы!

– Да, вы. Но без вас здесь всё развалится.

– У неё стаж работы четыре месяца, из них две недели за свой счёт и месяц в счёт будущего отпуска!

– Зверева, посмотрите на ситуацию с юмором!

– Похочоchem, как глупцы командуют умными, и те обязаны им подчиняться!

– Прекратите! Возвращайтесь на рабочее место. Дискуссия окончена!

Катерина поджала губы:

– Где ты, сказочник-враль, со своей шавкой-видимкой, сапогами-скородрыгами, дырявым ковром-са-



моходом и нешлифованной неволебебной палкой? Сдулся? Надавать бы тебе взапой! Глупости, сказки ваши. С них все разводы и начинаются.

В супермаркете, продолжая развенчивать сказочную несправедливость, прошла молочный отдел и миновала бакалею. Глаз ничто не радовало.

– Домой! – и тут... На неё, осклабясь, в упор пиалился торт.

По акции неслышанной щедрости именно он продавался со скидкой в тридцать процентов. Катя прочла:

– «Пчёлка». Полоски на месте. Поверх – дурацкие крылья над и улыбка под глазами. – Взяла торт и заняла очередь к кассе в самом хвосте:

– Сладкое вредно, когда жизнь приторная. А мне – в самый раз.

Перед нею, непрестанно копошась в хозяйственной сумке, хватаясь за бока и охая, пытался стоять скрюченный дедок.

– И где твои детки, кашейка убогонький? – переключаясь с торта на него, зыркнула Катя. – Ох уж, нам эти, косящие под Божьи одуванчики. Стоит-качается, а всё туда же: в очередь за счастьем. Нет его. И справедливости нет! И никогда не было. Ни сейчас, ни в детстве.

Тихий час в средней группе круглосуточного сада санаторного типа достиг самой сладостной фазы, когда Софья Павловна, голубоглазая воспитательница, с кудряшками-барашками, обрамлявшими голову, как нимб, подошла к кровати Катюшки.

Та спала на правом боку, подложив обе ладони под правую щёку, укрыв нос-кнопочку одеялом. Так она засыпала. Так научила её мама. Из-под одеяла торчало только левое ухо и отросшие, но ещё короткие вихорки. Всё красивее, чем бритая под мальчика голова.

Сон был безмятежным и тихим-тихим. Катюшка давно забыла обиду и простила маме, папе, тёте с жужжащей машинкой, воспитательницам и директору сада свою под ноль голую раздетую голову.

– Нельзя, – уговаривала мама, – запрещено в саду с круглосуточным пребыванием, ты можешь заразиться вшами. – Мама говорила правильно, утвердительно, по-взрослому, она ведь учительница русского языка и литературы.

– Почему нужно брить голову только мне? – хныкала Катя. – Разве Наташа Дичкова не может заразиться вшами?

– Наташа – самая красивая девочка в группе, – отрезала мама.

– Значит, я не самая красивая? Значит, некрасивых девочек можно брить, а красивых нет? – расплакалась Катюшка. – У Наташи и чубчик, и волосы останутся, а у меня ничего?

– Хорошо, – нехотя уступила мама, – пожалуйста, оставьте чубчик. Только покороче, – обратилась она к парикмахерше, которая порядком устала от детских слёз и материнских неубедительных доводов.

Девочка улыбнулась во сне. Мама пообещала, когда Катюшка закончит садик и пойдёт в первый класс, ей разрешат отращивать волосы, чтобы потом заплетать в косы. А уж, если мама обещала, так и будет. Это было секретом и жарким желанием, поэтому Катюша принесла с собой в садик любимую жемчужную бусину из своей коллекции драгоценностей: в то время такие «драгоценности» были у каждой девочки, и у каждой была своя, неповторимая. Бусина была крупная, молочного цвета и радужными переливами, Катя хранила и жалела её, потому что мама сказала, что это Слеза Луны. Девочка слушала маму и думала: «Луна тоже плачет, потому что лысая, нет у неё ни хвостиков, ни косичек, жалко, волосы у неё никогда не вырастут, она этого очень стесняется, поэтому от стыда светит только ночью». Дома Катя загодя завернула лунную слезу в носовой платок и надёжно упрятала на дне кармана платья, а в роще на прогулке разрыла ложбинку, положила бусину на дно и прикрыла стёклышком. Осколок стекла накрыла листом, чтобы никто не нашёл. За этим занятием её застал Толя, мальчик из старшей группы:

– Секрет закопала? Да? Не бойсь, никому не скажу.

Катюшка молча, вопросительно смотрела на Толика, но он заверил:

– Я сказал – могила, – приклонился к девочке и заговорщицки произнёс, – А если я тебе открою свой секрет, не разболтаешь?

– Нееее... – прошептала Катя.

– Не будешь смеяться?

– Никогда.

– Когда я вырасту, я женюсь на тебе, – признался Толик, вынул руку из-за спины и протянул цветок. Катя приняла его, разгладила смятые лепестки и поинтересовалась:



– А что мы будем делать, когда поженемся?

Толя взял Катюшу за руку:

– Мы всю жизнь будем держаться друг за дружку, – и они рука об руку вернулись к детям.

Чужие секреты, доверчивость, наив и незыблемая вера в чудеса всегда соблазнительны любопытным и завистливым. У Катюшиной и Толиной тайны они были. Трём любознательным малышам из средней группы было столь интересно, что прятала в земляной яминке девочка, одарённая за это цветком, что, дождавшись, когда «жених с тили-тили-тестой» ушли, разрыли «секрет» и не обнаружили ничего, кроме щербатой, далеко не круглой бусины. Одна обладательница очаровательных глаз, рта и носа – сила. И эта сила была утроена, плюс к предыдущим достоинствам, у зрительниц были острые длинные язычки. Как драчливые воробышки, собравшиеся у одной хлебной корки, они веселились, пихая и толкая друг друга. Слеза Луны взлетала в небо, падала на землю, её поднимали, она перекатывалась из рук в руки и снова уносилась к облакам, снова падала, пыталась прятаться в листьях, её с визгом находили, снова подбрасывали и роняли. Не знали девочки, что Толя решил вернуться и проверить сохранность клада. Он спас бусину. Он принял решение сберець её и унёс домой.

Софья Павловна, хмурясь, смотрела на спящую девочку:

– Опять, паршивка, спрятала хлеб за батареей. Говорила же с твоей матерью. Педагог она, видите ли, старших классов. Гнидная интеллигентщина! Предупреждала, директору расскажу. В результате? Ни-че-го! Сытый голодного не разумеет! – чтобы не испугать, легко коснулась детского плеча. Катя разлепила глазёнки. Склонившись, на неё смотрела, приветливо улыбающаяся Софья Павловна:

– Тсс... Пойдём со мной, – улыбаясь, пришепётывала воспитательница, помогая девочке подняться, – тсс, тихо-тихо, детки спят, нельзя их будить.

Софья Павловна крепко жала Катину ладошку. А та – рада стараться! За руку взяла, значит, любит, как Толик!

Воспитательница ввела девочку в туалет, отпустила руку и, улыбаясь, сняла с крючка длинное вафельное полотенце. Обернулась, улыбнулась девочке, та – в ответ. Софья Павловна завязала узел на одном конце полотенца, открыла кран и подставила узел под воду. Катя заворуженно смотрела на спорые движения воспитательницы и улыбалась во весь рот: «Третий секрет за день! Как здорово!»

Тем временем женщина, держа свободный конец полотенца в руке, сдвинула Катину ладонь и начала хлестать девочку полотенцем, куда ни попадая. Лушцевала и шипела:

– Тихо! Не смей орать! Дети спят!

Онемев от боли, внезапности, несправедливости и предательства, девочка и не кричала, только беззвучно смотрела в упор, в самый центр зрачков холодной, тотальной жестокости, широко распахнув глаза. Софья Павловна колотила и колотила упрямую непослушную девочку, желая выдавить из неё хотя бы писк, но та молчала, только таращилась и не отводила немигающего взгляда. И настал момент, когда воспитательница устала махать рукой. Отбросив полотенце, схватила девочку за волосы. Катя застонала, с ужасом наблюдая улыбку, сменившуюся звериным оскалом. Софья Павловна мотала ребёнка из стороны в сторону, как будто в неё вселился бес, без пощады и без остановки, пока не выдрала клок волос. Шарахнулась прочь от девочки и, забыв о детях и тихом часе, заорала:

– Пшла вон! Спать! Я приказываю!

Трясаясь всем телом, втянув голову в плечи, крепко прижав кулачки к груди, в страхе, что издевательства ещё не закончены, избитая Катя попятилась из туалета, прошла мимо спящих детей, нашла свою кровать и забилась с головой под одеяло.

Странно, никто не подходил к ней, не будил, не поднимал с постели. Она встала сама, сама оделась, вышла в столовую, нашла на столике полдник, пригубила сок и горько расплакалась. Звенело в ушах. Противная дрожь не унималась. К ней прибавилась тошнота. Услышала голоса и пошла туда, где смеялись девочки и мальчики её группы.

За детским столиком на детском стульчике в окружении ребят сидела Софья Павловна и рисовала. В струящемся на голову свете, кудряшки поддакивали её движениям, шевелились и напоминали смятые лепестки Толиного цветка:

– А сейчас я нарисую Наташеньку. Ах, какая красивая девочка, умница, и платье у неё в цветочек!

Дети гадали, каждому из них хотелось увидеть свой портрет в исполнении доброй воспитательницы.

– А теперь я нарисую Васеньку. Что ты хочешь, Васенька? Шарик? Какого цвета? Жёлтого? Вот, какой шарик у Васеньки!

А потом воспитательница рисовала Мишу, Машу, Витю, Колю. И все они улыбались, держали в руках книжки, цветы, ленточки.

Катя стояла поодаль, слушала, и ей очень хотелось, чтобы Софья Павловна нарисовала её, Катю-Катюшу-Катюню-Катеньку, неважно, с чем в руках, но, чтобы в платье на пояске, с двумя хвостиками с бантами, широкой улыбкой и рядом, чтобы кошка или собака, или, ладно, Толя за руку держит. Нет, не надо Толю. И за руку не надо. Она приблизилась к столику. Девочку била дрожь, и прижатые к груди руки, помогали её немного утишить. Обращаясь к воспитательнице, попросила:

– Нарисуйте меня... пожалуйста...

Кудряшки насторожились, забеспокоились, встопорчились, и Софья Павловна подняла на Катю прозрачные глаза:

– Тебя?! Дети, вы слышали, она хочет, чтобы я её нарисовала! Знайте, дети, уродин запрещается рисовать! А вдруг кто-нибудь посмотрит и умрёт от страха?

– ... пожалуйста, как Наташу Дичкову.

– Дети, посмотрите на неё: глаза красные, лицо распухло! На голове кровь! А руки? Прижала к себе, трясётся, чтобы не оторвали? Разве так хорошие дети стоят, когда просят?! Они держат руки по швам!

Кудряшки опять принялись поддакивать, ребята заливались дружным смехом, но Катя не отходила. Софья Павловна, не осознавая и не принимая великодушия беззлобного детского сердца, поддерживаемая ребячьим хохотом, положила перед собой чистый лист бумаги и стала рисовать, приговаривая:

– Она уродина, правда, ребята? Мы её такой и рисуем: с грязным лицом, спутанными волосами и кривыми руками-крюками.

Катюшка проплакала весь остаток дня под обидную дразнилку ребятшек: «Рёва-корёва, дай молока, сколько стоит, два пятака!».

На следующий день пришла другая воспитательница.

Катя вздрогнула.

– Эй, деда, что у вас? – рывкнула кассирша.

– Винегрет, детка. Бабушка моя померла, а я так люблю виногрет. А вот померла... померла... некому готовить, не с кем за стол сесть, не с кем, – бормотал, бормотал, вылавливал из кармана монеты и выкладывал по одной на прилавок. Обернулся и, обращаясь к Кате, – Подорожал... я копеечка к копеечке взял, сейчас достану. Извини, детка.

Глядя сверху вниз на запрокинутое сморщенное лицо вдовца, его глаукомные очки, Катя содрогнулась: «Мамины глаза». Спросила у продащицы:

– Сколько не хватает? Приплюсуйте к моему счёту.

Они вышли из магазина четвером. Катя с улыбающейся «Пчёлкой» поддерживала сухонького пожилого мужчину с пластиковой круглой коробочкой.

– Давай-ка, присядем, детка, ноги не держат. Намаялся в очереди. И они расположились на лавочке недалеко от магазина.

Василий Венедиктович вспоминал о милушке Нюсеньке, которая звала его Васяткой. Как предавали они земле своего единственного сына Анатолия, который так и остался бобылём, и не родил отцу с матерью дитёнка. Как умер от укуса бешеной собаки, защищая чужого. Плакивали его оба. Но совсем скоро Василий остался без милой жинки-дружины, оплакивая их обоих. И позвал его к себе Господь в услужение. Теперь при церкви помогает сёстрам-монахиням.

– Однажды, сидя в трапезной, – разоткровенничался он, – утлядел в окне крест, обернулся и увидал в другом ещё три на Храме. Подумал: «Меж Божьими крестами сплужу. Загадаю-ка желание, пусть исполнится».

– И какое?

– Так, детка, чтобы Предвечный Наш за Нюсенькой-то присматривал, а мне шкодить не позволял.

– А был повод?

– Эж, и не один. Да бесовское это, от лукавого. Но это по молодости мы все грешим, а о грехе не ведаем. – Василий Венедиктович сунул руку во внутренний карман пиджака и просиял.

– Наверное, недостающие монеты нашёл, – подумала Екатерина, – плюс один виногрет!

А старик продолжил:

– Вышел я из трапезной, подставил лицо солнечным лучам и зажмурился, – морщинки Васятки брызнули в рассыпную.



Нега поднялась из глубин навстречу свету, залила теплом и любовью сердце, Екатерина задрала голову и подмигнула солнцу. И впервые после смерти мамы поведала о своём житье-бытье.

– Сколько лет тебе, дитя?

– Шестьдесят.

– А ей?

– Лет сто было бы на сегодняшний день.

– Где ты сейчас?

– Здесь, с вами.

– А она?

– ...

Воздух затаялся и не дышал. Екатерина подняла глаза. Не шелохнувшись, обернувшийся в слух, ссутулясь, сидел пожилой человек, автоматически поглаживая коробочку с вингретом. В их доверительную беседу вливалось солнце.

– Я все эти годы страстно хотела найти объяснение тому, что случилось, – расплакалась Катя, – мучительно искала ответ, желая, понять. У меня нет сил оправдать, и нет желания назначать себя судьёй.

– В тебе до сих пор кричит заплаканный ребёнок. За всё Господа благодарить надобно. Ты молись, детка, за обижающих тебя. А тайна навсегда останется тайной. Так правильно. Праведно. По-божески. Пути Господни неисповедимы. – Василий Венедиктович перекрестил Катю. – Ну-ка, закрой глаза, детка, и ладонь подставь. Не подглядывать! – озорник собрал Катины пальцы в кулак.

Катя почувствовала щекотное касание, и что-то маленькое в ладонном гнёздышке. «Всё-таки, решил денежку отдать», – подумала и услышала:

– Это секрет, детка. Пора мне, Боженька во Храме заждался, волнуется, поди, – поднимаясь, добавил, – Душа Софьи больше всего нуждается в твоём маленьком детском прощении во отпущении грехов, чтобы великое прощение и милосердие Божие привели её на небо для упокоения в мире Христовом. Улыбнись, детка!

Глядя вслед Божьему созданию, Катя почувствовала, что униженная крохотная девочка выпрямилась в ней, запрокинула голову, отняла руки от лица, развела их крылами и выпорхнула в небо. Пришло осознание. И в сердце воссиял свет! И до мозга костей её пронизало молитвенное прошение:

«...и приведи на Небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоём милосердии». Катерина раскрыла ладонь. Холодя кожу, на ней покоилась крупная жемчужная бусина.

Первое, что сделала Катя, вернувшись домой – отрезала «Пчёлкину» медовую улыбку. Ела, наслаждалась, смеялась и плакала от счастья, повторяя: «Улыбайся, детка!».

ПАВЕЛ ПОЛИЩУК

Кишинёв

КАДЫК НЬЮ-ЙОРКА

Когда нет диктофона под рукой,
Чтобы запомнить все слова и мысли,
А я сижу у моря, бьёт прибой,
У моря, из которого мы вышли
Полмиллиарда лет назад, в Палеозой,
Осознаю больною головой,
Как мало в жизни поводов для рифмы.
Ты изменилась, враг смирился, Бог молчит,
И даже смерть, упрямую, как плесень,
Не привлекает изумлённый вид
Моих гримас, стихов и грустных песен.



Мне нечего сказать: я не Эвклид,
 Пространство мне тебя не заменит,
 И мир материй мне не интересен.

Молотит шторм песок береговой,
 Тепло уходит, больше места грому,
 Растает и сменится вновь волной
 Вода, уткнувшись в пляж, качнув паромы.
 Я, увлечённый этою игрой,
 Всё же встаю и направляюсь к дому,
 И мне печально, что ты не со мной,
 Уже не так, как в прошлый выходной,
 А в десять раз сильнее и по-другому.

Вычисли радиус спасательного круга ада под третьим глазом,
 Выведи подводные камни преткновения из весенних почек.
 Разбитые 11 колен Израиля мусульманским йодом намазав,
 Учится языкам говяжьим на тот свет механический переводчик.

Погрузи необходимые вещи в сон лодки Харона, бомжа, дикобраза.
 Слышишь грозу? Это Тесла везёт калачи своих медных катушек
 Через варолиев мост гнилой пасти Адама, который наказан
 За то, что кадык Нью-Йорка счёл важнее, чем все наши души.

Отправляйся по Лете письмом, сыгравшим в почтовый ящик.
 Новый Альбион не Тартар, хоть и не манхэтонский Plaza,
 Отыщи в замке ключ Осириса, золотой, музыкальный, кипящий.
 Пей, как валидол, из него густую блестящую фразу.

Раз ум тебе дан, то не пренебрегай, но и не переоцени разум.
 Вычисли радиус круга кровообращения на электромагнитном поле.
 12 израненных колен Израиля будут склеены, как тосканская ваза.
 Извлекай подземные корни всех зол, выводя их на чистую воду.

Разомкнутое колесо сансары замени жёстким крылом херувима.
 Чтобы «вечность» сложить из слёз, подпевай про Младенца Герде.
 На белом камне, что найдёшь у реки, прочитай своё новое имя.
 И огромная восьмёрка свалится на бок, становясь датой твоей смерти.

Когда голодная земля проглотит солнце,
 Наступит ночь, наступит мне на шею.
 За горизонт свернётся флаг японцев,
 Осветит их, Австралию, Корею.

Когда темно, холодный космос близко,
 Часы стучат: Тик-так. Домой пора бы.
 Текут по небу звёзда, галактик брызги
 По траекториям гипербол и парабол.



Пространство с временем вступает в тайный сговор:
Они хотят отнять нас друг у друга
Безжалостно, как злой усталый повар
Разъединяет крупную белугу.

Оркестр птиц затих, остались совы,
Которые бубнят под треск сверчковый.
Закрывают двери, замкнуты засовы.
Никто не спросит: Где вы? С кем вы? Кто вы?

Лишь только темноте до нас есть дело,
Она и география в дуэте.
И мы сидим, не проронив ни слова,
Ведь свет важнее сотни слов о свете.

Мир настоящий с отражением едины.
Нет ничего! Деревья, воды, небо.
Все – чернота. Остались только спины,
Воображение, химеры и плацебо.

Не изумрудит мягким светом бронза,
Но ты не оставляй меня, красавица.
Когда голодная земля проглотит солнце,
Пускай проглотит, падла, и подавится!

Огромный пролом в твёрдом блестящем небе
Сквозит вселенским, космическим сквозняком.
Злой дух воды бил головой о гребень,
Гребень горы, который служил плечом,
Плечом Атланта, чаши небес опорой.
И вот злой дух опоры ту расколол,
Осколок мира обрушился в миг, в который
Гун-гун ударил о камень своим челом.
Треснит разбитый, лопнувший свод небесный,
Землю пробил, как рухнувший потолок.
Из-под земли хлынули воды бездны,
Могучие волны, бурный, седой поток.

А в это время корабль причалил к Криту,
Тесей взял факел и шагнул в лабиринт.
В сухом Египте бог Сет затаил обиду,
В далёкой Индии чистые воды Инд
Благословляют, шумно толясь, брахманы,
Скрестили лезвия Гектор и Ахиллес,
А Гильгамеш с Энкиду против Хумбабы
Идут бороться в тёмный кедровый лес.

Нюйва у реки в густой бамбуковой чаще,
Работает быстро, не покладая рук,
Она строит башню из панцирей черепаших,
Чтобы, поднявшись, заделать небесный круг.



Ей нужно расплавить камни пяти окрасок,
И взять их с собой туда, где горит заря,
Она драгоценности ищет с лихой гримасой,
Но камни все в ювелирном, а значит, зря...

Тантал сливает налево нектар амброзии,
«Free hugs» написал на картонке хитрый Мидас,
Тесей в лабиринте один, его здесь бросили,
А нить утащили на фабрики – ткать атлас.

В священные воды Инда текут помои,
И больше там не купаются мудрецы.
Бог Сет негодует: да что же это такое?
Его враг Гор сам совершил суицид.

В ручье отражаясь, снимает на фотокамеру,
Сверкая зубами, себя самого Нарцисс,
Но вдруг спокойный ручей разливается,
Нарцисс пузыри выдыхает и тонет, вниз
На дно, поток разливается по равнинам,
С корнями срывает леса, как сухую траву,
Течёт сквозь время и ударяется с силой
О небоскрёбы, крепость, шалаш, тюрьму.
Сметает с земли бары, ларёк сигаретный,
Кремль, Бастилию, Европарламент, Биг-Бен,
Дворец Ашшурбанипала, комнаты Петры,
Автовокзалы, храмы, валют обмен.
Волна накрывает святыне сады Вавилона,
В Греции мраморный Зевс, Посейдон и Аид
Крошатся в пыль, места Троянского боя
Уже под водой, как впрочем, и пирамид
Вершины, как крыши Тибетских храмов,
Которые так высоко в горах,
Что даже если ты до восхода рано
Выступишь путь, в дороге узришь закат.

Выгляни, мы проплываем над Эверестом!
Слышишь потопа безумный, могучий вой?
Всё под водой!
Но ты не пугайся, нас эта бездна
не тронет.
Ничто не важно, да будет тебе известно,
ничто кроме имени
Имя моё –
НОЙ!

Золотая монета с оттиском – «солнце»
Сползала в карман горизонта.
Так день расплачивался
за 8-9 часов отдыха,
С вступающей на смену ночью.



Облака потёртой джинсой рвались
И клочками валялись нам на головы,
Пропадали в темноте.
Неведомый Бог опускал чайный пакет
в жидкий космос,
И с каждым разом небо становилось всё темнее,
Как заваривающийся
чёрный и терпкий чай.
Смотреть сквозь него –
Как пытаться смотреть сквозь веки.
Хотя, может быть, только это имеет смысл,
Так как теперь каждый шорох – это
Удар торовского молота,
И бледная свеча в далёком окне
Ярче десяти сияний гелиосовской колесницы.

Мокрый асфальт – ржавое полотно металла,
Лужи блестят, как после наждачки.
Капель дождя на земаю упало немало,
Стирают серые облака
неаккуратные небесные прачки.
Отбиваю с подошв ржавчину,
что прилипает и прилипла.
Дорога вибрирует эхом машинных сигналов.
Нелепый мир, спитый по левым лекалам,
И я – нелепый. В него одетый,
Как после маскарадного бала,
Бреду по чужим улицам
в поисках автовокзала.
За спиной рюкзак, там тёплый свитер и книга.
Как маракас, с каждым шагом звучит «Тик-так».
Осталось полпачки.
На столбах
объявления: реклама фильма
про монголо-татарское иго.
Кот прошмыгнул в подъезд.
Мну зубами безвкусный кусок жвачки.
Дома и дороги одинаковые, как копинаста.
От этого усталый глаз
говорит: «Всё, баста!»
И тело подтверждает: «Баста!»
Я пас!
Больше ни шагу.
Собираюсь упасть.
Подхожу к оврагу.
Глубоко вдыхаю осеннюю влагу
И вдруг
вспоминаю
о нас.

«ОКОЁМ»

С 18-го по 21-е октября 2018 года в Витебске (Республика Беларусь) состоялся XXXII Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад – 2018», на который съехались около двухсот участников из девяти стран мира. Он начинался в 1987 году как городской праздник авторской песни. В 2016-м, с приходом нового руководителя проекта, фестиваль претерпел основательное реформатирование. Теперь, кроме авторской песни, здесь представлены поэзия, живопись, театральные перформансы.

Организатором фестиваля выступил Центр культуры «Витебск», при поддержке Витебского городского исполнительного комитета. Руководитель проекта – Владислава Цвики, кураторы поэтической части фестиваля – Елена Крикливец и Олег Сешко. Мероприятия проводились в помещениях центра культуры «Витебск», концертного зала «Витебск», выставочного зала «Духовской круглик».

Значительное место на фестивале этого года было отведено поэтической составляющей. Организованы «Турнир поэтов», «Уличное кафе» с открытым микрофоном, «Дни портала «Stihi.lv», поэтический концерт «Наречия рек» и, конечно же, – финал Открытого конкурса авторской песни, поэзии и исполнительского мастерства «Витебский листопад – 2018». В номинации «Поэзия» победители определялись в двух подноминациях: «Свободная тематика» и «Юмор». Лауреатами 1-й степени стали Марина Крутова (Гверь, Россия) и Павел Соловьёв (Гродно, Беларусь) соответственно.

Кроме дипломов фестиваля, которыми наградили лауреатов конкурса, некоторые из наиболее ярких его участников получили призы симпатий известных литературных изданий России, Беларуси, Франции, Украины, решивших в этом году оказать фестивалю информационную поддержку. Литературно-художественный журнал «Южное Сияние» (г. Одесса, Украина) установил свой приз симпатий – публикация подборки стихов участников из числа финалистов. Его обладателями стали: Саша Морозов (г. Смолевичи, Беларусь), Саша Ирбе (г. Москва, Россия), Светлана Носова (г. Брянск, Россия), Галина Андрейченко (г. Минск, Беларусь), Марго Волкова (г. Минск, Беларусь) и Диана Рыжакова (г. Москва, Россия). С чем мы их и поздравляем.

САША МОРОЗОВ

Смолевичи Минской области

ГОРОД N

Этот город давно притворяется добрым и милым,
заливая в подвалы зрачков веселящий неон.
В телефонном талмуде не осталось знакомых фамилий,
значит, можно без лишних гудков отключить телефон.
Здесь господствует норд, беспросветные МРЭКи и мраки,
вот и думай, срываясь с насиженных ширсов и гнезд, –
то ли щепкой прильёт к берегам постаревшей Итаки,
то ли гаупой пушинкой застрянешь в ажурности звёзд.



Этот город устал от заезжих театров и мэров.
Здесь свои не в чести. Здесь своих не осталось совсем:
кто-то вышел в окно, остальные в кирпичных вольерах
у гламурных кормушек безоблачно ждут перемен.
Здесь и цепи молчат, не считая бродячей собаки,
прибывшей на праздничный запах вчерашних пиров.
Из подсказок Судьбы – за окном лишь дорожные знаки
с указанием всех проходных (и не очень) дворов.

Этот город привык к веренице дырявых карманов,
подбирая с асфальтовой паперти мелкую жизнь.
Снег ложится на ржавые рёбра безбашенных кранов,
не успевших при жизни увидеть свои этажи.
Забредут ли сюда на постой перелётные птицы,
осенят ли их дробью слепые охотники влёт –
я не знаю кому, но я знаю, что буду молиться
за себя и за птиц, и за тех, кто сюда не придёт.

И ЗВУК, И СЛОВО, И ЗВЕЗДА...

...снежинки маялись в горсти,
дыша неволей еле-еле,
мои простывшие «прости»
зодиакальностью болели,
цепляя сны и провода,
мелькали в хаосе метельном
и звук, и слово, и звезда –
несовершенные раздельно,
все эти буквы в до-диез,
все эти ноты вне бумаги –
с наивной верою и без
оглядки, плана и отваги
спешили с грустью в благодать...

...камина убажая чрево,
горела в клеточку тетрадь,
и что-то в клеточках горело,
и кто-то, вечно не такой,
под безутешною луною,
прощаясь, мне махнул рукой,
всё так же оставаясь мною...

РУССКИЙ ЯЗЫК

...русский язык находится в языке
колокола поэта костра пророка
бьётся в гортани в бронзе в «Двенадцати» Блока
вырви и вроде бы мёртвый молчит в руке
в коме в белой горячке в седой пыли
температурит буквами бредит словом
скулит почти по-щенячьи когда послыно
бинты снимают под ласковое «Delete»
в чёрт-те-какой палате лежит нагой
вглядываясь в глаза потолка и лица
видя как просто люди и сложно птицы
мокнут под затяжными «Exit» и «Go»

слыша как над бумагой молчит рука
и огрызаются строчки на лай латыни
русский язык бессмертно присно и ныне
где-то на уровне совести и ДНК...

САША ИРБЕ

Москва

КОММУНАЛКА

Я хожу с потускневшим лицом,
потому что живу с подлецом.

Нет, ни с мужем, ни с чёрствым отцом,
а с соседом в лихой коммуналке;
в сером доме с шикарным крыльцом
и с помойкой в готической арке.

Говорят: «Коммуналка мертва!».
Только лживы такие слова!

В нашем доме, как будто в Содоме,
всё живёт,
светлых радостей кроме.
Бесконечные крутятся страсти:
зависть, злоба, желание власти.
За кастрюли воюем на печке,
бестолковые мы
человечки.

Мой сосед – алкоголик и бабник:
если что-то случится – дерябнет,
если кто-то ему что-то скажет –
кулаком со всей одури вмажет.

И соседка – пропойца и шляуха –
все к дверям прижимается ухом.
Нет... Она-то ни с кем не скандалит.
Суп под утро в половнике варит.
Просыпается с ликом мегеры,
если кончились все кавалеры.

А за стенкой хирурги лепечут,
что всю жизнь этих идолов лечат...
Дома, в морге – все схожие морды.
Наша жизнь – жаркий трепет аорты.

Мировые решаем задачи:
кто на что сколотил себе дачу,
кто ведро своровал, кто клеёнку,
кто дал водки грудному ребёнку.



А хирург?! Двадцать лет, как мечтает:
«Коммуналки Господь расселяет!»

Уже выросли дочки и внучки,
поколение четвёртое кошек,
а в сознании его хоть бы тучка,
хоть сомненья мельчайший горошек?!

Свято верит в чудесное «завтра».
Только, жаль, я не верю нисколько
и под книжку бездушного Сартра
пятый день наблюдаю попойку.

В нашем доме с шикарным крыльцом
ходят все с потускневшим лицом.

А. БЛОКУ

Александр Александрович,
снова пребуду я с Вами!
Выпит чай и стихи,
точно умерли,
в горле ни зги.

Отравилась я, что ли,
сегодня своими стихами?
Точно тучи бегут надо мною
и бродят круги.

Александр Александрович,
сложно теперь не заметить,
если что-то случится,
спешу не к любимым,
а к Вам.

Там, за синей горой,
этой ночью свирепствует ветер
и проклятая морось,
как лава,
гремит по гробам.

Не о том я сегодня...
Всё призрачно стало
и больно!
Там уходят солдаты,
и женщин с детишками бьют.

Там в кошунственный бред
каждый миг превращают неволью
все возможности светлых
и самых счастливых
минут.

Александр Александрович,
 кончен век страшный,
 двадцатый...
 Мир не сделался проще.
 В нём прежний живёт человек.

На полях – колени,
 в деревнях – те же нищие хаты
 и безмолвные тел
 обрамляет созвучие рек.

Жизнь – война. В ней, увы,
 кто воюет,
 тот чаще и правит!..
 Александр Александрович,
 помните боль той войны?..
 Александр Александрович,
 тихо над бездной
 вздыхает,
 за Андреем Андреевичем
 просит её,
 «Тыпины!»

А МНЕ СЕГОДНЯ НЕ ДО СМЕХА

А мне сегодня не до смеха.
 Сегодня не до смеха мне:
 что для других теперь потеха,
 то для меня – птенец в огне.

Не знаю даже, как случилось
 и почему произошло.
 Семья жила. Семья разбилась.
 Семья поранила крыло.

Ей не летать, а вам – не падать,
 и тщетно я играю роль.
 Смотрите же на мой упадок!
 Где мой король?

Какие дружеские речи?..
 Была семья и нет семьи.
 Твердите, ну же: «Будет легче!» –
 друзья и недруги мои!

Любуйтесь, как в тяжёлых лапах
 из недоверья, сплетен, лжи,
 упала эта птичка на пол.
 Кругом кричат: «Держи!.. Держи!..»

Зачем же мне держать бедняжку?
 Бедняжка больше не взлетит.
 В одну-единственную чашку
 луна всю ночь теперь глядит.



Здесь всё имеет свои сроки
и свой трагический исход.
Пока вы счастливо живёте,
но всё исчезнет. Всё – пройдёт.

СВЕТЛАНА НОСОВА

Брянск

ТВОЙ ГОРОД

твой город – деспот.
твой город – демон.
ему не в тему твои проблемы.
постичь захочешь его системы –
сплетёт интриги стальных оград.
не поминай этот город всуе,
он на щитах не тебя рисует,
рычит, оскалив клыки сосулук,
даёт понять, что тебе не рад.

здесь так легко затеряться в спаме.
а ты болейшь его огнями,
его проспектами, площадями,
готов в объятья к нему упасть.
но город щерится, тянет лапы
своих мостов.
он не терпит слабых,
да не упустит момента, дабы
сомкнуть бетонную злую пасть.

но если ты преклонишь колена
и станешь пленным его вселенной,
он показательно и надменно
пропишет, кто здесь и царь, и бог.
и, ощутив, что минорно дышишь,
что обездвижен, уныл и выжат,
нажмёт на клавишу скользкой крышки
и распечатает некролог.

БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО

Она – пылинка в жизненном бедламе.
Ей не везёт с делами и тылами,
И даже с равновесием весов
«Не катит»... Как в комедии с Ришаром.
Лишь катит осень в платье обветшалом
Расколотой фортуны колесо.



Легко ли жить, ничем не обладая?
 Но жизнь – она не жила золотая,
 А жёсткий опыт на разрыве жил...
 Кольцо судьбы сжимается упруго,
 А выпадешь из замкнутого круга –
 И нет тебя. Как будто и не жил...

...Она бредёт, заглядывая в лица,
 А в них – тоска... и хочется напиться
 Бесплатного осеннего дождя,
 Упасть в объятия старого трамвая
 И ждать, куда же выведет кривая,
 Став самой отрешённой из бродяг...

Набрякло время в сырости подвала.
 Амбициозность города достала,
 Как достают сквозь куртку холода.
 Её удел – бродить по полумраку
 И называть бездомную собаку
 Единственной подругой.
 Навсегда.

КОГДА ТЫ ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ ДОМОЙ

Когда ты возвращаешься домой из странствий, дни становятся короче, сочнее краски, ласковее ночи... Тревоги остаются за чертой седого мха на стареньком причале.

Твой друг-рюкзак скучает за плечами – болван, набитый скарбом и мечтой. Всё – позади. И всё же – впереди.

Густой закат над озером алеет. Бредём домой по липовой аллее. Не говорим. Прищурившись, глядит остывший день. Не клеится беседа... Но радуюсь, что мне скупое лето немного счастья выдало в кредит.

Вот наш ручей. Он снова обмелел, трава вокруг подсохла, стала жёстче, чем по весне. Ты помнишь наши ночи здесь, у ручья?..

...Всему есть свой предел...

Обнимешь, улыбнёшься и ответишь, что существует истина на свете, и не в вине, а в этой вот воде...

И будет ночь терпка и горяча. И новый день нахлынет панацеей. Пройдут дожди. Трава зазеленеет. Привыкну спать у твоего плеча.

Но такова действительности суть: попутный ветер – брат тебе по крови. Причал, нахмутив моховые брови, тебя опять отпустит в долгий путь, час от часу тоскливей и нелепей, играть станет в лодочные цепи...

И так всегда.

Мне снова не уснуть...



ГАЛИНА АНДРЕЙЧЕНКО

Минск

БЕЗВЕСТНЫЙ АВТОР

1

А вечер скудный, вечер бедный
 венчал протянутые руки,
Чужое Жалобное море
 и в стену втиснувшийся гвоздь.
А в задверном прогорклom стуже
 слышна разгневанная бездна.
Не спит, подёрнутая молью,
 её трагическая плоть.

Здесь под замочную печатью
 грустит игрушка – тесный город,
Где запылённый строй бокалов
 мечтает вырваться на свет.
– Я к Вам пишу... Не отвечайте,
 на жизнь ответа слишком мало...
Но там, в земле застрявший голос
 из заточенья шепчет: «Нет...»

Озноб и кашель: это завтра,
 а послезавтра грянет пекло,
Но плащ на вешалке старинной
 застыл, как вечный приговор.
Я Вас люблю, безвестный автор,
 мы разломались на два века,
На два окна чужой гостиной,
 ослепших, глядя в мутный двор.

2

Протестует в ступенчатом горле кофейный эрзац,
В ледниковом кочевье погрязла осенняя почта,
Я читаю в забытой прорехе поникший пейзаж
По избитым слогам, по растрёпанным буквам и точкам.

Долевое сопранo влетит в облицованный щит,
И последние хрипы из трещины свесятся на пол.
Очарованный служка хлебает тюремные щи
Долговязым гобоем, который допел и доплакал.

Завтра высадят окна во все времена... А пока
Небо сучило звёзды на выкате плазменной ночи,
Серый в яблоках чайник свистел в ипподром потолка,
Утепляя туманом не слишком застенчивый почерк.

ОСЕНЬ

Серые листья
 ждали до полусмерти
 Не отрешенья –
 ждали далёких рук.
 Ломкие жизни
 падали на рассвете
 В терпкую осень
 так незаметно, вдруг

Двери пугали,
 гости стучали в воздух,
 Важных перчаток
 лопались пузыри.
 Сгорбленный праздник
 (лучше бы без вопросов)
 Тосты развесил. –
 Лучше бы не мудрил.

Вспыхивал вечер
 и зеленело зелье,
 Приоткрывая
 подлинники пустот.
 Всё, что угодно –
 только бы не на землю!
 Ах, неминуемо! –
 Только бы не пластом.

МАРГО ВОЛКОВА

 Минск

СВОЁ

Мир мой в себе содержит несколько человек.
 Умер один. У второго путаница в голове.
 Три старика беспомощных отбрасывают балласт.
 Два перспективных подростка, наш плодородный пласт.
 Малочисленные родственники, невидимые друзья.
 В центре великолепия помещаюсь, конечно, я.
 Как говорится, торпеда соответствует кораблю.
 Я вас люблю.

Жизнь, взяв меня за шиворот, держит, но до поры.
 Собственно, все повязаны, от взрослых до детворы.
 Как же нас много, господи, куда же нас всех, куда?
 Будто для утилизации созданы города.
 Что нас лечить и пестовать, конца нам и края нет.
 Каждому дай работу, крышу и горсть монет;
 Но чтобы прожить до зарплаты, лучше бы по рублю...
 Я вас люблю.

Вот в электричках дачников неистребимых рать
Едет свои пять соточек в листики целовать,
Чтоб убедиться: точно ли крокусы зацвели;
Чтоб растереть в ладонях пару комков земли...
А за стеклом замызганным важно плывут поля,
Место под солнцем прячут застенчиво тополя,
Место для жизни отдано полыни и ковыляю.
Я вас люблю.

Сверху вниз – мне не светит, но, в общем-то, обойдусь.
Снизу глядишь на звёзды, думаешь: чёрт с ними, пусть.
Пусть асфальт и бетон. И набитый битком трамвай.
Ты навсегда меня, господи, городу не давай.
Я разбираю по буквам его монотонный язык,
Но это ещё не значит, что город ко мне привык.
Пора наконец торжественно с шеи снимать петлюю.
Я вас люблю.

СВОБОДУ КАПЛЯМ!

Быть первым всегда опасно, но так революционно!
Юнцы шли в атаку страстно и бились о лёд со звоном!
Кричали: «Свободу каплям!», сверкая студёной кровью,
И метко втыкали сабли в ледовое поголовье.

Сосульки рыдали сладко, целуя детей в макушки.
На подвиги капли падки, как будто им жизнь – игрушка!
Оскалившись, злые лица коты обращали к небу:
Им капли мешали биться за кус кошачьего хлеба!

Рискованный и провальный, но как был порыв неистов!
Вороны «Виват!» кричали, приветствуя анархистов.
Под птиц картавые клики гремели аплодисменты,
И каплям вручались блики в торжественные моменты.

Внизу, напивавшись кровью весенних бойцов беспечных,
Над глупым их поголовьем, раздробленным и увечным,
Треща, потешалась льдина и, скалясь, лоснилась сыто.
Смотрела, как войско стынет, гладала юнцов убитых.

А звёзды весной зубасты, и солнце пока – не в силе.
И первопроходцев каста в полёте к земле остыла,
И вот уже мерно обувь утожит вечерний кафель...
А всё же – какая проба у глупых весенних капель!

ПОЛНОЛУНИЕ

Луна – лишь подобие звёздной сферы.
И спичка банальная светит лучше.
И волки – не оборотни, а звери,
Ни больше, ни меньше, в любом из случаев.

Здравствуйте, волки. Пожалуйста, ближе.
Луна на сносях, осторожней – опасно.
Желает вас трогать, склоняясь ниже,
За спины, за морды, за горла страстные.

Видите, волки, поджарые рати? –
Время пришло вам явить манеры:
Пойте присущее вашей братии!
Не ограничивайтесь полумерами!

Слышите, волки?.. Притихла планета...
Время покинуть ночное вече.
Вам ли не ведать? Опасно это,
Ведь начинается вой человечесий!

Волки, уйдите. Поберегитесь!
Ужас восстал и продлится долго.
Прячьтесь волчат, хоронитесь, бегите!
Глубже забейтесь в надёжные логова!

Вы ведь о прошлом Луне вещали,
Вы раздвигали времени клещи.
Брезгают люди такими вещами,
Глупые люди, мужчины и женщины.

Тянется в будущее из прошлого
Вой всепланетный пока что втуне...
Спите же, волки, всего хорошего,
И да спокойного вам полнолуния.

ДИАНА РЫЖАКОВА

Москва

КОЛОДЦЫ

Между ропотом и тишиной дубрав
залегли колодцы – глубокие борозды,
из-под серых шляп облаков,
из-под чёлок некошеных трав
судный взгляд колодезной,
мёртвой теперь воды.
Говорят старухи, – здесь жили цветные сны,
говорят, дружили с добротной, лесной землёй
летние стрекозы из парусины,
вились над изъезженной колеёй.
Солнце доходило до зеленей,
мяло землянику, ладонь кропя,
птахи-соловьи, нахлебавшись сбитней,
распускали ноты до самых пят,

кольцевали небо, за годом год
прирастали хлебом и молоком.
Всё пропало.
В красный развёрстый рот
колокольный звон, водянистый ком.

ИБИС

Нелепица – белое крыло в ветвях,
то ли это облако смотрит в прорезь века,
то ли это яблоня, то ли это я
лепестком машу – не приехала.

Ты сидишь у окна, запелёнута в тёплый свет,
справа тросточка, слева радио
голосит, как проклятое, сосед
обещает всё, да не наладится.

Раз в неделю к мусорщику с мешком,
по средам молочница у калитки,
говоришь эзоповым языком,
с молоком и щами на пол пролантыми.

Дворик невесомый из пустоты
проступает вечером, дыры, дыры,
это не метафора, но кроты,
яростно захватывают твой мир.

По дороге двигаются толпой,
сосенки, уложены на катафалки,
мы и сами пришлые, с Рыбинской
прилетели, здравствуйте, нам не жалко.

В дни войны здесь, в доме иконостас,
все углы намоленные, и присно,
и крыло, и кто же вчера сказал –
кулики, овсянки, вдруг это ибис?

ОЗЕРО

Круглое озеро – глаз позабытой земли,
в детство распахнутый, синий, огромный, блестящий,
выкупай, выкупи чёрные мысли мои,
дай настоящее, выдай моё настоящее.
Будут раскинуты руки и ноги босы,
кожаный, стильный рюкзак безнаказанно скинут,
беглые капли гусиной, шипящей росы
лягут под кожу, подоткнутые под спину.
Что-то вонзится в ключицу – включится мой день
в гонку за ветренным, в очередь к небу, пробьётся,
и облака – многорядная ветхая лень –
распеленают сегодня рождённое солнце.

«ФОНОГРАФ»

ЭРЛЕН БЕЙЛИС

У КАЖДОГО СВОЯ СТЕЗЯ

Тепло камина греет вас, когда
Сидите с книгою, держа во рту чубук вы.
Читайте книги, дорогие господа,
В них можно встретить занимательные буквы.

Мне взять бы неприступную скалу,
Взойти на Эверест маршрутом сложным,
Или на голом полежать полу,
Особенно на противоположном.

ОТЦОВСКИЙ СОВЕТ

Сынок, совет послушай старика,
Я – твой отец, и за тебя в ответе я:
«Не смей касаться девушки, пока
Она ещё несовершеннолетняя».

Снег выпал! Стало тяжело выруливать.
На пляже не увидишь больше чаек.
И шубы уже начали выгуливать
Надменных и напыщенных хозяек.

Эрлен Бейлис (7.11.1940 – 28.12.2018). Поэт, переводчик. Родился во Владивостоке, учился в Ленинграде, 30 лет служил в ВМФ. По собственному признанию, стихи писать начал поздно, но с удовольствием. Выпустил сборник авторских стихотворений «Случайные строфы» (2012, Одесса), сборник переводов избранных стихов Редьярда Киплинга (2013, Одесса), сборник переводов стихов детских поэтов США и Великобритании «Тридцать третьёе феврюня». Публиковался в альманахах «Меценат и Мир» (Москва), «Дерибасовская-Ришельевская» и «ОМК» (Одесса), журнале «Южное Сияние», газете «Доброе дело» и др. С 2011 года был членом литературной студии ОМК «Поток».



У каждого своя стезя,
Пусть правильна, пусть ложна.
Чужую жизнь прожить нельзя,
Зато испортить – можно.

Отчего на улицах заторы?
Почему зелёный цвет пропал?
Это потому, что светофору
Взятку до сих пор никто не дал.

Ты вышла из себя? Сомненья, муки?
К чему тебе волнения такие?
Старайся взять себя скорее в руки,
Желательно, мужские.

Манеры в Итоне сумели Вам привить,
В Сорбонне, видно, этикету обучили.
Простите, если я продолжу говорить,
Хотя меня в четвёртый раз Вы перебили.

Пылала яркая звезда,
И громко сердце билось!
Я не забуду никогда
Того, с кем я забылась.

То ли мне женою стать,
Так работа мне приелась.
То ли должность отыскать,
Чтобы замуж не хотелось.

Гадалка, отвечай мне скоро,
Где мужика найти, который
Мои желания угадывать умел,
Но мысли чтоб мои читать не смел.

Хорошо, если парень силён, не дурак,
А у девушки чудо-фигура!
Но, коль что-то у них не выходит никак,
Значит, кто-то из них просто дура.

Сколько женщин ни возьми,
Каждая о моде грезит.
Сколько бабу ни корми,
Всё равно в лосины влезет.

Не стоит аппетит винить!
Долой диеты и микстуры!
Лишь память может сохранить
Девичью стройную фигуру.

Невинность до свадьбы храни,
Но только учти без претензии,
Как быстро летят наши дни,
Как мало осталось до пенсии.

ЧАЙНАЯ ДИЕТА

С зелёным чаем похудеешь скоро,
Ты из меню его не исключай.
Лишь каждый день с утра взбирайся в горы
И собирай весь день зелёный чай.

В каждой девушке будто мобильная сеть,
Умоляешь её: «Будь любезна, ответь!»
А в ответ: «Занята!», «Недоступна ещё!»,
«Недостаточно денег, пополните счёт!».

Её решил я одарить всерьёз
И обналчил банковскую карту.
Остался у меня один вопрос:
Когда же у неё 8 Марта?

Мужчине подобрать носки по цвету
Совсем непросто, тут подай талант!
А даме подойдёт и то, и это:
Машина – так машина, бриллиант – так бриллиант.

ЖЕНСКАЯ МУДРОСТЬ

Любая женщина презент оценит сразу,
Пусть преподнес его мужчина или мальчик:
Плохой подарок – тот, что ставят в вазу,
Хороший – тот, что просится на пальчик.

ПО СЛОВАМ БАРБЕ Д'ОРВИЛЯ

У женщин столько нежности и чувства,
Они от ран сумеют вас спасти,
Успев с не меньшей силой и искусством
Сначала эти раны нанести.

Пришёл мой день рождения опять,
Летят года, как птицы.
И каждый год труднее привыкать,
Что мне сегодня тридцать.

Подкова в доме – будешь есть досыта,
По жизни, словно бабочка, порхать!
Лишь к своему прибеи её копыту
И начинай усиленно пахать!

Если с милым не рай в шалаше,
Ты не можешь ни есть, и ни спать,
Если кошки скребут на душе,
Что они там хотят закопать?

Нам женская хитрость известна давно:
Все хитрые дамы, как дети,
Когда из двух зол нужно выбрать одно,
Они лучше выберут третье.

У наших женщин мысли тривиальны:
Во всех несчастьях обвинить кого-то.
Не странно, что их дети – гениальны.
Но странно, что отцы их – идиоты.

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ

Зимой капуста не произрастает,
И аисты живут в чужих краях,
А я зимой родился и не знаю,
Откуда же не свет явился я.

Всё равно животным станешь поздно или рано,
Можешь звать это добром, а можешь – злом.
Если женщина тебя не сделала бараном,
Ты, конечно, будешь числиться козлом.

Нас светлые дали манили,
Нас солнце ласкало, любя,
Мы долго и счастливо жили,
Пока я не встретил тебя.

С людьми общаясь весь свой долгий век,
Нашёл закон, что вам окажет помощь:
Уж лучше грубый, но хороший человек,
Чем тихая воспитанная сволочь.

В природе всё разумно, без подвоха.
Одежда, мода, стиль – ещё не всё!
Петух красив и кукарекает неплохо,
Но яйца всё же курица несёт.

Неприятностей Судного Дня берегись,
Но себя успокоить попробуй:
Коль тебя закалила семейная жизнь,
То не стоит бояться загробной.

Чтобы случай несчастный не произошёл,
Страхуйся.
Если в жизни хорошее место нашёл,
Паркуйся.

Пить вредно, и бодун совсем не в радость,
Настал для битвы подходящий час,
Налей, и уничтожим эту гадость!
Иначе гадость уничтожит нас.

Жизнь глушцов, поверьте, нелегка,
Зависть к умным их нещадно гложет:
Умный может закосить под дурака,
А дурак под умного – не может.

Непонятный, загадочный, странный эффект:
Уговоры бессильны, и слёзы, и грубость,
И искусственный вас не спасёт интеллект,
Если с вами всегда натуральная глупость.

Шальные мысли часто в голову приходят,
Когда лежишь на травке, рассуждая о судьбе.
Неплохо, если отдохнул ты на природе,
Но хуже, коль природа отдохнула на тебе.

В величье красы наша вера свята.
О пользе её прожужжали все уши.
Спасёт обязательно мир красота,
Немало семей по дороге разрушив.

НАШИ ПРЕДКИ

Далёкий предок наш с собой в согласи жил
И никаких сомнений в жизни не имел:
Не нравится ему сосед – убил,
А, если очень нравится, то съел.

Меня, конечно, ты поймёшь,
Тут разглагольствовать не надо:
Как интересно слушать ложь,
Когда тебе известна правда.

В поисках чистой украинской расы
Стоит, наверное, взять на заметку,
Что у Остапа, Панька и Тараса
Могут найтись иудейские предки.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ЧИНОВНИКА

Сижу с дипломом университета,
Пишу статьи, отчёты, рефераты.
Прошу послать меня, учитывая это,
На курсы повышения зарплаты.

ФРОНТОВИКАМ

Закончились бесплатные обеды,
Вновь нищета и рваные штаны.
Теперь до будущего Дня Победы
Вы больше этой власти не нужны.

Возможно, власть в стране у нас не та,
А может, у людей не та натура:
У нас всё происходит неспроста,
И всё, к несчастью, делается сдуру.

«СЕТЧАТКА»

ЕЛЕНА КОРО

КВАНТОВАЯ ЛИНГВИСТИКА ВИЛЛИ МЕЛЬНИКОВА

«Вилли держит Бога за бороду. Точнее, за язык, чтобы если не пролететь Страшное Слово, то синкретизировать его. Его приём не так уж мудрён (первое слово переходит во второе, не дойдя до своего конца)...»

Андрей Беличенко [3, с. 6]

Обозначим некоторые константы и переменные нашей работы. Предметом для исследования нами выбраны поэтонимы-кентавры (антропоэтонимы и топопоэтонимы), становящиеся органичным смыслообразующим ядром поэтического сборника московского поэта Вилли Мельникова «Штурман железнодорожного плавания» [3], образующие семиотическую модель авторского метатекста «единицами-мыслекодами» [4] индивидуального языка автора, семантическим узором метатекстовых нитей моделирующие поэтический космос Вилли Мельникова.

Мы исходили из общего определения поэтонима как предмета исследования согласно характеристике Донецкой школы поэтономологии:

«Предметом исследования в поэтономологии является поэтоним, под которым следует понимать имя в литературно-художественной речи, которое выполняет, кроме обязательной номинативной, характеризующую, идеологическую и стилистическую функции, вторичное по отношению к реальной онимии, со свойственной ему подвижной семантикой. Исходя из представления о художественном произведении как о вторичной семиотической моделирующей системе, можно и о поэтономии, если таковая представлена в произведении, говорить как о вторичной системе, моделирующей реальную» [2, с. 23].

Сборник открывает именной акростих, составленный из первых букв построочно как «Андрей Валентинович Беличенко». Думаю, что рассматривать поэтическое произведение жанра «именной акростих» как антропоэтоним можно как концепт вторичной семиотической системы, стилистически своеобразно раскрывающей качества реального онима «Андрей Валентинович Беличенко».

*«Амбидекстр философий,
Нефиллим конца концептов,
Древне-чтений нео-профи»
Именной акростих. А. В. Беличенко [3, с. 7].*

Раздел «Стихо-отворения». Произведение «М. А. Булгакову». В данном случае литературные миры Михаила Булгакова представлены читателю в контексте метаязыка индивидуальных образов в интерпретации поэта Вилли Мельникова. Разберём один из примеров «метатекстовых нитей», проясняющих «семантический узор» основного текста [1, с. 421].

*От паниБрутства пострадав,
Шёл ЁШб'и Цезарь на поправку. <1> [3, с. 10],*

где согласно авторскому примечанию <1> [юллё] (венг.) – наковальня.

В этих метасловах полностью раскрываются мыслекоды автора. Слово «паниБрутство» неологизм, образованный из слова «панибратство»: «бестактная простота обращения со старшим в некоем содружестве, братстве», братское дружелюбие до такой степени вольное, что граничит с изменой – «паниБрутством». Автор находит очень интересное лингвистическое решение превращения братской дружбы – в измену на государственном уровне: «Брат» становится «БрУт-ом» путем подмены одной буквы: вместо А – У. Появляется неологизм «панибрутство», в котором динамика модуляции слова происходит путём изменения буквы в корневом ядре «панибрат» – «панибрут», суффикс же «ств» остается неизменным. Нам интересен этот неологизм с точки зрения авторского включения метаимени, метаантропонима «Брут» внутрь корня «панибрат» как смыслового мыслекода, абстрактного синонима слову измена – «брутство» – с одной стороны. С другой же, собственно метаимени Брут непосредственно в связи с «Üllóй Цезарь», «пострадавшим» не просто от панибратства нижестоящего, но от «панибрутства» того самого Брута. Так, мы наблюдаем, как метаимя, становясь мыслекодом, становится составной частью корня неологизма-кентавра. При этом новое слово само не становится антропонимом, но включает его в себя как метакод, образующий новый смысл неологизма.

Рассмотрим пример, когда константами модуляций становятся корневые ядра антропонимов, а динамику кентавра-неологизмам придают суффиксальные переменные, взятые из других языков по омонимичному сходству фонетического созвучия.

*«Когда король галерно гол,
шут – боцман, а корма – кормушка!» –
ворчит старуха Изер'girl, <3>
в петушьеногой злясь избушке [3, с. 10],*

где согласно авторскому примечанию <3> [gɛ:ɹ] (англ.) – девушка.

Здесь мы наблюдаем своеобразную аллюзию на героиню произведения Максима Горького «Старуха Изергиль». Имя «Изер'girl» преподносится автором в ироничной форме как старуха-девушка, видимо, старая дева, Баба-Яга, которая «злится в петушьеногой избушке». Лингвисты считают саму форму имени Изергиль (Izergil) анаграммой скандинавского слова «итгразиль», что означает гигантский ясень Итграсиль, дерево миров, связующее девять миров и три времени. Или же как вариант. Изергиль (Иезекииль) – женское имя, произошедшее от древнееврейского имени, что переводится как «Бог сделает сильной». В данном контексте автор изменяет форму имени «Izergil» на «Изер'girl», komponуя кириллицу и латиницу, русский и английский языки, меняя букву в части слова, написанной латиницей, по фонетическому звучанию английского слова «girl» – [gɛ:ɹ] (англ.) – девушка, составляя своеобразную билингвистическую анаграмму, наделяющую слово новым ироничным оттенком смысла: старуха Изергиль как старуха-девушка, старая дева, вечная девушка в образе старухи, Бабы-Яги в «петушьеногой избушке». Здесь кентавр-антропоним «Изер'girl» наделяется своеобразным смыслом так же как раскрывается русская матрешка: внутри образа Бабы-Яги, старухи, обитающей на границе миров – аллюзия на анаграмму «итгразиль», согласно тем же русским сказкам обитает образ вечно молодой девушки – Василисы Премудрой, образ которой уже аллюзия на древнееврейскую анаграмму Изергиль (Иезекииль). В данном произведении автор показывает нам оба образа старухи-девушки внутри кентавра-антропонима, образ старухи, подав традиционно кириллицей «Изер'», образ девушки иронично, после апострофа по-английски как «'girl» в контексте неудовлетворенной старой девы. В данном случае мы наблюдаем, как автор для того, чтобы открыть тайный метакод; смысл, скрытый в имени старухи, открывающий путь иному имени, наделённому более высоким значением; создавая антропоним, изменяет букву в данном имени, используя английское написание – и фонетическое созвучие – части слова «rgil» – «'girl», в билингвистическую анаграмму, наглядно являющую оба смысла данного антропонима.

Рассмотрим произведение Вилии Мельникова, заглавие которого является антропонимом – «А.С. Пушкину» – на предмет того, может ли само произведение в данном случае быть структурно антропонимом, раскрывающим авторское отношение и авторское видение того лица, которому посвящено стихотворение. Сохраняет ли при этом автор, используя свои поэтические обороты метаречи, стилистику самого А.С. Пушкина, разумеется, опосредованно. Опять-таки, будем руководствоваться тем, как автор раскрывает ряд антропонимов в контексте произведения, вновь используем «метод матрёшки».

*Эфиоптикой изъеден,
вечно камер-юнг;
из-салонв-изгОнегин [3, с. 18].*

Давая образ Пушкина, описывая его качества, Вилли Мельников применяет антропоним Пушкина – Онегин – по отношению к самому Пушкину, как изгнанника из салонов – «изгОнегин» – в контексте «изгой Онегин», «изгнанный Онегин». Мы снова видим авторский прием поэта: соединение морфем двух разных слов, которые по фонетическому звучанию и написанию «из-салонов-изгонегин», предоставляют возможность увидеть узнаваемость слова, его смысла, узнаваемой становится стилистика авторского приёма. В данном контексте антропоним Онегин оказывается включённым в часть неологизма «изгОнегин», являющегося по функции причастием – «изгнанный из салонов», или, скорее, не в прошедшем, а в настоящем времени действия – «изгоняемый из салонов». «Изгонегин» – тот, кого изгоняют. Сам неологизм не становится антропонимом, он, скорее, даёт новый нарицательный смысл антропониму «Онегин», включенному в часть неологизма, он не замещает, но дополняет статус того, кого изгоняют. Он имя нарицательное, но узнаваемое, – это изгой Онегин. Этой же функцией Вилли наделяет Пушкина, он всё тот же «изгОнегин».

В этом же произведении мы встречаем годоним «Невский (проспект)» как составную часть авторского неологизма:

шёл проспектом однодНевским [3, с. 18].

Смысл его проступает явно в контексте не только, как один день из жизни Невского проспекта («однодневского»), но и само произведение получает пространственно-временной ракурс в самом неологизме: время действия героя – один день, место действия «изгОнегина» – Невский проспект.

Исследуя авторский метод, мы можем отметить, что Вилли Мельников использует приёмы как лингвистической метонимии внутри слова, контрапунктом противопоставляя в слове посредством анаграммы одну морфему – другой, как, например, в кентавре-антропониме «Изер'girl». В тоже время этот контрапункт: старуха-девушка – позволяет перейти к синергии смысла самого имени, к его обобщающему значению – образу мудрой девы, где мудрость – прерогатива образа Старухи, а юность – Девы, но в этом обобщающем смысле Изергиль становится Иезекииль, той, которой уже Бог даёт силу. Таким образом, по сути, Вилли Мельников, творя кентавр-антропоним, создает слово полиинтервальное, внутренняя семантика которого строится по закону диалектики интервалов, это некая лингвистическая квантовая единица, би-интервальная по значению. Каждая морфема-билингва внутри неологизма, с одной стороны, имеет автономное, присущее ей корневое значение, с другой стороны, по принципу семантической дополнительности, раскрывает слово изнутри как тезис-антитезис, так и выявляет его скрытый синтетический замысел, то есть являет собой единицу своеобразной квантовой лингвистики.

Таким образом, процесс образования кентавров-понимов в поэтическом дискурсе московского поэта Вилли Мельникова рассматривается нами как органический процесс внутри единого поэтического космоса автора, как состояние со-бытия понимов-неологизмов метаречи как элементарных частиц квантовой лингвистики автора.

Литература

1. Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1978. Вып. 8. Лингвистика текста. С. 402-425.
2. Калинин В. М. Знакомьтесь: поэтономология // Вестник Тамбовского университета. Серия Филологические науки и культурология. Тамбов. – 2016. Т. 2. Вып. 4 (8). С. 18-27.
3. Мельников В. Р. Штурман железнодорожного плавания. – Киев: Интерсервис, 2016. – 222 с.
4. Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: Едиториал УРСС. – 2004. – 456 с.

ЕВГЕНИЙ ЧИГРИН

СОБЕСЕДНИК ПУШКИНА

Умер великий русский писатель Андрей Битов. Знаменитый классик постмодернизма, автор «Империю в четырёх измерениях», «Уроков Армении», виртуозных эссе, повестей, киносценариев, записок, стихотворений, едва ли не самого знаменитого «андеграудного» романа семидесятых «Пушкинский дом»...

Может быть, самый-самый западный русский прозаик, собеседник Пушкина посредством таких книг, как «Предположение жить» и «Вычитание зайца». В прамбуле «Предположения» Андрей Георгиевич

писал: «Когда кончилась его личная (Пушкина), его краткая, его такая собственная, такая единственная жизнь, такая живая, такая одна, которую он так отстаивал (между прочим, и от нас) вплоть до смерти, когда крепость его жизни пала, тут уж все кинулись в пролом, жадные и любопытные: что внутри?». Эти слова вполне уместно написать, точнее, повторить сегодня за Битовым. Он им соответствует в той, в пушкинской мере. Снимаю с полки книги писателя, чтоб убедиться, когда он подарил мне тот или иной том, и навзрыд читаю: «поэту Евгению Чигрину в честь перебежания зайцем А.С. Пушкину дороги, а также восстания декабристов, грядущему к 25 декабря. Привет. А. Битов. 25 декабря 2000 года».

Ну вот, и сейчас декабрь. Теперь для меня навсегда битовский декабрь. Этот огромный почти 1000-страничный том он подарил мне в Москве, но ведь познакомился я с ним не в столице. А в далёком теперь 1997 году во Владивостоке, куда он прилетел с выступлениями, и для окончательного разговора с тогдашним губернатором, пробивая самый первый в России памятник Осипу Мандельштаму. Именно после установки этого памятника в «Тексте как поведении» он напишет: «Мандельштама – любят. Не всенародной любовью, а – каждый». Так ведь и Битова любят именно такой любовью.

И ещё одну книгу снимаю с полки: «Человек в пейзаже», где крупным наклонным почерком написано: «Е. Чигрину – на память о памятнике и светлых днях во Владике с питерским приветом». Господи, только теперь понимаю, как же мне повезло, я общался не только с его книгами, но и с ним самим на протяжении 23 лет: во Владивостоке, на острове Сахалин, где Андрей Георгиевич провёл почти две недели, в Москве на посиделках ПЕН-клуба и у него дома, на Красносельской. Последний раз говорили по телефону несколько недель назад, он кажется был на своей даче под Санкт-Петербургом...

Да, упоминая чеховский Сахалин, приведу его слова из моего очерка «Глаз на Востоке»: «Моим любимым предметом была география, я знаком со многими людьми, побывавшими на Сахалине, читал и слышал о нём с детства, поэтому, когда представилась возможность побывать, я не мог противостоять искушению, хотя ради этого пришлось отказаться от поездки в Венецию, Македонию и Анапу... Я ведь и сам с небольшого питерского острова. Моя родина – это такой мутный глаз империи на Западе, а Сахалин – это мутный глаз на Востоке. Получается такое двуглазое чудовище...».

Память весьма избирательна, помню не только, как путешественник Битов пробовал островные деликатесы, но и как Андрей Георгиевич пристально всматривался в покрытого лаком колоссального каменного окуня, найденного в Японском море. Голова огромная, чешуя крупная, рот большой, выдвигной, открытый. Короча – манта. На мгновение показалось, что и рыба присматривается к писателю... А что? Титаны морских глубин и русской литературы обмениваются молчанием... А за окном морского музея перекатывался солнечный сентябрь, шумел морской порт, выкрикивали жаргонные словечки стивидоры, ведущие разгрузку, и моряки, сейнеры и паромы пахли Востоком: Японией, Кореей, Гонконгом, и какой-то белый катерок легко нарезал по аквамаринным волнам Татарского пролива.

Теперь нам предстоит ещё долго осознавать, сколько он сделал для русской культуры, скольких авторов мирового значения ввёл в обиход, написал предисловия, составил, издал. Перечислить нет никакой возможности. «Ничего более русского, чем язык, у нас нет. Мы пользуемся им так же естественно, как пьём или дышим». Даже если бы он написал только эту фразу, то и с ней наверняка остался бы в современной литературе. А ведь есть ещё великое множество. Цитирую по памяти: «Открываю Пушкина – закрываю Гоголя. И наоборот. В любом месте – и всё на месте». В самом начале «Аптекарского острова» он написал: «Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь... То есть не надо, а можно писать всю жизнь: пиши себе и пиши. Ты кончишься – и она кончится. И чтобы всё это было – правда. Чтобы всё – искренне». Вот он так и жил. Жил и писал. Всю свою жизнь. И в собеседниках у него были: Пушкин и Вяземский, Гоголь и Барков, Шаламов и Шостакович, Галич и Габриадзе, Байрон и Бродский, его любимый Андрей Платонов и самый лысый и самый смелый (Хрущёв) и ещё целая вереница персонажей...

Как-то написали, что «Андрей Битов – писатель, который умеет читать. Читать вслед за ним прозу и поэзию Пушкина, Достоевского, Мандельштама, Платонова – это значит открывать для себя заново и поэзию, и прозу». Теперь в этот ряд нужно поставить и Андрея Георгиевича Битова.

Спасибо ему за это!

«ЛИТМУЗЕЙ»

От редакции: в 2019 году мыслящий мир отмечает 220-летие со дня рождения великого поэта, классика русской и мировой литературы Александра Сергеевича Пушкина. В каждом из номеров нынешнего года «Южное Сияние» будет публиковать материалы, посвящённые Гению.

ВЕРА ЗУБАРЕВА

«ПИКОВАЯ ДАМА»: ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОЙ МИСТИКИ*

«Пиковую даму» обычно трактуют как повесть, написанную в жанре мистики. Это, однако, не соответствует литературной ситуации 1830-х гг., когда готический жанр уже не воспринимался всерьёз. В том была немалая заслуга Антония Погорельского, выпустившего в 1828 г. книгу «Двойник», в которой он не только приводит готические сюжеты от лица своего писателя, но и даёт им реалистическую трактовку от лица Двойника писателя. Каждая трактовка ставит под вопрос реальность описываемых мистических событий, и приводится ряд доказательств по их развенчанию. Один из рассказов, публиковавшийся ещё до выхода в свет этой книги, восхитил Пушкина, и с открытием «Литературной газеты» Погорельский становится её почётным автором. Так что Пушкин вряд ли принял бы за жанр, к которому изначально относился скептически и выступал в прессе с ироническими замечаниями по этому поводу.

Имя Погорельского упоминается Пушкиным в «Гробовщике». И не случайно. Пушкин как бы намекает на то, что «Гробовщик» должен быть проанализирован с позиций метода Погорельского, базирующегося на усиленном внимании к психологии героя, а не на вмешательстве запредельных сил. Четыре года спустя выходит «Пиковая дама», внешне походящая на готическую повесть.

Первый вопрос, возникающий в этой связи: как мог Томский в кругу картёжников поведать то, что потенциально ставило под угрозу его бабушку? Неужели он и впрямь не понимал природу страстей, владеющих игроками? Верится с трудом. Возможно, Томский хотел пошутить. Но это всё равно что пошутить в кругу искателей кладов о том, что в сейфе у кого-то из родных хранится карта острова сокровищ. В противном случае у Томского была скрытая цель, и рассказ должен был раззадорить игроков. Попытаемся в этом разобраться.

Сообщение о женитьбе Томского становится завершающим аккордом в повести. И это настораживает, поскольку происходит смещение фокуса с ведущей пары «Германн и Лиза» на Томского и Полину. Куда естественнее было бы поставить точку на судьбе Лизы и Германна. Пушкин же решает по-другому. Почему? Может быть, история вовсе не о Германне, а о том, как Томский пытался раздобыть денег? Похоже, азартного, но не играющего пока Германна хотели «раскрутить», учитывая, что он является обладателем «маленького капитала», доставшегося ему от отца, притом капитала нетронутого, включая и проценты, которых «Германн не касался». О какой сумме может идти речь? Судя по тому, что Германн сразу поставил на карту у Чекалинского, она составляет не менее 47 тысяч рублей. Он удваивает эту сумму во второй день.

Недавно, читая историю династии купцов Прохоровых, я наткнулась на рассказ о том, что «когда сыновья выросли, то с общего согласия 20 апреля 1824 года Екатерина Прохорова произвела “полюбовный” раздел и выделила им неравные доли из семейного капитала – от 47 тысяч до 91 тысячи рублей». Стало быть, 47 тысяч, которыми обладал Германн, были немалой суммой.

Пушкин был в гуще не только литературного, но и картёжного мира, которые пересекались в часы досуга. Он знал эту кухню изнутри со всеми её нюансами, и они не могли не отразиться в повести.

В статье Евгения Выпенкова, опубликованной в «Фонтанке» – Петербургской интернет-газете – приводится интервью с крупнейшим ленинградским шулером по кличке Бегемот, который утверждает, что Германн в «Пиковой даме» «погорел на скрупулёзно отработанном шулерском приёме, именовавшемся в Ленинграде “качалка”» [Выпенков]. Бегемот свидетельствует:

Постановка Пушкина нами исполнялась. Научился ей в Харькове в конце 50-х, когда там гастролировал столичный шулер эпического дарования Боря Альперович. Так что парни нашей масти «Пиковую даму» никогда до дыр не зачитывали. Дело в повести начинается в покаях Нарумова. То есть на дворянском катране. Туда постоянно заглядывает немец Германн. Он никогда не играет, но «смотрит до пяти часов», а не ведётся. В то же время признаётся, что игра занимает его сильно. Таких называли дармовыми, то есть наивными. А так как Германн жил на жалованье военного инженера, то и «безвоздушными», то есть безденежными. Германн щеголял бережливостью. Так что игровые вначале подсуетились и прознали, что за душой у него имеется в наследство имение (здесь неточность. – В.З.). С этого момента и начинается классическое исполнение старинной разводки, где кульминацией является технический трюк – «качалка». Томский, как бы случайно, начинает рассказ о своей бабушке. Сперва Германн сомневается. Тогда хозяин заведения Нарумов, который не может быть не в курсе всех лукавых делишек на своей территории, а именно с них он фактически и живёт, подталкивает в беседе Томского, и тот всё же добывает, что бабуля секрет редко, но раскрывает [Выпенков].

Итак, расклад видится следующим. Инициатором разговора является Нарумов. Повесть начинается с его подначивания Сурина, проигравшегося «по обыкновению»:

- Что ты сделал, Сурин? – спросил хозяин.
- Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандодем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьёшь, а всё проигрываюсь!
- И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на руте?.. Твёрдость твоя для меня удивительна.

Тут же к нему подключается один из гостей, переводя как бы невзначай разговор на Германна: «А каков Германн! – сказал один из гостей, указывая на молодого инженера». И с этого момента всё внимание переходит на инженера. Всё это в соответствии со схемой «разводки», в которой участвуют, как правило, несколько человек.

Рассказ о трёх картах сыграл роковую роль в жизни Германна, закончившего в «17-м номере» Обуховской больницы. Появление призрака – ключевой момент в повести, позволяющий трактовать «Пиковую даму» как разновидность готического жанра. Правда, насчёт призрака нельзя быть в полной уверенности. «Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов», – пишет Достоевский в письме к Ю. Абаза 15 июня 1880 года [Достоевский 1988: 192]. То, что Германн в этот день напился «против обыкновения своего» и «крепко уснул», «не раздеваясь», даёт основания литературоведам говорить о том, что «всё это только показалось Германну» [Виноградов 1941: 597]. Однако из текста это не явствует. Во-первых, Пушкин уточняет, что Германн уснул «крепким сном», то есть сном, который дал ему возможность проспаться. Крепкий сон – это «наступающее через определённые промежутки времени физиологическое состояние покоя и отдыха, при котором почти полностью прекращается работа сознания, снижается реакция на внешние раздражения» [Энциклопедический словарь, 2009]. Пушкин всячески подчёркивает, что в момент пробуждения Германн не был пьян и действовал как протрезвевший человек. Он смотрит на часы, чтобы понять, который час. Он чётко видит циферблат и отмечает, что уже «без четверти три». К этому времени «сон у него прошёл», и он садится на кровать, думая о похоронах старой графини. Более того, он боковым зрением замечает, что делается за окном. В конце он записывает своё видение, что свидетельствует о состоянии, позволяющем связно излагать мысли на бумаге. Ни в одной сцене Пушкин не давал такой определённости в описании состояния своего героя, настойчиво показывая, что тот не грезит.

Германн подмечает все детали, которые не путаются и не размываются, как это происходит в уме человека неспросавшегося. Он увидел, как «кто-то с улицы взглянул к нему в окошко, – и тотчас отошёл», а «через минуту услышал что отпирали дверь в передней комнате». Здесь хочется обратить внимание на глагол «отпирать», употреблённый во множественном числе, словно отпирающих было несколько. Множественное число настраивает именно на посетителей, а не на посетителя. Впечатление, что «визитёров» было несколько. Во-первых, в комнату вошла старуха, а посмотревший при прощании в окно старухой не был. В противном случае Пушкин написал бы во второй раз, что, уходя, «старуха посмотрела в окно». Ведь после посещения графини Германн уж точно бы узнал её в окне. Во-вторых, пока отпирали дверь, Германн «думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки». Это означает, что (1) дверь отперли не сразу, с ней немного повозились в темноте, как может возиться незнакомец или не совсем трезвый человек, и (2) старуха (и тем более призрак) не могла по-мужски возиться с замком. Женская рука озвучила бы это по-другому (а призрачная – и вовсе иначе). Может быть, помощником был тот, кто заглядывал в окно, а может, к ним присоединился кто-то ещё... Но в любом случае было не меньше двух.

Шаркающая походка заставила изменить предположение Германна о денщике, но, увидев женскую фигуру, он принял её за свою кормилицу. Ему и в голову не пришло, что перед ним призрак. И не мудрено! Он ведь рассудочный человек, а появление незнакомца сопровождалось физическими, а не мистическими признаками. Кроме того, веря, «что мёртвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь», он явился на похороны и «испросил» у неё прощения, лёжа несколько минут на холодном полу. Это должно было быть для него, верящего в правило, залогом того, что графиня оставит его в покое. Интересно, что заговорил призрак с Германном не призрачным, а каким-то странным «твёрдым голосом». Да не мужским ли?

Всё это напоминает инсценировку или, в терминах Бегемота, «классическое исполнение старинной разводки, где кульминацией является технический трюк – “качалка”» [Вышенков]. Карты, названные призраком, имеют мало общего с мистикой. Тройка, семёрка и туз – это очко в блэкджеке, то есть выигрышная комбинация. Звучит как шутка для того, кто это понял. Заключительные сцены у Чекалинского ведут к осуществлению этого шулерского трюка. Нужно сказать, что шулерство в последних сценах отмечается литературоведами. Виноградов утверждает: «Самый выбор пиковой дамы как стержня карточной игры и связанной с ней драмы должен ещё более отстранить подозрение о порошковых картах». [Виноградов 1980: 186]. Но ведь есть же ещё множество других приёмов в шулерском мире!

У Чекалинского разворачивается представление с тремя картами. Судя по всему, этот «славный» мальчи, не разорившийся, как многие, а напротив, наживший состояние на игре, довольно ловок (его фамилия созвучна глаголу «чеканить» и иронически ассоциируется с монетами). Не перестаёшь удивляться, насколько фортуна должна была быть благосклонна к нему, чтобы позволить выиграть (а не проиграть!) такое количество векселей. Иными словами, дом для начинающего Германна вполне подходящий. Всё остальное – дело техники. Куда сложнее было разыграть комбинацию с призраком. Тут и заgrimироваться нужно, хоть всё происходило при свете луны, а не лампы, и одежду подобрать, и походку то шаркающую, то скользящую отретпетировать. Но одежды в гардеробе у графини было предостаточно и грима тоже. Вспомним хотя бы сцену переодевания, когда от графини буквально отклеивали всё то, на чём держался её светский образ: «Откололи с неё чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с её седой и плотно остриженной головы. Булавки дождём сыпались около неё». Добавим к этому наlepные мушки, о которых упоминал в рассказе Томский, румяна «по старинной моде», и картина «собрания» образа графини становится вполне зримой. Добавим, что приём переодевания вообще свойствен пушкинским сюжетам. Он присутствует и в «Барышне-крестьянке», и в «Дубровском», ну и, конечно же, в «Домике в Коломне».

Возвращаясь к финальной сцене с превращением туза в пиковую даму, интересно будет услышать мнение профессионала – всё того же Бегемота. Как свойственно человеку нелитературному, он неточен в воспроизведении деталей пушкинского текста, но своё дело знает досконально. У Пушкина финальная часть начинается с того, что Германн в сопровождении Нарумова проходит «ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами». Бегемот поясняет это описание так:

Жертва нацелена на бой, считает, что против неё один противник, а на самом деле вокруг театр, начиная с официанта, заканчивая банкометом. Каждый знает, что и в какой момент исполнить. Каждый вовремя ловит нужный «маяк» – сигнал от товарища. Но самое важное в повести именно то, что Герман сам шельмует. Он же понимает,



что будет играть криво. Карты-то вроде колдовские. Это и есть высший пилотаж, когда шулер выступает в роли тушки-Чекалинского, а Герман в роли мошенника. Первые два раза Герман играет в толпе – вокруг другие игроки. Мы их называем «шпильники» – те, кто тайком играют против новичка. У Пушкина они важны, так как надо было дважды проиграть – таков план. Шпильники тут играли скопом за него. Каждый разывает свою новую колоду. Что будет ставить Герман, все знают. У Чекалинского колода заряжена, ему сделали сменку – быстро сунули заранее заготовленную колоду – в ней все карты сложены в нужном идеальном порядке. Это называется «чос», при котором «тройка», а потом «семёрка» проигрывают. ...Перед самой игрой в шtos дают снять – разрезать колоду. Стопка карт лежит на столе (это только дилетанты с руки снимают), вы снимаете часть листов и кладёте рядом. После чего на вашу часть колоды нужно положить нижнюю. А делается наоборот. То есть, так, как будто вы и не срезали. Этот «вольт» – трюк и называется он – «качалка». Одной рукой, за треть секунды. Проиграть два раза Чекалинскому было важно. Во-первых, жертву затягиваешь по уши, и он поглощён всеми низменными своими возжеланиями, а игра при этом с понтом честная, боевая. Во-вторых, для прочего мира – всё правдиво, никто же не предъявит, что тебе с третьего раза подфартило. А в-третьих, это как реклама удали и риска. Фундамент мифологии. В третьем заезде руки Чекалинского тряслись. Конечно, и у меня бы затряслись. Вроде всё продумано, а на кону убийственный куш. Третий день у Чекалинского «прочие игроки не поставили своих карт», то есть шпильники один на один. Чтобы точно всё было. У автора «это было похоже на поединок». Не похоже это. При таком раскладе, как я комментирую, это чистый отъём. Не колода была у Чекалинского, а петля для Германа. Дальше вы знаете: «Ваша дама бита» [Вышенков].

Вот такой расклад даёт Бегемот, по памяти цитируя классика. Поскольку из нас двоих профессионал он, мне приходится лишь комментировать пушкинский текст. «Что будет ставить Герман, все знают», – говорит Бегемот. Он не говорит, почему все это знают. Так ему диктует его шулерская интуиция, и это имеет смысл, поскольку даже если Герман и не поделился с другом тайной карт, то инсценировка с призракoм уже предполагала знание шулеров того, на какие карты будет ставить бедолага. В последней сцене игры нельзя сказать наверняка, на какую карту поставил Герман в действительности. Известно лишь, что он собирался поставить на туз. Поначалу Герман уверен, что он сделал именно так, но в конце он видит вместо туза даму. Как подобная трансформация могла произойти? Перечитаем эту сцену шаг за шагом: «Каждый распечатал колоду карт». Как подготавливаются колоды в подобных случаях, мы уже осведомлены. «Чекалинский стасовал» – как тасуют шулера, нам тоже известно. «Герман снял» – как «лох» снимает карту, нам пояснили выше – «и поставил свою карту, покрыв её кипой банковых билетов».

Иллюзион начался. И Герман, и читатель полагают, что он поставил на одну карту, а из-под кипы ассигнаций Герман вытаскивает другую. Коли мистика не вмешалась, то что же произошло? Шанс принять картинку с дамой за картинку с тузом, будучи в трезвом уме, близок к нулю. Можно спутать даму с королём или даму с валетом, но спутать даму с тузом практически невозможно – графика этих карт подчеркнута разная. Бегемот, высказывает следующее любопытное предположение: «Дальше вы знаете: «Ваша дама бита». В действительности тогда Чекалинский произнёс: «Ваш туз бит». Но тогда бы Пушкин описал бы картежную историю, каких были с тысячу».

Почему Бегемот убеждён, что «в действительности» Чекалинский должен был произнести: «Ваш туз бит»? Очень просто. Если следовать классической «качалке», то в третий раз «чос» будет направлен на то, чтобы туз проиграл. Однако схема «качалки» частично изменена Пушкиным. С точки зрения гипотезы шулерства речь идёт о дополнительном трюке, позволяющем совершить подмену карты.

Трюк этот старинный, знакомый любому шулеру. Он называется «картохранитель» и состоит в следующем: «Картохранитель – один из шулерских приёмов, представляющий собой приспособление с лишней картой. Суть картохранителя состоит в том, что в определённый момент карта выбрасывается из рукава или втягивается в него при помощи движения коленом» [Деньги...]. Дело несомненно рискованное. Поэтому Чекалинский бледен. Бледность не разыграешь, в отличие от дрожания рук. Но главное – что в случае провала теряешь. Дом Чекалинского известен хорошей репутацией, туда приходят очень богатые клиенты. Любoй скандал повлёт бы за собой конец бизнеса. А скандал бы непременно разразился. Герман – «лох», он взбунтуется, если гарантированная карта не сыграет. Ведь он убеждён, что играет наверняка – он уже дважды это проверил! Единственный вывод, который Герман может сделать в случае проигрыша туза, это то, что его обжульничали. Не забудем и про темперамент Германа, вторгшегося в покои графини и угрожавшего ей пистолетом. Для хозяина игорного заведения это был бы конец. Сразу же потребовали бы проверки, раскрыли «чос», обнаружили бы много чего занятного, и на этом карьере Чекалинского бы закончилась. Выходом в данном конкретном случае было заставить «лоха» поверить в то, что он сам виноват в проигрыше.

Напоследок вернёмся к классику, его собственному опыту общения с картёжниками – шулерами высокого класса и отнюдь не низкого происхождения. Приведу полностью цитату из книги Р. Скрынникова, основанную на документальных фактах биографии Пушкина: «После 1829-1830 гг. Пушкин чрезвычайно сблизился с П.В. Нащокиным, одним из самых известных московских карточных игроков. В полицейском списке картёжников за 1829 г. на первом месте фигурировал граф Ф. Толстой-Американец, на 22 месте – Нащокин, “игрок и буйан”. Описывая быт Нащокина, Александр Сергеевич писал в 1831 г.: “С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно займодавцы”; “...как можно жить, окруженным такою сволочью?”. [...] Играя с подобной публикой, Пушкин постоянно оставался в проигрыше. За карточным столом плутовали не только профессиональные игроки, но и люди из высшего общества. Нащокин описал эпизод, имевший место в 1835 г. Поэт явился к троюродному дяде, князю Н.Н. Оболенскому с просьбой занять денег. Князь денег не дал, но предложил играть пополам. Пушкин принял вызов, рискуя наделать новые долги. Оболенский выиграл много денег. Когда проигравший ушёл, Оболенский стал отсчитывать половину денег племяннику, сказавши: “Каково! Ты не заметил, ведь я играл наверное!” Поэт пришёл в ярость и, бросив деньги, в которых крайне нуждался, пулею вылетел из квартиры» [Скрынников: 8].

Тому же Нащокину (не по аналогии ли с этой фамилией сделана фамилия «Нарумов»? Не только приставка «на», но и ассоциация со щеками – «румянец», «нарумяненный» налицо) Пушкин якобы сам читал свою «Пиковую даму», о чём Нащокин рассказывал П. Бартеневу, пытаясь убедить его в том, что «главная завязка повести не вымышлена» и что внук графини Голицыной «рассказывал Пушкину, что раз он проигрался и пришёл к бабке просить денег. Денег она ему не дала, а сказала три карты, назначенные ей в Париже Сен-Жерменом. “Попробуй”, – сказала бабушка. Внучёк поставил карты и отыгрался» [Рассказы... 46].

Но эту легенду мы уже слышали от Томского... Интересно, сколько после этого рассказа игроков побывало в «17-м номере» Обуховской больницы?

* Печатается в сокращении. Полный вариант – «Пиковая дама»: вист против фараона. // Вопросы литературы, № 3, 2017.

Литература:

Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М.: Гослитиздат, 1941.

Виноградов В.В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980.

Вышенков Евгений. «Пушкин играл в любую игру» // Фонтанка. Петербургская интернет-газета. 2012. 6 июня. URL: <http://www.fontanka.ru/2012/06/04/149/>

Деньги ваши будут наши // Коммерсант.ru. «Настоящая игра». Приложение № 2. 2007. 27 июня. URL: <http://kommersant.ru/doc/778149>.

Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 30. Кн. 1. Л.: Наука, 1988.

Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 6. Л.: Наука, 1978.

Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851–1860 годах / Вступ. ст. и примеч. М. Цявловского. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1925.

Скрынников Р.Г. Пушкин. Тайна гибели. СПб.: ИД «Нева», 2006.

Сон // Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998. URL: <http://www.gramota.ru/slovari/dic/?game=x&all=x&word=>

ОЛЬГА КУЦЕНКО

БЕСЦЕННЫЙ ДАР МУЗЕЮ А.С. ПУШКИНА

Недавно коллекция Одесского пушкинского музея пополнились бесценным экспонатом. Известный одесский краевед Сергей Калмыков подарил музею журнал «Новости литературы» за 1823 г. (кн. 6, №48), который издавался в Петербурге в 1822-1826 гг. как еженедельное литературное приложение к газете «Русский инвалид». Журнал – книга в кожаном переплёте размером: 205-130-30 мм. Сохранилось 314 страниц.

Издателями журнала были Василий Иванович Козлов (1793-1825) и Александр Федорович Воейков (1778-1839). С 1825 года издателем и редактором стал один Воейков – поэт, критик, журналист, перевод-

чик. В своих печатных органах он неизменно выступал сторонником Пушкина. В 1820 году выступил с разбором поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Пушкин с Воейковым общался в литературных кругах после окончания лицея в Петербурге в 1817-1820 гг. Во время ссылки в письмах брату Льву из Одессы (январь-февраль 1824) Пушкин пишет: «Благодарю вас, друзья мои, за ваше милостивое попечение о моей славе! ... Благодарю Воейкова, моего высокого покровителя и знаменитого друга!». Воейков не прерывает литературных отношений и по возвращении поэта из ссылки. В Петербурге Пушкин посещает литературные «пятницы» Воейкова. Поэт был знаком с женой Воейкова – Александрой, урождённой Протасовой (1795-1829 г.), племянницей В. Жуковского. После смерти Пушкина Воейков назвал поэта «великаном русской поэзии». В 1822 г. Воейков взял в аренду военную газету «Русский инвалид». К газете, не имевшей литературного отдела, Воейков стал давать литературные приложения, сначала под названием «Новости литературы» (1822-1826), затем журнал «Славянин» (1827-1830) и далее – «Литературные прибавления к Русскому Инвалиду» (1831-1839). Журналы Воейкова не имели определённого направления. В журнале печатались произведения многих русских писателей: К. Батюшкова, Е. Баратынского, В. Вяземского, А. Дельвига, В. Жуковского, К. Рыльева, В. Туманского, Н. Языкова и др. Много печаталось переводов. Из произведений Пушкина в «Новостях литературы» было напечатано девять стихотворений. В этом номере журнала (стр. 279) было впервые напечатано одно стихотворение А. Пушкина – «Я пережил свои желанья» (1821) под названием «Элегия» и с полной подписью поэта: «А. Пушкинъ»:

*Я пережилъ свои желанья,
Я разлюбилъ свои мечты,
Остались мне одни страданья –
Плоды сердечной пустоты.
Безмолвно жребію послушный –
Влачу страдальческій венецъ,
Живу печальный, равнодушный,
И жду: придетъ ли мой конецъ.
Такъ позднимъ хладомъ пораженной,
Какъ ветровъ слышенъ зимній свистъ,
Одинъ – на ветке обнаженной –
Трепещетъ запоздалый листъ.*

В поэзии Пушкина представлены все лирические жанры, в системе которых элегия занимает прочное место. Элегия – стихотворение грустного содержания. Это определение верно отражает общую эмоциональную окраску этого жанра. У Пушкина всего лишь шесть стихотворений названы «элегиями», пять из которых относятся к ранней лирике поэта. «Счастлив, кто в страсти сам себе» (1816), «Я видел смерть, она в молчаньи села» (1816), «Я думал, что любовь погасла навсегда» (1816), «Опять я ващ, о юные друзья!» (1817), «Воспомянемъ упоенный» (1819), «Безумных лет угасшее веселье» (1830). Между тем многие его стихотворения без названия по своей жанровой природе принадлежат к элегической поэзии. К 1821 году относится цикл элегий, в которых нашли отражение его переживания, раздумья о пройденном пути, о личной судьбе. К этому году относится одна из самых «унылых» элегий – «Я пережил свои желанья». В элегии звучит мотив горестного одиночества и печали. Усиливает впечатление подавленности и опустошённости поэтический и выразительный метафорический образ – поражённый поздним холодом, запоздалый и одинокий лист, сиротливо трепещущий на обнажённой ветке. Критик В. Белинский писал об элегии «Из пушкинских пьес – лучшая, в которой преобладает элегическая грусть. Она невольно останавливает внимание читателя своим последним куплетом». Метафорическое сравнение разрастается в своего рода параллель, дающую зримое изображение одиночества. Пушкин, с его жизнелюбием, жизнеутверждающим пафосом мирозерцания в 22 года написал элегию, в которой с такой силой звучит разочарование, безнадежность. Нужно представить, в какой степени омрачена душа поэта, если он потерял веру в свою мечту, которая всегда являлась опорой в жизни, надёжным щитом пред «бурями судьбы жестокой».

Элегии Пушкина – порождение любви поэта. В письме к А.А. Бестужеву (29 июня 1824 г.) Пушкин писал из Одессы: «Мне случалось когда-то быть влюблену без памяти. Я обыкновенно в таком случае пишу элегии...». Элегия известна в нескольких автографах. Первоначальный набросок найден на полях белой рукописи поэмы «Кавказский пленник». Романтическая поэма «Кавказский пленник», начатая в 1820 г. в Гурзуфе, закончена 20 февраля 1821 г. в Каменке во время южной ссылки поэта.

В Каменку – имение Давыдовых – Раевских в бывшей Киевской губернии Пушкин приезжал несколько раз в 1821-22 гг. Пушкин очень много работал над поэмой. Первоначальное название её в рукописи было «Кавказ». Закончив поэму в черновике, он переписывал её набело, всякий раз то уничтожая уже написанные строки и слова, то вставляя новые. Сохранились пять редакций поэмы. Третий беловой черновик поэмы послужил оригиналом для первого издания поэмы в 1822 г. Много трудился Пушкин и над образом пленника. Ему хотелось воплотить в этом лирическом образе и страстную любовь к свободе, и свои собственные страдания от неразделённой любви. Против стихов первого монолога пленника («Без упоенья, без желанья – Я вяну жертвою страстей») Пушкин вставил восемь стихов элегии. Все стихи вставки, кроме первого и третьего, обозначены только начальными буквами первых слов. Первый стих вставки – Я пережил МОИ желанья. Вероятно, поэт предполагал ввести элегию в речь пленника, но этого не делает. По смыслу и по настроению она вполне примыкает к грустной речи пленника, в которой Пушкин выразил свои личные переживания. В окончательную редакцию поэмы стихи не вошли. Мотивы духовного одиночества, уныния, которыми проникнута элегия, уже прозвучали в поэме.

Полный текст Пушкин записал в «Третью кишинёвскую тетрадь» (1821-1830) под названием «Элегия» (из поэмы «Кавказ») и с датой «Каменка. 22 февраля 1821». Переписана она была в процессе работы над поэмой. Отделив набросок элегии от поэмы, поэт развил её в отдельное лирическое стихотворение, проникнутое чувством тоски и апатии. Источник этих страданий – сердечная пустота, душевная усталость, так резко расходящаяся с общим бодрым и радостным взглядом поэта на жизнь. Тетрадь была заведена Пушкиным 9 февраля 1821 г. специально для записи в ней готовых беловых текстов и представляет собою сборник, своеобразную антологию его отдельных небольших стихотворений. В эту тетрадь поэт переписал пять стихотворений, посвящённых Екатерине Раевской. Пушкинист Л. Аринштейн утверждает, что 22 февраля поэт добавляет это шестое – очень грустное стихотворение, когда узнаёт о предстоящей свадьбе Екатерины и генерала М.Ф. Орлова. Новость поразила Пушкина. А. Тургенев сообщал П. Вяземскому 23 февраля 1821 г., что М. Орлов женится «на дочери генерала Раевского, по которой вздыхал Пушкин». Раевская Екатерина Николаевна – старшая дочь генерала Н. Раевского, в обществе которой Пушкин провёл три недели в Гурзуфе, летом 1820 г. Поэт писал брату Льву: «Счастливейшие минуты жизни моей провёл я посреди семейства почтенного Раевского. Все его дочери – прелесть, старшая женщина необыкновенная. Годы пребывания Пушкина в южной ссылке (1820-1824) составили один из важнейших, переломных этапов творческой жизни поэта. Поиски поэта шли в направлении дальнейшего усовершенствования и обогащения элегического жанра. Впечатления поэта периода южной ссылки долго питали мечтательное воображение Пушкина, и не раз он будет возвращаться к ним. Элегия вошла в окончательной редакции с некоторыми изменениями в первое «Собрание стихотворений Александра Пушкина» в 1826 г.

*Я пережилъ свои желанья,
Я разлюбилъ свои мечты,
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.*
Подъ бурями судьбы жестокой
Увял цветущій мой венецъ
*Живу печальный, одинокий,
И жду: придетъ ли мой конецъ*
Такъ позднимъ хладомъ пораженной,
Какъ бури слышенъ зимній свистъ,
Одинъ на ветке обнаженной
Трепещетъ запоздалый листъ.

Пушкинист Б.Томашевский в ранней лирике Пушкина внутри жанра элегии выделил следующие её разновидности: сюжетную, историческую, социальную, пейзажную, любовную, элегию – исповедь и др. Элегию «Я пережил свои желанья» назвал элегией – раздумьем. В ней созерцательная мечтательность, элегическая грусть незаметно переходит в раздумье о жизни. В элегиях Пушкина личные, интимные переживания тесно переплетены с темами глубокого социально-философского звучания.

**Литература:**

Журнал «Новости литературы»: Литературное приложение к газете «Русский инвалид». – СПб, 1823. – Кн. VI, №48. – С. 314.

Аринштейн А. Пушкин. Непричесанная биография. – М: 2011. – С. 254.

Григорьян К.Н. Пушкинская элегия. – Л-д: Наука, 1990. – С. 256.

Смирнов-Сокольский Н. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. – М: Книжная палата, 1962. – С. 630.

Томашевский Б. Пушкин. – М, 1990. – Т1. – С. 367.

Селиванова С. Над пушкинскими рукописями. - М: Наука, 1980. – С. 127.

Черейский А. Пушкин и его окружение. – Л-д: Наука, 1978. – С. 518.

*Старший научный сотрудник музея А.С. Пушкина
Куценко Ольга Константиновна*

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

ПРАВООЗАЩИТНИК ЯЗЫКА

(Александр Кабанов. На языке врага. Стихи о войне и мире. Серия «Сафари». – Харьков, Фолио, 2017)

Стихи Кабанова – это абсолютная степень свободы, граничащая с гражданским мужеством. Наверное, такими и должны быть настоящие стихи. Александр Кабанов – выдающийся мастер слова, один из самых успешных и узнаваемых стихотворцев XXI века. «На языке врага» – в сущности, книга избранных стихотворений. Но её «паровозом» служат стихи, написанные поэтом за последние три года. Новую книгу киевского поэта я начал читать под аккомпанемент музыки Баха. Зазвучали мощные аккорды немецкого гения, и я открыл «изборник» Кабанова. Думал, Бах чтению стихов точно не помешает. Но Баха вскоре пришлось выключить: он был слишком торжествен и активно диссонировал с жёстким и напряжённым содержанием книги.

*Кто-то спутал берега,
как прогнившие мотузки:
изучай язык врага –
научить молчать по-русски.*

Этот проект Кабанова отличается от предыдущих его книг не только большим объёмом, но и наличием полой правды о войне на Украине. Было понятно, что свою книгу о войне Кабанов обязательно напишет. «На языке врага» – острая подача материала. Наверное, можно было назвать книгу менее рискованно и вызывающе, но Александр – не из тех, кто сознательно «понижает градус». Думаю, риск, эпатаж для поэта – одна из составляющих его таланта. Александр Кабанов, как известно, в локальных конфликтах не участвовал. Вместе с тем, есть в его биографии примечательный факт: служба в Группе советских войск в Германии. Служба в армии очень помогает писать на военную тему. У кого больше болит – тот лучше и пишет. Конечно, талант никто не отменял. И в этом плане сейчас, наверное, русскому поэту лучше жить в Киеве, чем в Москве: там – ближе к боли. Война на Донбассе не вызывает у автора желания её воспевать. Любая война – «дурная». Хотя по поводу многих конфликтов первоначально возникают некоторые патриотические иллюзии. Здесь же иллюзий не было и в помине. Как и в чеченских войнах, в Донбассе проявилось нежелание правящих кругов государства «опуститься» до разговора с «бандитами и сепаратистами». Что касается собственно поэзии, то стихи о войне давно уже пишутся в стиле инсказанья, так сказать, непрямою речью. В этом есть сразу два резона. Возможность сказать всё, не говоря ничего. Ну и потом, если ты лично в этом не участвовал, как ты будешь писать об этом от первого лица?

При упоминании названия книги Александра Кабанова мне не раз доводилось слышать: «Вот зачем он так сказал?». Но, давно зная Александра, я прекрасно понимаю, зачем. Это же протест! Внутренний протест против того, чтобы считать родной язык «вражеским». Кабанов и не скрывает своих истинных воззрений по этому поводу:

*Почему нельзя признаться в конце концов:
это мы – внесли на своих плечах воров, подлецов,
это мы – романтики, дети живых отцов,
превратились в секту свидетелей мертвецов.*



*Кто пойдет против нас – пусть уроет его земля,
у Вены Милосской отсохла рука Кремля,
от чего нас так тинает, что же нас так трясёт:
потому, что вложили всё и просали всё.*

*И не важно теперь, что мы обещали вам –
правда липнет к деньгам, а истина лишь к словам,
эти руки – чисты и вот эти глаза – светлы,
это бог переплавил наши часы в котлы.*

*Кто пойдет против нас – пожалеет сейчас, потом –
так ли важно, кто встухнет в донецкой степи крестом,
так ли важно, кто верит в благую мечь:
меч наш насущный, дай нам днесь.*

*Я вас прощаю, слепые глупцы, творцы
новой истории, ряженные скопцы,
тех, кто травил и сегодня травить привык –
мой украинский русский родной язык.*

Есть у меня такое ощущение от книги «На языке врага»: то же самое, о чём говорил в одной из своих песен Тальков: «Я мечтаю вернуться с войны, на которой родился и рос». Коммунизм и неофашизм, одинаковы ваши приметы. И в этом смысле известные стихи Кабанова про голодомор, конечно же, тоже «военные». Поэт здорово «микширует» высокое с низким, его ирония касается злободневных тем, и это привлекает к стихам повышенное внимание. Стиль Александра остроумен и метафоричен. Его метафоры прозрачны и понятны. В этом и состоит лексически-смысловое преимущество Кабанова: он одновременно и прост, и интегрально-насыщен.

Ни один нормальный человек не требует от украинского поэта, пишущего на русском, быть патриотом России. Поскольку понимает, как сложно в нынешнее время быть патриотом двух разных стран. Даже людям с двойным гражданством. Каждая война начинается с мифологизации противника. Кабанов «нейтрализует» в себе войну мифологизацией обеих враждующих сторон. Война у него – метаисторична; это позволяет ему «подключать» к своим новым мифам даже героев Гомера, представляя их нашими современниками. Кроме того, за военный период Александр Кабанов написал несколько стихотворений на украинском языке. Так сказать, билингва и творчество против разъединяющей народы политики. И я поддерживаю такой подход. Поэт может говорить на любом языке. Удивительно, но даже по-украински Кабанов узнаваем и звучит именно как Кабанов. То есть, практически, Александр вполне мог бы полностью перейти на украинский язык, как того требует нынешняя политическая ситуация в стране. Но навязывание одного языка в ущерб другому претит внутреннему миру Кабанова. Очень сильно звучит у Кабанова тоска по Родине, которую мы потеряли. По стране с высокой степенью социальной справедливости – СССР. Малые родины после распада Союза стали большими, но почему же так сильна у нас ностальгия по дружбе народов?

*...Мы опять в осаде и опале,
на краю одной шестой земли,
там, где мы самих себя спасали,
вешали, расстреливали, жгли.*

*И с похмелья каялись устало,
уходили в землю про запас,
Родина о нас совсем не знала,
потому и не любила нас.*

*Потому что хамское, блатное –
оказалось ближе и родней,
потому что мы совсем другое
называли Родиной своей.*

Гиперчувствительная натура поэта предчувствует беду задолго до того, как она начнётся в реальности. Читая книгу «На языке врага», понимаешь, что война в поэзии Кабанова начинает звучать намного раньше реальных событий. Неизъяснимая тревога проступает даже сквозь строки Кабанова 90-го года, когда ещё существовал СССР. Поэт «чует гблкую шаткость опор». На «гибридную» войну новейшего времени у Кабанова приписана гибридная стилистика, с активным использованием центонов и мировой мифологии. В сборнике «На языке врага» много стихов, являющихся одними из лучших у данного автора. Мастерство составителя – умение преподнести лучшие свои стихи каждый раз с новой концепцией. «Отплывающим», «Курение джа», «Мосты», «Говорят, что смерть боится щекотки...». Конечно, все стихи из новой книги по-своему интересны. Крушение общественных идеалов и веры в справедливое обустройство жизни приводит Александра Кабанова к «тотальному» повествованию, когда невозможно развязать букет эмоций: плачет ли автор, негодует ли, или может быть, подтрунивает. Мне представляется, что всё это в стихах есть, и переживается букетом эмоций одновременно, одномоментно. Как доминантсептаккорда. Стиль Александра тяготеет к мифу, сторреализму, фэнтези. Однако, в сравнении с предыдущими книгами Кабанова, в «Языке врага» поэт чаще прибегает к прямой речи. Боль больше не желает рядиться в одежды метафор. К текстам книги есть преамбула, не вызывающая сомнений в намерениях автора: «Язык не виноват. Всегда виноваты люди». В обычной жизни Александр – простой, доступный человек, который любит поговорить обо всём на свете, о чём обычно говорят между собой мужчины. Публично выступать на сцене со стихами он не любит. И, складывается впечатление, много времени своим стихам не уделяет. Зато у него есть несомненный дар, ниспосланный свыше.

Одной из самых привлекательных черт поэтики Кабанова является афористичность. Здесь он не уступит, пожалуй, даже Евгению Евтушенко, который очень много работал над афористичностью своей поэзии. Например, читаем у Кабанова: «Феникс – многоцветная птица», «Наш президент распят на шоколадном кресте», «Говорит и показывает Христос». Безусловным достоинством его стихов является то, что лучшие из них легко запоминаются наизусть. Наверное, десятые годы XXI века – не лучшее время для поэзии. Человечество засыпало разного рода дрянью – интернетной, политической и прочей. Но меня не покидает ощущение, что поэт Александр Кабанов разговаривает на равных со своим веком. Ведь «времена не выбирают!» Его стихи дружны с реальной жизнью, однако, как это всегда бывает в искусстве, по-своему её интерпретируют и видоизменяют.

*Чертополох обнимет ангелополоху,
Вонзят в неё колючки и шипы,
Вот так и я – люблю свою эпоху,
И ты, моя эпоха, не шипи.*

Кабанов – из плеяды «хулиганов». Помните, у Гафта: «Горит на небе новая звезда. Её зажгли, конечно, хулиганы». Творчество Александра Кабанова знают и любят известные люди из мира искусства: Юрий Шевчук, Станислав Садальский, Андрей Макаревич, Захар Прилепин. Люди разных взглядов и убеждений, список далеко не полный. Скажи мне, кто тебя читает, и я скажу тебе, кто ты. Ясно одно: стихи Кабанова настолько прочно вошли в обиход творческой интеллигенции русского безрубья, что стали непосредственными участниками нашей жизни.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ БОРИСА БЕРЛИНА

(Борис Берлин, Цимес. Рассказы. Серия «Самое время». – М., Время, 2018)

Книга Бориса Берлина «Цимес» состоит из 15-ти объёмных рассказов, достаточно длинных, с ветвящимися сюжетами. Можно даже назвать их маленькими повестями – по масштабу повествования, по яркости и многообразию характеров. Действие нескольких рассказов протекает в Италии. Во многих рассказах Бориса Берлина фигурируют животные. У меня есть ощущение, что это не случайно. Автор, видимо, накопил немалый личный опыт в общении с собаками и кошками. В рассказе «Повелитель ос» появляется почти необъяснимая мистика – собака, Бинго... жертвует собой, чтобы люди были счастливы. Порой любовь животного к человеку даже сильнее любви человека к человеку. В рассказе «Повелитель ос» собака полюбила сразу двоих, мужчину и женщину. Она ощущала их как единое существо. Одного хозяина. В этой удивительной повести любовь поэта и его Бусинки живёт не только в них самих. Она



экранирует и в стихах, которые пишутся во время разлуки, и в сердце Бинго. Борис Берлин словно бы подводит нас, читателей, к удивительному открытию: счастливое в нас – не идеально. Идеальны стихи. Идеальна любовь собаки. По отношению к своему человеку собака – ангел. А в рассказе «Соло для канарейки» канарейка невольно «решает» судьбу людей. Улетит – и не видать им счастья. Останется – и всё возможно. Это какой-то мистический мир – симбиоз людей и животных.

Для Бориса Берлина очень важен внутренний мир его героев. Он доводит до нас их мысли и чаянья, каждого по отдельности. Раскрывается даже внутренний мир животных и птиц. В этом есть своё ноу-хау – автор артистично и аристократично регулирует эти внутренние монологи. Сюжет не должен потерять свою динамику. У героев ББ – многоступенчатые, «многоэтажные» судьбы. С изломами, отнесенностью счастья. Не обязательно кто-то предаёт, «изгоняя» спутника из любви. Любовные бермудские треугольники, на мой взгляд, не очень интересуют Бориса Берлина. Внезапная смерть, неизлечимая болезнь, тяжёлое ранение – вот что рушит мир героев ББ. А ещё в рассказах ББ часто случается «любовь после любви». И, как правило, первое чувство побеждает последующие. Новые чувства – часто «вынужденные», спровоцированные предыдущими потерями. «Вот и встретились два одиночества», – как пел в популярной песне Вахтанг Кикабидзе. А костру разгораться и хочется, да уже не всегда может.

Порой в рассказах Берлина появляется зеркальность, отражение одного героя в другом. *Там твоим аси* – «ты – это я». Каждый – кузнечик своего маленького счастья. Или – несчастья. Как читатель, я проживаю с героями ББ маленькую жизнь. Его герои не только чувственны, но и деликатны. Большое достоинство писателя – деликатность его героев там, где она, казалось бы, невозможна – в любви, где у каждого героя – свои интересы. Как стройны и в то же время запутанны сюжетные линии рассказов Бориса! Самая прочная на свете привязанность очень уязвима. Достаточно одного неосторожного слова, чтобы счастье взаимной любви внезапно и необратимо оборвалось. У ББ потеря счастья тождественна смерти, даже если герой/героиня не умирает на самом деле. Всё происходит рядом, боль приносят самые близкие люди.

Борис Берлин побуждает героев и читателей «проходить через ноль – это фраза из повести «Кузнечик в кулаке». Осознавать заново жизненные ценности. На мой взгляд, «Кузнечик» – это послание всем нам, жителям планеты Земля. Борис Берлин повествует о глубочайшем. Об отказе от любви именем любви. Поступок Наташи из этого рассказа достоин отдельного упоминания. Молодая девушка, фактически отбив мужчину у соперницы, которая годится ей в матери... добровольно отказывается от любимого... ради платонической любви к своей сопернице-подруге. Это неслыханно. Это неожиданно. Рита смотрит в Наташу, как в своё зеркало. «Вгляжусь в тебя, как в зеркало, до головокруженья». «Может я это, только моложе. Не всегда мы себя узнаем». И что-то она сумела передать девушке настолько ценное, что та изменилась. Конечно, не сразу. Но постепенно она перестаёт быть безапелляционной перфекционисткой.

Личность растёт духовными усилиями. Женщине в этом плане, может быть, даже сложнее, чем мужчине. Особенно если речь идёт об отказе от любимого человека. Здесь, на мой взгляд, у писателя непроизвольно возникает толстовское начало – непротивление счастью других людей «насилием». Уступить, чтобы обрести себя. Это не просто деликатность. Это гиперделикатность. Это тонкость чувств – в квадрате. Это способность озиаться вокруг себя на 360 градусов. Берёшь любой рассказ Берлина – а там целая вселенная. Его трагедии оптимистичны. На пепле утраты рождается феникс – настоящая, ни с чем не сравнимая любовь. И, когда поступок такого духовного уровня не получает в жизни награды... нам непонятно, почему героиня, оказавшаяся способной на маленький подвиг, погибает. Такие люди должны жить и жить! Но у ББ во многих рассказах прослеживается одна простая, но чёткая мысль. Чтобы счастье влюблённых состоялось, кто-то должен пожертвовать своими интересами, а то и самой жизнью. Как ни парадоксально это прозвучит, алтарь победы требует порой крови невинных жертв. Иногда у Берлина жертвуют собой ради любимых хозяев домашние животные и даже птицы. Большой писатель всегда стремится к жизненной правде. Он не связан по рукам и ногам необходимостью потрафить читателю хэппи-эндом. Он понимает подспудно, что именно гибель героя способна вызвать катарсис. Особенно если его гибель – несправедлива. Судьба человека не детерминирована его плохим или хорошим поведением. Этику сложно пришить к судьбе белыми нитками.

При чтении любой книги важен резонанс между книгой и читателем. Можно читать философию Канта – и ничего не понять. А можно читать прозу Берлина и открывать для себя удивительные вещи. Если читатель не готов, он и Библию не осилит. Заложённых в книге возможностей недостаточно без интеллектуальных усилий того, кто читает. У Берлина – «всестороннее повествование». Его герои говорят от первого лица. В книге «Цимес» есть «итальянские» рассказы, в которых герои словно бы путешествуют во времени. То, что происходит в эпоху Возрождения, аукается в других людях уже в наши дни. И герои

наших дней чувствуют себя реинкарнацией великих людей прошлых столетий. Глубокие, парадоксальные, корнями уходящие в «подземную» жизнь души рассказы Бориса Берлина привлекают читателей тем, что здесь присутствуют и судьба, и психология, и философия, и, конечно, поэзия. Рассказы Берлина близки нам тем, что мы тоже любим, бодем и страдаем. Объём бытия вырастает из жизненной ситуации, и в прозе это особенно очевидно. Любовь у Бориса Берлина – это не только земное счастье. Это – шаткое равновесие, винтовая лестница в небо. В немаленьком перечне разнообразных работ ББ рассказ «Точка глубокой грусти», на мой взгляд, выделяется особой глубиной и эмоциональностью. Тяжёлый рок событий, не стесняясь, атакует даже свершившиеся и устоявшиеся чувства. Счастье словно бы раскачивается на качелях, дрейфует оторвавшейся льдиной среди огромных айсбергов.

Точка глубокой грусти – это одновременно и метафора, и медицинский термин, правда, не очень широко распространённый. У каждого человека есть своя точка G, генерирующая наслаждение. И есть её противоположность – «точка глубокой грусти». Жизнь выступает по отношению ко всему живому как трансформер. Иногда эта трансформация проходит незаметно для самого человека. Любовь тоже склонна к метаморфозам. Она расковывает и выковывает человека, открывает ему самого себя. А вдруг болезнь? Будет ли тот, кто здоров, добрым товарищем тому, кто болен? Будет ли тот, кто болен, терпеть здорового, сознавая, что является ему обузой? По-разному бывает. Любое испытание – проверка любви на прочность, на взаимность, на жертвенность. «Песнь Песней» – эта библейская работа Соломона часто приходит мне на ум, когда я читаю Бориса Берлина. Любовь у ББ – подвижная, как ртуть, как Психея. Она – сила, достоинство и нежность. Невозможность сдаться и потерпеть поражение. Это – космос внутри человека. Целая вселенная, где тебя подстерегают не только млечные пути, но и чёрные дыры. ББ вывел свою любовь в открытый им самим космос. По эмоциональной силе воздействия «Точка глубокой грусти», на мой взгляд, не уступит знаменитому романсу из спектакля «Юнона и Авось» «Ты меня на рассвете разбудишь». Хотя, конечно, такое сравнение субъективно и не совсем корректно.

Объём жизни в рассказах Берлина – часто ситуативный. Но мастерство писателя заключается в том, что его персонажи постоянно говорят от первого лица «онлайн». Это, в сущности, монологи, переплетение которых образует двухголосную, а иногда и многоголосную фугу. Такая подача делает прозу ББ близкой кинематографу. Как вы, наверное, помните, первым в русской литературе этот приём применил Михаил Лермонтов в «Герое нашего времени». Я убеждён, что прозаики почерпнули такое видение мира у драматургов. Сейчас, конечно всё заметно ускорилось – и романная жизнь в том числе.

Рассказ «Точка глубокой грусти» написан очень мощно. Это – словно обрывки дневников двух любящих, которые начинаются с произвольно взятого слова. То ли бумага от времени истлела, то ли так почему-то записалось. А ещё – у меня возникает ощущение, будто эти дневники столетиями плавали в закупоренной бутылке по океану – как послание, как завещание, как истина. На том месте, где герой начинает путать свою любимую с нерождённой дочерью, я уже не могу читать дальше. Я должен остановиться, чтобы побороть нахлынувшие эмоции – или, наоборот, целиком им отдаться. Это – катарсис. Трагедия? Но ведь никто не умирает на страницах рассказа. Наоборот, болезнь на время отступает... К чему же тогда эти слёзы? А ещё я открываю для себя такое разное восприятие мира у двух любящих. Но это не мешает им быть по-своему счастливыми. Поэзия у Бориса Берлина вырастает из жизни и силой слова удерживает жизнь от саморазрушения. Поэзия – это вершина любви и её бессмертие. В жилах тех, кто любит, течёт солнечная кровь. Читаешь книжку Бориса Берлина – и думаешь: это же энциклопедия любви!

*И нельзя долюбить до конца,
И нельзя разлюбить до начала...
Если даже не видно лица,
Сердцу этого призрачно мало!*



«Я САМА СЕБЕ – АПОКРИФ».
АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ ОЛЬГИ АНДРЕЕВОЙ

(Ольга Андреева, На птичьих правах. – СПб., Алетейя, 2018)

«Я причастна» – признаётся в стихотворении Ольга Андреева. Сопричастность времени, я бы даже сказал SOSпричастность – отличительная черта её лирики. «*Научи меня, Господи, просто, свободно писать, взять стило и писать, позабыв о форматах и стилях...*». Эта молитва поэта многое проясняет в особенностях её лирики. Ей важен, прежде всего, собственный голос, собственный почерк. У неё нет постмодернистского цитирования классиков и современников, которым грешат многие поэты. Всё – своё. Ольга Андреева – ростовчанка. Сейчас это – город, пограничный с Донбассом. Тема войны постоянно возникает в стихах Андреевой. Ольга не просто живёт в Ростове (который на Дону). Она – патриот этого города. Она – голос родного города. Не случайно одна из её предыдущих книг называется «На глобусе Ростова». Мне приходилось бывать в Ростове. И действительно, это неплохое место для творчества. И вот – перед нами новая книга Андреевой. «На птичьих правах» – это название с двойным смыслом. С одной стороны, оно указывает на временность нашего земного прибежища. С другой, мы понимаем, что у каждой птицы есть «право на полёт» – даже у тех, кто летать не может или не хочет. Ольга Андреева словно бы говорит нам об антиэнтропийной сущности жизни. Давайте будем летать! Хотя бы – изредка. Жить надо ярко.

Андреева не всегда стремится к точности и доходчивости своей речи, широко используя слова иноязычные и малоупотребляемые. Зато эта речь – предельно «своя», ни с кем не сравнимая и никого не напоминающая. Хотя и производит порой впечатление «косноязычья». Но почему бы и нет? «Высокое косноязычие тебе даруется, поэт». Оратор так говорить не может. А вот поэт – может запросто! «Девияции», «сублимации», «капиллярный подсос метафизики из подсознания», «осталось расталкивать пила плечам!»... Таких слов и выражений в поэзии Ольги Андреевой много. Хочется порой спросить автора: а попроще выразиться – слабо? Но стойкого модерниста сложно убедить в достоинствах простоты. Порой герметичность в её текстах возникает по той причине, что она, не договорив одну мысль до конца, тут же начинает говорить новую, которую тоже, естественно, не договаривает. Зато такой стиль письма – очень современен, это так называемое «клиповое» сознание. Есть в книге Андреевой и более прозрачные стихи:

*Твои диктанты всё короче –
 Ты больше стал мне доверять?
 А может, меньше? Между прочим,
 я разучилась повторять
 слова молитвы. Паранойя
 терзает эпигонов власть,
 те, кто спасён в ковчеге Ноя,
 хотят ещё куда попасть,
 да забывают от азарта
 о том, что человек не зверь,
 что золотому миллиарду
 не уберечься от потерь,
 что голодающие дети
 нам не простят своей судьбы,
 и много есть чего на свете,
 что не вмещают наши лбы –
 упрямые от страха смерти
 и робкие от страха жить.
 Не для меня планета вертит
 Твои цветные витражи,
 В мозгу искажены масштабы –
 пыталась верить, не любя,
 а без задания генштаба
 так сложно познавать себя,
 не отвертит Твой гневный окрик
 от эйфории, от нытья,
 и я сама себе апокриф,
 сама себе епитимья,*

*сложнее пуританских правил
нескрамное Твое кино,
порой Твой юмор аморален,
но – что поделаешь – смешно.*

Может быть, эти стихи и не проще других, но зато все мысли досказаны до конца и не «наплываю» друг на друга. В поэзии порой важно держать темперамент в узде, чтобы не захлебнуться речью. Героиня разговаривает с Творцом. Она чувствует себя ответственной за голодающих детей. Она обеспокоена язвami современного общества. Сильное этическое начало – отличительная черта поэтики О. Андреевой. И в своём вселенском сострадании Ольга готова даже дойти до богоборчества. Но сами по себе приведённые выше стихи – очень сильные. Это – лирическая исповедь. Особенно поразила меня мысль Андреевой о двух страхах – смерти и жизни. Чаще всего человек занимает между ними срединное положение. То есть он и страшится смерти, и боится жить, скованный общественными, социальными и личными предрассудками.

Значительную часть книги «На птичьих правах» занимает... полемика с Фёдором Достоевским по поводу того, спасёт ли мир красота. То тут, то там всплывают в стихах Ольги различные интерпретации этой мысли. Этот вопрос очень волнует автора – и потому обращение к нему носит у Андреевой трансцендентный характер (не хочу отставать от Ольги в плане использования модернистской лексики). *«Не красота спасает мир, а зрячесть»*. *«Возможно, мы выживем, если нас захочет спасти красота»*. *«Они галдят – чтобы себя не слышать – и всё же их спасает красота»*. Это какой-то сквозной магический рефрен... Его присутствие автоматически повышает нашу оценку того, что делает в стихах Ольга Андреева. Представляете: вопрос о спасении мира красотой постоянно волнует Ольгу, и она всё время к нему возвращается – даже когда просто говорит о погоде. Вопрос мучает её и долго не отпускает. Это лишний раз подтверждает, подчёркивает спонтанность поэзии Андреевой. Ольга пишет, как правило, длинные стихи с большим диапазоном повествования: такая лирика пробует коснуться всего на свете и объять необъятное. Поэта не смущает неравноценность по качеству разных строф. Это словно бы входит в изначальный замысел. Как льётся – пускай так и льётся! Здорово, что льётся! В подобном мировоззрении есть свой резон. Начнёшь задумываться, править текст – и упустишь свою волну. А я, читая, просто выбираю лучшее:

*...раз в столетье приходит волна,
от которой нельзя откупиться.
Я молчу. Я молчу и молюсь.
Я молчу, и молюсь, и надеюсь.
Но уже обживает моллюск
день Помпеи в последнем музее...*

Рифма «молюсь – моллюск» настолько превосходна, что вносит в стихотворение ещё одну изюминку. Я выписал полторы строфы, но и всё стихотворение о водном армагеддоне – цельно и на куски, невзирая на большой размер, не распадается. Мы видим: у Ольги Андреевой, тут и там, возникают этические размышления над целесообразностью того или иного действия человека или природы. *«Этот город накроет волной...»* – катастрофа или спасение? Ольгу волнует неготовность человечества к заложенным в стихийных силах природы катастрофам. Мы действительно к такому не готовы. Но как потренироваться и подготовиться? Стихия ведь хуже войны. На войне против тебя выступает человек. Такой же, как ты сам. А как выступишь против природы? Самонадеянно! Вот и возникают в народе верования, что разгул стихии – это, дескать, расплата за какие-то действительные или же вымышленные грехи. И Ольга Андреева великолепно это преподносит в художественном плане, не даёт читателю расслабиться. Почитаешь Андрееву – ты уже морально подготовлен к возможному натиску стихии. Апокалиптический гуманизм автора готовит нас к худшему из возможных сценариев. Но – с надеждой на лучшее.

Как читатель, я не всегда согласен с длиной стихотворений Ольги. Порой мне хочется, чтобы они были покороче. Но я всецело поддерживаю её в авторском «эгоизме». Поэт верен длине своего дыхания. Кто-то «высоко закрепил ей планку», и она не намерена понижать градус повествования. Её стихи действительно ни на кого не похожи. И книга «На птичьих правах» представляет дарование Андреевой широко, размашисто и мощно. В добрый путь!



ИЗ ЖИЗНИ ОСКОЛКОВ

(Ефим Бершин, *Маски духа. Серия «Интеллектуальная проза российских авторов»*. – М., Эксмо, 2018)

Безусловно, Ефим Бершин, в первую очередь, поэт. И, к счастью, никакие «лета» ни к какой «суровой прозе» его не клонят, хотя три книги в прозе он написал. Конечно, документально-художественная повесть «Дикое поле» родилась благодаря многолетней журналистской работе и командировкам в «горячие точки». Но именно она, написанная сразу в нескольких жанрах, неожиданно заставила Бершина на время переключиться со стихов на прозу. Она же стала и пробой прозаического пера, и попыткой отыскать собственный стиль в прозе. Поэтому в романе «Маски духа» мы увидели уже совершенно другого Бершина – писателя, породившего свой собственный жанр, который сам же условно назвал жанром «глобального реализма».

Конечно, и здесь у него встречаются военные реалии, мозаично переплетающиеся с другими, «гражданскими» событиями. Сочный юмор «Масок» вызывает в памяти прозу Бабея. Название книги, которое вначале по звучанию казалось мне спорным, затем, по мере прочтения, стало представляться единственно возможным. Маска – связующий образ, который проходит через всё повествование. Всё начинается с маски, в которой один из сподвижников Григория Котовского вслед за комбригом врывается в Одесский оперный театр. По удивительному стечению обстоятельств, этот «человек в маске» оказался впоследствии дедом главного героя книги.

Автор и главный герой книги – одно лицо, что помогает перемежать и чередовать в книге реалистические фрагменты с фантастическими и откровенно сюрреалистическими. По тому же пути пошла в книге «Двор чудес» известная писательница Кира Сапгир. Но «Маски духа» написаны Ефимом Бершиным гораздо раньше. Данное издание – переиздание более ранней книги («Деком», Нижний Новгород, 2007).

В романе Бершина внезапно «сломалось» время. И никто не смог его починить. *«Вот представь, мой друг, у всех часы остановились, а мои, как ни странно, всё ещё ходят. И что делать? Никто ведь не обязан жить по моим часам. Все живут так, как им удобно»*. Из-за метаморфозы с часами всё и произошло. Все стали жить, *«как живут после взрыва осколки, как живут блуждающие по небу мысли»*. Осколки – фундаментальное понятие в творчестве Бершина. Поэтому герой Бершина, действительно, напоминает осколок, летящий неведомо куда, путешествующий по разным эпохам своей и не только своей жизни. Вспоминаем ведь мы не хронологически, а как придётся – невпопад; не по степени важности, а по неведомой целесообразности памяти. И в этом плане «Маски духа» – это ещё и художественная автобиография поэта, чрезвычайно важная в плане понимания его личности, самоутверждения и самостояния. Оказывается, Ефим однажды чудом избежал тюрьмы! А посадить его хотели... за человечность, доброту и отзывчивость, за участие в судьбе другого человека. Такое случалось, и не раз, в советской стране. А ещё «Маски духа» пронизывает мандельштамовская мысль о том, что поэт – «ворует» воздух. Плагиатор ворует строчки, а поэт – воздух. Ворует для того, чтобы дышать. И писать стихи «без разрешения».

Но вернёмся к маскам. «Теперь маски хорошо идут, – философствовал Шурик. – Картины никому не нужны, а маски идут. И это правильно. Маска – это всё. Маска возвращает справедливость и исправляет ошибки. Надел маску – и готово, красавец. Пусть что хотят, думают. Избавляет, кстати, от комплексов». Вот эта последняя мысль представляется мне очень глубокой. Люди часто болезненно реагируют на то, что о них думают другие. И, «сопротивляясь» тому, что возмнили о них другие люди, начинают искать для себя образ, «маску», за которой можно было бы спрятаться, защититься. То есть наши комплексы – прямая дорога к творчеству, которое может оказаться интересным даже последующим поколениям. А ведь ещё есть и посмертная маска! Мостик между двумя жизнями.

Мастерство Бершина-поэта и Бершина-прозаика, на мой взгляд, равноценно. И, если Бершин-поэт более известен, нежели его визави-прозаик, причиной тому исключительное предпочтение, которое оказывает русский народ поэзии перед прочими литературными жанрами. Поэзия Ефима Бершина во многом носит драматический, а то и трагический характер. И, конечно, мы бы многое потеряли, если бы ничего не узнали о Бершине-прозаике. Потому как в прозе у Ефима появляется тонкий, первоклассный юмор. То, чего нет (или почти нет) в стихах. «Маски духа» – книга местами гомерически смешная. Это юмор поэта, в котором одесские анекдоты соседствуют с забавными фразами, которые, то и дело, производят героиню. Чего стоит, например, *«египетский безродный космополит Моисей!»* Или вот – *«поэты ведь не люди, а так – ярмарка болезненного тщеславия, корабль прокажённых»*. Юмор у Бершина – с саркастическим уклоном. Переходя на язык автора книги, скажу: художественность у Ефима – маска документальности. «Приднестровские» фрагменты боевых действий – практически документальные. Как мы видим, фантазмагории не противоречат документальности, почерпнутой из личного военного опыта автора. Бершин в прозе

– замечательный портретист. Вот он, например, оказался случайным свидетелем примирения Андрея Синявского с Владимиром Максимовым. И даже сам в немалой степени способствовал этому примирению, принеся им, когда они не знали, с чего начать разговор, «чайник мира». И вот – Ефим рисует портрет Владимира Максимова: *«Рядом шёл знаменитый редактор, владыка эмиграционной литературы и публицистики Владимир Емельянович Максимов – промокший большой старик, который всю дорогу жаловался на жизнь, на болезни, на чужую неблагодарность. И страшно переживал за судьбу своей далёкой суицидной страны, которая к тому времени уже покончила жизнь самоубийством и беспомощно валялась на перекрёстке истории»*. Сильно!

Ефим Бершин создаёт в своих «Масках» «дрейфующее» повествование, калейдоскоп духа, и всё в этом мире живёт по часам автора. Поскольку эссе о поэтах у Бершина всегда основаны на личном знакомстве и воспоминаниях, они отменно легли в алгоритм новой прозы. «Маски духа» – атмосферная книга. Автор может не говорить нам, в какое время происходит действие. Однако по внутренней атмосфере мы легко определяем: это, скажем, восьмидесятые. А это – уже девяностые. Общая временная перспектива книги охватывает сто лет. Но поскольку часы у всех сломались, все события, независимо от эпохи, происходят на романном пространстве синхронно. Невозможно точно определить жанр «Масок». Рассказ? Эссе? Повесть? Роман? На мой взгляд, по жанру «Маски» близки к «Опытам» Монтеня. Ефим Бершин – это наш новый Монтень. Он «гуляет», как и французский классик, «вдоль и поперёк времени». «В истории никто не может умереть», – говорит Носатый, дед автора и главного героя. Мультиинструменталист Бершин виртуозно ведёт свою фугу. Голоса исторических личностей периодически возвращаются, чтобы поведать нам что-нибудь ещё из своей жизни, и эта анафора закрепляет их в качестве главных героев повествования. Переосмысливается роль некоторых исторических личностей. Так, например, на извечный русский вопрос «кто виноват?» автор «Масок духа» беспешалционно, но при этом парадоксально отвечает: во всём виноват Пикассо. Именно он своими кубистическими уродствами привнёс в жизнь дисбаланс и агрессию. «Расчленёнка», придуманная этим художником, положила конец прекрасной эпохе. Это, конечно, юмор. Но доля истины в этом тоже есть. Логически можно обосновать всё что угодно. И «масс-кидуха», безусловно, в книге тоже есть. Массы в переломные и смутные моменты истории всё время кидает из стороны в сторону, из огня да в полымя.

У меня сложилось впечатление, что в концовке «Масок» смех постепенно выветривается из текста, и рассказ становится всё более и более серьёзным. Бершин в прозе, как и в поэзии, многое не договаривает, и это придаёт повествованию дополнительный объём. Ефим создает точные портреты своих современников – поэтов и прозаиков: Синявского, Максимова, Левитанского, Блажеевского, Чичибабина, Рейна... Причём он вовсе не озабочен тем, чтобы их живописать – это получается у него само собой. Забавное и трагичное в судьбах героев переплетаются в один гордиев узел, который нам, читателям, не дано разрубить. «Тотальность», одновременность разнообразных событий, описываемых в «Масках», завлекает нас в водоворот, подобный космическим чёрным дырам. Не успеешь избежать одной опасности, как на тебя тут же накатывает другая. Нет, это не калейдоскоп и не мозаика. Это – спонтанные сны, обрывки сновидений, тасующие ночами, как колоду карт, нашу дневную действительность. Но автору удалось фрагментарность переплавить в цельность. Так что польза может быть и от «осколков».

Ефим Бершин написал очень глубокую книгу. Отдельные её страницы можно читать как философскую афористическую прозу. Ничем не хуже Паскаля или Ницше. Вот, например: *«Всякая победа добра над злом порождает новое зло. И дело тут не в добре и зле. Дело в победе. Потому что всякая победа сама по себе уже есть зло. И, победив, добро тут же оборачивается злом. Ещё большим злом, потому что неизменно выступает в маске добра. И потом годы, а то и десятилетия уходят на то, чтобы распознать зло, притаившееся под маской добра. Поэтому не нужно побеждать зло. Оно вечно, как и добро»*. И так убедительно Ефим всё это разложил по полочкам в своей книге – убедительно в самой своей парадоксальности, что я уже готов был, читая, подписаться под каждым его словом. Но как быть с тем, что любой человек с детства настроен только на победу! Как же быть? Быть – или не быть? У меня на гамлетовский вопрос нет ответа. Возможно, какой-нибудь талантливый читатель ответит нам на этот экзистенциальный вековой вопрос. Я же хочу поблагодарить Ефима Бершина за яркую, нешаблонную, будоражащую сознание книгу.



ЖАЖДА РАЗНООБРАЗИЯ И РАЗНООБРАЗИЕ ЖАЖДЫ

(Андрей Коровин, «Кымбер бымбер». Стихи и истории. – М., ArsivBooks, 2018)

Все поэты – люди разного душевного склада. Кому-то строчки достаются мучительно тяжело, со скрипом. А кому-то легко, воздушно, непрекращающимся потоком сознания. Это – просто индивидуальная особенность, которая ничего нам не сообщает о качестве стихотворений. Поэт Андрей Коровин, пишущий много, попросил двух своих друзей, не отличающихся сверхпроизводительностью (имена первого ряда), отобрать для готовящейся книги «Кымбер бымбер» самые лучшие стихи, написанные за последний год. И, таким образом, невольно «переложил» ответственность за книгу на своих друзей. Казалось бы, это беспрониторный вариант. Но на проверку редакторский отбор, произведённый друзьями, оказался, на мой взгляд, достаточно либеральным. Может быть, Коровину имеет смысл издавать небольшие, но цельные и концептуально выверенные книжки? Такие, как «Пролитое солнце». Вот только поэту всегда хочется большего. Стихи – это как дети. Не каждый ребёнок получается у родителей удачным. Но разве это повод от него отказываться? То же самое – со стихами. Если ты их написал – разве выбросишь? Если написал за год 200 стихотворений, больно три четверти из них не включить в книгу. Может быть, нам просто нужно научиться «правильно» читать книги Коровина? Как читать неправильно, показала недавно критик «Знамени» Светлана Киришбаум. У Андрея в новой книге – много замечательных, проникновенных, незаурядных строк:

*грам и молния позднего мая
на прощанье победный салют
эта музыка глухонемая
здесь её разливают и пьют*

В своё время Макс Волошин очень любопытно говорил Марине Цветаевой о её стихах: «Марина! Ты сама себе вредишь избытком. В тебе материал десяти поэтов и сплошь – замечательных!.. А ты не хочешь (вкрадчиво) все свои стихи о России, например, напечатать от лица какого-нибудь его, ну хоть Петухова? Ты увидишь (разгораясь), как их через десять дней вся Москва и весь Петербург будут знать наизусть». Когда я читаю или слушаю Андрея Коровина, у меня возникает впечатление, аналогичное тому, которое вызывали у Волошина стихи Цветаевой. Множество талантливых «Петуховых». И, когда «Петуховы» Коровина встречаются на пространстве одного издания, читать такую книгу бывает непросто. Подспудно возникает желание, чтобы всё это лингвистически-стилистическое богатство было хотя бы расфасовано «по полочкам». Всех «Петуховых» Андрея Коровина я бы условно разделил на два подвида: стихи сугубо лирические и стихи «обэриутские». И ещё – по сложности. Такое ощущение, что нынешний Коровин – это ранний и поздний Кузмин в одном флаконе. И прекрасная ясность «Александрийских песен», и цветущая сложность последней книги «Форець разбивает лёд». Причём и простой Коровин, и сложный одинаково нам важны! Есть у поэта стихи такой мощи и цельности, что невозможно пройти мимо:

*а когда напролом растения пробивают земную твердь
ты попробуй остаться маленьким ты попробуй не умереть
ты попробуй пройти навьлет жизнь и выйти на белый свет
и тогда ты легко увидишь смерти нет понимаешь нет*

.....
*оставайся живым и маленьким у России под каблуком
а от смерти всегда есть валенки чай с берёзовым малоком
и летящие и гудящие пассажирские поезда
даже кровь и та настоящая
и под сердцем в груди
звезда*

«Кымбер бымбер» словно бы топорщится, разрастается иголками во все стороны, это такая книга-ёжик. Когда пишешь много экспериментальных стихов, ты всегда – в зоне риска. «Пограничная» стилистика может привести как к удачам, так и к неудачам. Скажу больше: есть принципиальная разница между лирическим и экспериментальным стихотворением. Они по-разному звучат и воспринимаются на слух.

Бахыт Кенжеев, который тоже много экспериментирует со стихами, во избежание путаницы отделил в себе лирика от экспериментатора. Так возник поэт Ремонт Приборов. Когда в тебе «много Петуховых», может быть, действительно есть смысл писать стихи под разными именами. Вот и я вижу смысл своей рецензии в том, чтобы, на радость читателям, разобраться с «Петуховыми» Андрея Коровина. Поэт интересен тем, что имеет большую склонность к абсурдистскому мышлению, во многом следуя традиции обэриутов. В то же время, Коровин в лучших своих стихотворениях – тонкий лирик.

*в зимнем парке снежная нелепица
ходит снег на лыжах как живой
смотрит сверху белая медведица
вертит непослушной головой*

*пообтёрлись звёзды залежалые
ты их за бесцветье не кори
словно два философа пижамные
говорят о Боге фонари*

*верещит берёзовая рожица
стынет в жилах талая вода
у Вивальди музыка закончится
а зима в России никогда*

И вот к какому выводу я пришёл, читая книгу Коровина. Во многом путаница в его стихах происходит по той простой причине, что он и лирику, и неоавангард пишет одинаково: без прописных букв и знаков препинания. Возможно, лирику стоит «оформлять» всё-таки более традиционным способом, с пунктуацией. И тогда читателю ориентироваться в лабиринте поэтических жанров книги будет проще.

Есть Андрей Коровин – поэт трагический. И есть Коровин – поэт юмористический. Я хохотал до упаду, читая опусы Андрея из цикла «Слова и брюквы». Жажда разнообразия – вот что выделяет его в поэтической тусовке. Фигура Коровина – знаковая в современной поэзии. Андрей взвалил на себя бремя культуртрегерства и несёт его давно, увлечённо, с достоинством. Несмотря на то, что на длинной дистанции этот «долг» порой утомляет. Коровин умеет безошибочно чувствовать поэзию в произведениях других авторов. К нему тянется творческая молодёжь. Булгаковский дом, где проводит творческие вечера Андрей, давно стал Меккой поэзии. Во многом это происходит оттого, что поэт бескорыстен в культуртрегерстве. Добрый друг и замечательный человек, Коровин живёт и творит «по Пастернаку»:

*Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.*

Андрей не движется, как многие наши классики, от простого к сложному либо от сложного – к простому. И то, и другое присутствуют в нём изначально. Есть такая индивидуальная особенность у автора, и с ней приходится считаться и самому Андрею, и его читателям. Он пытается раздвинуть пределы поэтического слова, включая сюда и дневниковые записи, и просто приходящие на ум мысли. Прозу поэт не пишет. Поэтому и чисто прозаические мысли он тоже записывает в столбик. Конечно, и Хармс, и Хлебников влияют на поэтику Коровина. На мой взгляд, название «Кымбер бымбер» не исчерпывает содержания всей книги: это только одна из линий в творчестве Андрея. Кымбер бымбер, где ты был? На Фонтанке водку пил. А вот, например, стихи о Цветаевой, это разве «кымбер бымбер»?

Эфрон – Цветаевой

*тебе ли дававшей в бессмертье
не знать как бездна глубока
жизнь бесплезней всякой смерти
на утлой лодочке стиха*



*тебе ли выжженной равнине
любовниками всех мастей
гореть печальницей отныне
в печах распахнутых страстей*

*тебе ли восходившей в горы
остроконечного огня
так важен каждый новый город
в котором больше нет меня*

В новой книге Андрея Коровина собраны стихотворения, написанные им за последний год. А ведь многое из написанного в книгу не вошло! Вот что пишет о книге Коровина Ирина Евса: «Автор в этой книге предстает перед нами неотделимым от своего лирического героя. Актёр, одновременно играющий множество ролей в театре, который сам же и создал; обвинитель и (вместе с тем) защитник в суде, назначенном им самим; циркач, жонглирующий смыслами, именами, словами, топонимами; фокусник, извлекающий из шляпы не привычного голубя, а то, чему никто из следящих за его руками не осмеливается дать название в этом диковинном шапито, где вместо купола – чёрное южное небо, полное звёзд? Чередование масок на этом, исполненном трагизма и веселья, карнавале столь увлекательно, что в какой-то момент забываешь о его создателе, становясь соучастником действия, и хочешь лишь одного: чтобы оно не кончалось».

РЕКУЩАЯ РЕКА ГЕННАДИЯ КАЛАШНИКОВА

(Геннадий Калашников, В центре циклона. – М., Воймега, 2018)

На мой взгляд, это очень важная книга в творчестве известного московского поэта. Книга-веха, книга-разговор. Калашников любезен народу тем, что задаёт нужные вопросы. Поднимает вечные проблемы. Человек и время, поэт и его след в истории. На чьих весах будет взвешено его творчество? «В центре циклона» – ударное название. Именно «в центре», а не «в эпицентре». Поэт всегда в гуще событий. И, может быть, сам является и причиной, и следствием вызванного его притяжением циклона. Название книги – многозначно. Наша жизнь не только циклична, но и «циклонична». Очень важен для поэтики Калашникова гераклитовский образ текущей реки. Речь реки. «И у дна вода не такая, как не у дна». «Ведь запомнит вода у запруды пруда, что не входят в поток её дважды». «А река всё течёт, передёргивая озябшей кожей». «Всё течёт, Гераклит, всё течёт, и течёт, и течёт». «Вода причудлива и каждый миг иная, шершавая, угластая, прямая». Неподвижность движения, одновременность мимолётного и вечного очень характерны для мировоззрения Геннадия Калашникова. И всё это убедительнее всего звучит в рифмованных строчках. Зачем писать верлибры, если так виртуозно владеешь рифмой?

Во все времена творчество развивалось как диалог различных культур. Так, Возрождение целиком базируется на древнегреческих представлениях о красоте. Что касается русской поэзии, то она всегда была внимательна к текстам предшественников, вступая с ними в открытый диалог. Диалог этот мог быть самым разным – от неприятия и насмешки до восхищённого цитирования. Геннадий Калашников широко использует приём неожиданного цитирования, отсылая читателя к нашим классикам. Его цитаты носят, я бы сказал, магический характер. Это звучит совсем не так, как, скажем, у Александра Кабанова или Тимура Кибирова. Вот, например, знаменитые строки Мандельштама:

*Я скажу это начерно, шёпотом,
Потому, что ещё не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.*

И Геннадий Калашников, на радость читателям, начинает в своём стихотворении игру своего «безотчётного неба» с текстами Осипа и других русских поэтов. Слышатся Хлебников и Кручёных. Причём, я вполне допускаю, что расслышал далеко не все аллюзии Калашникова. Вначале Геннадий «зацепился» за строчку Мандельштама «потому, что ещё не пора...». И – полилось! И – пошло! И – поехало!

*Никогда не пора,
ни в ночи, ни с утра...*

*погоди у воды, ледяным повернувшейся боком.
Кто-то смотрит на нас,
то ли тысячью глаз,
то ль одним, но всевидящим оком.*

*Пусть запомнит вода
рыбака невода,
птицелова силки и упрямые петли погони.
Прячет омут сома,
смотрит осень с холма
из-под тонкой, прохладной ладони.*

*На миру, на юру,
на бытийном ветру
из живущих никто не пропущен.
Дальний выстрел в лесу
постоит на весу
и рассыплется в чащах и кущах.*

*Смотрит осень вприщур,
зинзивер, убещур
и прорежи, зиянья, пустоты.
Что ты медлишь, Творец,
расскажи, наконец,
про твои золотые заботы.*

И вот эти «золотые заботы» – это ведь тоже Мандельштам, друживший тогда, сто лет тому назад, в начале 20-х годов прошлого века, с двумя сёстрами. Одну из них звали Тяжесть, а другую – Нежность. Вот как это звучит у классика: «Золотая забота, как времени бремя избыть». С одной стороны, Геннадий Калашников говорит о соотносённости нашей жизни в будущее. С другой – объединившись на время с Мандельштамом, яростно спорит с Пушкиным, который «притомился» от своей деятельности: «Пора мой друг, пора! Покоя сердце просит». «А вот ни фиги! – словно бы говорит нам Калашников, – Никогда не пора!». И вот этот «двойной ход амфисбены» – назад, к классикам и сюда, к современникам – придаёт повествованию поэта и объём, и значимость. Я так подробно останавливаюсь на этом стихотворении, потому что в нём, на мой взгляд, звучит лучший Калашников последних лет. Мне кажется, Геннадию удалось литературными средствами выразить формулу бытия. Всё проходит, но ничего не проходит. Тут и метафизика, и живое движение жизни – в одном флаконе. Что хочет выразить Калашников? Сожалеет он, ругается, сетует или молится? Поди, догадайся. Возможно – всё вместе. Ругаться на неизбежность ухода – сильно, но не эстетично. «Зинзивер, убещур» – когда обычные слова из литературного словаря бессильны, на помощь приходят слова, придуманные поэтами. Камо грядеши, «сутулый поплавок», мыслящий тростник? Мне кажется, Геннадий Калашников сделал за последние десять лет громадный шаг вперёд и уже мыслится многими как «поэт первого ряда». Конечно, любая его новая книга становится событием. Обилие аллюзий из других поэтов, как мне кажется, вплетает голос Геннадия Калашникова в некий надмирный хор поэтических голосов. При этом Геннадий, как правило, трактует эти цитаты по-своему. Удивительное дело! Цитоны у Калашникова звучит не как цитаты, а как непрямая прямая речь лирического героя. Вот, например:

*Лязг, дребезг времени железный.
Над кем смеяться, грустить о ком?
Есть упоение над бездной!
Край. Точка ги и точка сот.*



Структура стихотворений Геннадия такова, что его собственный голос «перекрывает» голос классика, в данном случае – Пушкина. Даже интонация принципиально другая! И это само по себе – удивительный феномен. Калашников – плоть от плоти гражданин своего времени, которое словно бы «зависло» в ожидании очередной переоценки всех ценностей. Всё закрыто «на переучёт», и непонятно, что и как будет оценено даже в самом ближайшем будущем. Любой человеческий труд может на поверку оказаться напрасным, и это не добавляет нашим современникам оптимизма и уверенности в себе. Эти веяния улавливаются чутким ухом поэта. Практика показывает, что нескольких отличных стихотворений вполне достаточно для того, чтобы книга «прозвучала». Остальные стихи словно бы «оттеняют» лидеров. Это как у музыкантов – достаточно одного удачного сингла. А уж если диск состоит из одних синглов, это просто удача.

*Последний трамвай, золотой вагон, его огней перламутр,
и этих ночей густой самогон, и это похмелье утр,
как будто катилось с горы колесо и встало среди огня,
как будто ты, отвернув лицо, сказала: живи без меня, –
и ветер подул куда-то вкось, и тени качнулись врозь,
а после пламя прошло насквозь, пламя прошло насквозь,
огонь лицо повернул ко мне, и стал я телом огня,
и голос твой говорил в огне: теперь живи без меня, –
и это всё будет сниться мне, покуда я буду жить,
какая же мука спать в огне, гудящим пламенем быть,
когда-то закончится этот сон, уймётся пламени гуд
и я вскочу в золотой вагон, везущий на страшный суд,
конец октября, и верхушка дня в золоте и крови,
живи без меня, живи без меня, живи без меня, живи.*

Новая книга открывает нам Геннадия Калашникова как поэта трагического. За поэзию автору приходится платить жизненными утратами. Трагедия жизни заключается в том, что ничего ничем нельзя компенсировать. Калашников умеет повернуть повествование в неожиданную сторону. Никогда не знаешь, куда именно он завернёт. Телескопичность зрения позволяет ему постоянно менять ракурс и ход мыслей. Порой самоирония спускается у него до самосарказма, и тогда поэт говорит о себе и о времени разные жёсткости. Но это, на мой взгляд, очень здоровое качество. Поэт словно бы играет в игру «обзови себя недобрый словом». Фонетический дар Геннадия Калашникова велик и несомненен. Стихи могут быть разными по тональности и настроению, но поэтический звук – своего рода визитная карточка поэта. «И за гвоздик, забитый в зенит, зацепилась зелёная туча». У поэта поразительное единение с природой «То рассыплется вечность, то вновь из песчинок и брызг соберётся». И, в отличие от Тютчева, Калашников ночи предпочитает день. «В центре циклона» – сильная, стильная книга, где каждое стихотворение заставляет задуматься, побуждает сопереживать. «Ночлег в пути» – стихотворение с фольклорными мотивами, заставляющее вспомнить «Русский огонёк» Николая Рубцова. Каждому из нас приходилось ночевать в чужом доме и с непривычки страдать бессонницей. Но Геннадий Калашников не был бы тем Калашниковым, которого мы ценим и любим, если бы не вплёл сюда подтекстом соображение о том, что вся наша жизнь – это, в сущности, ночлег в пути из одной вечности в другую. Может быть, из синей – в сиреневую. У Калашникова-поэта нет слабых мест. Его стихи – монолитный сплав мистики, правды, философии и живой жизни. Геннадий Калашников – автор скромный, требовательный к себе и преданный поэзии. Золотой человек!

*Для рыб я птица, а для птиц я рыба.
П озера мерцающая глыба,
растущая из бьющего ключа,
колеблема движением плеча.
Вода причудлива и каждый миг иная,
шершавая, угластая, прямая,
секундою и вечностью живёт,
и синий мрамор неба отражая,
и стрекозы мигающий полёт.*

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 25.02.2019 р.
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 22,13.
Зам. 1440. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17